

Arizon Tepoz

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



А. П. ЧЕХОВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ
В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

А. П. ЧЕХОВ



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ВОСЬМОЙ

1892—1894

МОСКВА — 1985



А. П. ЧЕХОВ
Фотография 1895 г.

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ

ПОПРЫГУНЬЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет голк; затем виолончелист, у которого инстру-

мент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былинку и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, — среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он

обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамках и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из зна-

менитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и про- рочили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — всё у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талант- ливость не сказывалась так ярко, как в ее умение быстро знакомиться и коротко сходитьсь с знамени- тыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и при- глашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых лю- дей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жаж- ды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разо- чаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его про- стота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, поры- висто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю их, — говорил он кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естествен- ных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают

им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метр-д'отель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. — Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового ме-

сяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом. — Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещающая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как неперемный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день Троицы после обеда Дымов купил закуску и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, оне скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюбимо оглядывая Дымова. — Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. — Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. — Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то всё случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если бы ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказывать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роца, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. — У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказал Дымов. — Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. — Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать, — сказала

Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах.— И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние

его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он всё время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас... — шептал он, дыша ей на щеку. — Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормотал он в сильном волнении. — Любите меня, любите...

— Не говорите так, — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. — Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилося сердце. Она хотела думать о муже, но всё ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, — думала она, закрывая лицо руками. — Пусть осуждают там, проклинаяют, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянувшись, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте,— сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья,— принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагоприятное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того, ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и всё щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что всё на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделявают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов?

Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой, — простонал Рябовский, — когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе, — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. — Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник. — Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменялся! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлинула Ольга Ивановна. — Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы всё стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, и им всё давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, — об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня всё еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил. — Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал... — сказал он и задвигал бровями, сясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила

во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай...— сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем.— Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда,— спрашивала она себя,— что скоро она будет писать в гостиную, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставляю тебе, Рябуша,— говорила она.— Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский, на прощанье, поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть всё от мужа и что на это хватит у нее умения и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под

силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему всё, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего... — сказала она. — Это я так...

— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, т. е. не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его веселым и восхищенным своею, в самом деле, великолепную картину; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя

униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе хлопотать насчет билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелев понимает всё. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники

рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защищал? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё, и настоящее и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte* и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуны, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд...— сказала она робко, тонким голосом, и губы ее задрожали, — *nature morte*.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— *Nature morte*... первый сорт,— бормотал он, подбирая рифму,— курорт... чёрт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал...— томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту.— Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдять, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Всё кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое. полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты неходи ко мне, а только подойди к двери. — Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо... — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. — Пошли! — глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. — Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукой крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он всё равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шёпотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой,

очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает всё и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, и дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. — Будь оно всё проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке,

подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... — храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была не причесана и неряшливо одета — всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости, — сказал он вполголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытие, — спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторил он тонким голосом и опять всхлипнул. — Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки. — Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в ка-

бинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его странно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко. — Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. — Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — всё сделают, что нужно.

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас,— написала она,— но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же уверять, что вы меня любите,— продолжала Надя писать, думая об офицере Горном.— Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!..»

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы

стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удастся, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

«Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, — продолжала она писать. — Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного».

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто

легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное.

— Какой смешной пудель! — проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха. — Какой смешной пудель!

Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

— Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

— Нет, буду лучше любить Груздева, — решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погода будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка.

Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати, и говорила:

— Господи! Господи! Господи!

ОТРЫВОК

Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайгородову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе Евлампиевне. Как известно, почтенная старушка снесла барскую усадьбу и на месте ее построила превосходный трактир с продажей крепких напитков. В этом трактире была особая «чистая» комната для проезжающих помещиков и чиновников, и на столе в комнате были положены записки покойного на случай, буде кому из проезжающих понадобится бумага. Один листок записок попал в мои руки; он, по-видимому, относится к самому началу сельскохозяйственной деятельности покойного и содержит в себе следующее:

«3 марта. Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет вам, пернатые дети юга! В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелание: „Будьте счастливы, ваше превосходительство!“

14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлампиевны: „Отчего это петух поет так часто?“ Она мне ответила: „Оттого, что у него горло есть“. А я ей: „У меня тоже есть горло, однако же я не пою!“ Как много в природе таинственного! Служа в Петербурге, я неоднократно ел там индюков, но живыми их видел впервые только вчера. Весьма замечательная птица.

22 марта. Приезжал становой пристав. Долго беседовали о добродетели — я сидя, он стоя. Между прочим, он спросил меня: „А желали бы вы, ваше превосходительство, чтобы к вам опять вернулась ваша молодость?“ Я ему ответил на это: „Нет, не желаю, потому что, будучи молодым, я не имел бы такого

чина". Он согласился со мной и уехал видимо расстроенный.

16 апреля. Собственноручно вскопал на огороде две грядки и посеял на них манную крупу. Никому об этом не сказал, дабы сделать сюрприз моей Марфе Евлампиевне, которой я обязан многими счастливыми минутами в жизни. Вчера за чаем она горько роптала на свою комплекцию и говорила, что увеличивающаяся полнота уже мешает ей пройти в дверь в кладовую. Я ей на это заметил: „Напротив, душенька, полнота форм ваших служит вам к украшению и к наибольшему моему расположению к вам“. Она вспыхнула, я же встал и обнял ее обеими руками, ибо одною рукой ее не обхватишь.

28 мая. Один старик, увидев меня около женской купальни, спросил меня: зачем я тут сижу? Я ответил ему: „Наблюдаю за тем, чтобы молодые люди сюда не ходили и здесь не сидели“.— „Давайте же вместе наблюдать“. Сказавши это, старик сел рядом со мной, и мы стали говорить о добродетели».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамы четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коспел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен, и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей! — думал Андрей Андреевич. — Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников, и расставил все это добро по полкам. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову, например, что недурно бы теперь покушать лебда с кашей, то он тотчас же ловил себя на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!

И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:

— Дверью ошиблись, сударыня!

Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

— Да, батенька... Это штучка, я вам доложу, не того... Да... Тут, батенька, одним словом, я должен

заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь... Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не влетело!

Через три недели пришел первый покупатель. Это был толстый, седой господин с бакенами, в фуражке с красным околышем, по всем видимостям, помещик. Он потребовал вторую часть «Родного слова».

— А грифелей у вас нет? — спросил он.

— Не держу.

— Напрасно... Жаль. Не хочется из-за пустяка ехать на базар...

«В самом деле, напрасно я не держу грифелей, — думал Андрей Андреевич по уходе покупателя. — Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться, а надо продавать всё, что относится к просвещению и так или иначе способствует ему».

Он написал в Москву, и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены перья, карандаши, ручки, ученические тетрадки, аспидные доски и другие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью влетела к нему девка в кожаных калошах; он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крикнула:

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал держать почтовые и гербовые марки и кстати уж вексельную бумагу. Месяцев через восемь (считая со дня открытия магазина) к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

— А нет ли у вас гимназических ранцев? — спросила она.

— Увы, сударыня, не держу!

— Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле.

— Сударыня, и кукол нет! — сказал печально Андрей Андреевич.

Он, недолго думая, написал в Москву, и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи и всякие игрушки.

— Это все пустяки! — говорил он своим приятелям. — А вот погодите, я заведу учебные пособия и

рациональные игры! У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет зиждиться, что называется, на тончайших выводах науки, одним словом...

Он выписал гимнастические гири, крокет, триктрак, детский бильярд, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных, рациональных игр. Потом обыватели, проходя мимо его магазина, к великому своему удовольствию увидели два велосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на славу. Особенно хороша была торговля перед Рождеством, когда Андрей Андреевич вывесил на окне объявление, что у него продаются украшения для елки.

— Я им еще гигиены подпущу, понимаете ли, — говорил он своим приятелям, потирая руки. — Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие фильтры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума посойдете, одним словом. Науку, батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и фильтры, и превосходные лампы для письменных столов, и гитары, и гигиенические кальсоны для детей, и соски, и портмоне, и зоологические коллекции. Кстати же он купил на пятьсот рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и этажеркам. И как-то так случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара.

— Как, однако, они... толсто пишут! — пробормотал Андрей Андреевич, почесываясь.

Он собрал все книги, связал их крепко веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед бакалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь и обе лавки, соединенные в

одну, были битком набиты товаром; так как покупатели, заходящие во вторую половину лавки, по привычке все спрашивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич, недолго думая, завел и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками. Он снял на базаре ренсковый погреб и, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книжки же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и третий том Писарева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.

На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»? — спрашивают его.

— Нет, не читал-с...— отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой.— Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТАРОГО ПЕДАГОГА

«Рассуждают: семья должна идти рука об руку со школой. Да, но только в том случае, если семья благо-родная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низшими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан удовольствия — например, приглашать педагогов на пирог».

«При словах „предложение“ и „союз“ ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах „прилагательное“ и „придаточное“ ученики с надеждою взирают на будущее».

«Так как в русском языке почти уже не употреб-ляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуж-дая по справедливости, следовало бы убавить жало-вание учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа».

«Наши педагоги убеждают своих учеников не тра-гить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут поверить своим руководителям, если последние сами отдают много времени газетам и журналам? Врачу, исцелился сам! Что касается меня, то в этом отношении я совер-шенно чист: вот уже 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты».

«Преподавая ученикам науки, следует преимущест-веннейше наблюдать за тем, чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга пере-плетена».

«Дети! Какое блаженство получать пенсию!»

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай, — говорил Толковый. — Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет, и утром нынче снег был.

— Худо! худо! — сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеял-

ся.— Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый.— Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе

в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса,— он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первое всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенец-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю, стал он в Гырино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване,— чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, хо-

лодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню, ночью под самый Успеньев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай, как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергееч скачет на паре. — «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, — ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от полюбовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Всё прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на один телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сторбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и права бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в

Сибири люди живут... Стал он всё по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж по-моему лучше пропить эти деньги... Всё равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо,— пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жецу и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог подарил. Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимать?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он всё еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Сибирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он, немного погодя. — Он ее любит, утешается, это точно;

но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся. — Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и придет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда всё тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но всё же можно хоть костер развести...

Через неделю, когда вода совсем снадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семёна, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, — неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурой соломой, а выше лежат деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, всё это только снится, — думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской

губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако, какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне. — Карба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне всё еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет необходимости спешить — всё равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И всё оно сыплет, и всё оно сыплет! — бормотал Семен, вытирая с лица снег. — И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеечем, всё время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живут-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергееч, — сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. — Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а всё никакого толку. Право!

Василий Сергееч молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода — Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай чёрта за хвост, язви твою душу! Экие чудачки, господа, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была,

и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит!

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо! — проговорил Семен засыпая. — Дай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора слышались звуки, похожие на собачий вой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась не затворенной.

РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ

Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду, и разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом «Кранделя сыновья» вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила: «И в кого я такой слон уродилась? Даже глядеть страшно». Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась, тут как тут, подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею...

Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал:

«Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет. тысячу раз нет! Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба! Тебе остается только один удел — смерть! Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата, карасей, возможна только одна смерть — пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруде когда-то одна щука, да и та издохла от скуки. О, я несчастный!»

И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник...

Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавок и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея.

«Я умру от ее руки! — подумал он и весело заиграл своими плавниками. — О, это будет чудная, сладкая смерть!»

И, полный решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот.

— Соня, у тебя клюет! — взвизгнула тетя. — Милая, у тебя клюет!

— Ах! Ах!

Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги.

— Сорвалось! — вскрикнули обе дачницы, побледнев. — Сорвалось! Ах! Милая!

Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу.

— Ах, милая, — сказала тетя, — не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы...

Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним; потом же, придя в себя, он простонал:

— Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!

Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал... Он сошел с ума.

Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пещер и улиток. А я подражаю дамам. Быть может даже, я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом.

Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в смеганах, мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней

сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю.

Но далее. На литейном заводе «Кранделя сыновья» служит директором инженер Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые гибельные последствия: карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург; побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом, и с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи.

Петр Михайлыч Ивашин был сильно не в духе: его сестра, девушка, ушла к Власичу, женатому человеку. Чтобы как-нибудь отделаться от тяжелого, унылого настроения, какое не оставляло его ни дома, ни в поле, он призывал к себе на помощь чувство справедливости, свои честные, хорошие убеждения — ведь он всегда стоял за свободную любовь! — но это не помогало, и он всякий раз помимо воли приходил к такому же заключению, как глупая няня, то есть, что сестра поступила дурно, а Власич украл сестру. И это было мучительно.

Мать целый день не выходила из своей комнаты, няня говорила шёпотом и всё вздыхала, тетка каждый день собиралась уехать, и чемоданы ее то вносили в переднюю, то уносили назад в комнату. В доме, во дворе и в саду была тишина, похожая на то, как будто в доме был покойник. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и с недоумением смотрели на него, как будто хотели сказать: «Твою сестру обольстили, что же ты бездействуешь?» И он упрекал себя в бездействии, хотя и не знал, в чем собственно должно было заключаться действие.

Так прошло дней шесть. В седьмой — это было в воскресенье после обеда — верховой привез письмо. Адрес был написан знакомым женским почерком: «Ее Превосх. Анне Николаевне Ивашиной». Петру Михайлычу почему-то показалось, что в оболочке письма и в почерке, и в недописанном слове «Превосх.» было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женский либерализм упрям, неумолим, жесток...

«Она скорее согласится умереть, чем сделать несчастной матери уступку, попросить у нее прощения», — подумал Петр Михайлыч, идя к матери с письмом.

Мать лежала в постели, одетая. Увидев сына, она порывисто поднялась и, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под чепца, быстро спросила:

— Что? Что?

— Прислала...— сказал сын, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово «она» не произносилось в доме; о Зине говорили безлично: «прислала», «ушла»... Мать узнала почерк дочери, и лицо ее стало некрасивым, неприятным, и седые волосы опять выбились из-под чепца.

— Нет! — сказала она, делая руками так, как будто письмо обожгло ей пальцы.— Нет, нет, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала от горя и стыда; ей, очевидно, хотелось прочесть письмо, но мешала гордость. Петр Михайлыч понимал, что ему самому следовало бы распечатать письмо и прочесть его вслух, но им вдруг овладела злоба, какой он раньше никогда не испытывал; он выбежал на двор и крикнул верховому:

— Скажи, что ответа не будет! Не будет ответа! Так и скажи, скотина!

И разорвал письмо; потом слезы выступили у него на глазах, и, чувствуя себя жестоким, виноватым и несчастным, он ушел в поле.

Ему шел только двадцать восьмой год, но уж он был толст, одевался по-стариковски во всё широкое и просторное и страдал одышкой. В нем были уже все задатки помещика старого холостяка. Он не влюблялся, о женитьбе не думал и любил только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любил хорошо поесть, поспать после обеда, поговорить о политике и о возвышенных материях... В свое время он кончил курс в университете, но теперь смотрел на это так, как будто отбыл повинность, неизбежную для юношей в возрасте от 18 до 25 лет; по крайней мере, мысли, которые теперь каждый день бродили в его голове, не имели ничего общего с университетом и с теми науками, которые он проходил.

В поле было жарко и тихо, как перед дождем. В лесу парило, и шел душистый тяжелый запах от сосен и лиственного перегноя. Петр Михайлыч часто останавливался и вытирал мокрый лоб. Он осмотрел

свои озимые и яровые, обошел клеверное поле и раза два согнал на опушке куропатку с цыплятами; и всё время он думал о том, что это невыносимое состояние не может продолжаться вечно и что надо его так или иначе кончить. Кончить как-нибудь глупо, дико, но непременно кончить.

«Но как же? Что же сделать?» — спрашивал он себя и умоляюще поглядывал на небо и на деревья, как бы прося у них помощи.

Но небо и деревья молчали. Честные убеждения не помогали, а здравый смысл подсказывал, что мучительный вопрос можно решить не иначе, как глупо, и что сегодняшняя сцена с верховым не последняя в этом роде. Что еще будет — страшно подумать!

Когда он возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь уж ему казалось, что вопроса никак нельзя решить. С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет. Когда он, снявши шляпу и обмахиваясь платком, шел по дороге и до дома оставалось версты две, сзади слышались звонки. Это был затейливый и очень удачный подбор колокольчиков и бубенчиков, издававших стеклянные звуки. С таким звоном ездил один только исправник Медовский, бывший гусарский офицер, промотавшийся и истасканный, больной человек, дальний родственник Петра Михайлыча. У Ивашиных он был своим человеком и к Зине питал нежное отеческое чувство и восхищался ею.

— А я к вам,— сказал он, обогнав Петра Михайлыча.— Садитесь, подвезу.

Он улыбался и глядел весело; очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу; быть может, ему уже сообщали об этом, но он не верил. Петр Михайлыч почувствовал себя в затруднительном положении.

— Милости просим,— пробормотал он, краснея до слез и не зная, как и что солгать.— Я очень рад,— продолжал он, стараясь улыбнуться,— но... Зина уехала, а мама больна.

— Какая досада! — сказал исправник, задумчиво глядя на Петра Михайлыча.— А я собирался провести у вас вечер. Куда же уехала Зинаида Михайловна?

— К Синицким, а оттуда, кажется, хотела в монастырь. Не знаю наверное.

Исправник поговорил еще немного и повернул назад. Петр Михайлыч шел домой и с ужасом думал о том, какое чувство будет у исправника, когда он узнает правду. И Петр Михайлыч вообразил себе это чувство и, испытывая его, вошел в дом.

«Помоги, господи, помоги...» — думал он.

В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал молча пить чай.

— Твоя мать сегодня опять не обедала, — сказала тетка. — Ты бы, Петруша, обратил внимание. Морить себя будешь голодом, этим горю не пособишь.

Петру Михайлычу показалось неленым, что тетка вмешивается в чужие дела и свой отъезд ставит в зависимость от того, что ушла Зина. Он хотел сказать ей дерзость, но сдержал себя. И, сдерживая себя, он почувствовал, что настала подходящая пора, чтобы действовать, и что терпеть долее нет сил. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться головой о пол. Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются теперь где-нибудь под кленом, и всё тяжелое и злобное, что скопилось в нем в течение семи дней, навалилось на Власича.

«Один оболъстил и украл сестру, — подумал он, — другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит.. И всё это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!»

— Нет, этого не будет! — вдруг крикнул Петр Михайлыч и ударил кулаком по столу.

Он вскочил и выбежал из столовой. В конюшне стояла оседланная лошадь управляющего. Он сел на нее и поскакал к Власичу.

В душе у него происходила целая буря. Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли; от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого

себя. Эти несчастные, безответные люди — самые не-носные, самые тяжелые люди. Им всё проходит безнаказанно. Когда несчастный человек, в ответ на заслуженный упрек, взглянет своими глубокими виноватыми глазами, болезненно улыбнется и покорно подставит голову, то, кажется, у самой справедливости не хватит духа поднять на него руку.

«Всё равно. Я при ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзостей», — решил Петр Михайлыч.

Он ехал своим лесом и пустырями и воображал, как Зина, чтобы оправдать свой поступок, будет говорить о правах женщины, о свободе личности и о том, что между церковным и гражданским браком нет никакой разницы. Она по-женски будет спорить о том, чего не понимает. И, вероятно, в конце концов она спросит: «Причем ты тут? Какое ты имеешь право вмешиваться?»

— Да, я не имею права, — пробормотал Петр Михайлыч. — Но тем лучше... Чем грубее, чем меньше права, тем лучше.

Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Всё предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлыч переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. В версте от церкви направо темнеет роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Из-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали бледные молнии.

«Вот оно что! — подумал Петр Михайлыч. — Помоги, господи, помоги».

Лошадь от быстрой езды скоро устала, и сам Петр Михайлыч устал. Грозовая туча сердито смотрела на него и как будто советовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

«Я им докажу, что они не правы! — подбодрял он себя. — Они будут говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но ведь свобода — в воздержании,

а не в подчинении страстям. У них разврат, а не свобода!»

Вот большой графский пруд; от тучи он посинел и нахмурился; повеяло от него сыростью и тиной. Около гати две ивы, старая и молодая, нежно прислонились друг к другу. На этом самом месте недели две назад Петр Михайлыч и Власич шли пешком и пели вполголоса студенческую песню: «Не любить — погубить значит жизнь молодую...» Жалкая песня!

Когда Петр Михайлыч ехал через рощу, гремел гром, и деревья шумели и гнулись от ветра. Надо было торопиться. От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. Они были так же печальны и несчастны на вид, как их хозяин Власич, так же были тощи и высоко вытянулись, как он. В березах и в траве зашуршал крупный дождь; ветер тотчас же стих и запахло мокрою землею и тополем. Вон показалась изгородь Власича с желтою акацией, которая тоже тоща и вытянулась; там, где решетка обвалилась, виден запущенный фруктовый сад.

Петр Михайлыч не думал уже ни о пощечине, ни о хлысте, и не знал, что будет он делать у Власича. Он трусил. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что он ее сейчас увидит. Как она будет держать себя с братом? О чем они оба будут говорить? И не вернуться ли назад, пока не поздно? Думая так, он по липовой аллее поскакал к дому, обогнул широкие кусты сирени и вдруг увидел Власича.

Власич, без шляпы, в ситцевой рубаше и высоких сапогах, согнувшись под дождем, шел от угла дома к крыльцу; за ним работник нес молоток и ящик с гвоздями. Должно быть, починяли ставню, которая хлопала от ветра. Увидев Петра Михайлыча, Власич остановился.

— Это ты? — сказал он и улыбнулся. — Ну, вот и хорошо.

— Да, приехал, как видишь... — тихо проговорил Петр Михайлыч, стряхивая с себя дождь обеими руками.

— Ну, вот и ладно. Очень рад, — сказал Власич, но руки не подал: очевидно, не решался и ждал, когда ему подадут. — Для овсов хорошо! — сказал он и поглядел на небо.

— Да.

Молча вошли в дом. Направо из передней вела дверь в другую переднюю и потом в залу, а налево — в маленькую комнату, где зимою жил приказчик. Петр Михайлыч и Власич вошли в эту комнату.

— Тебя где дождь захватил? — спросил Власич.

— Недалеко. Почти около дома.

Петр Михайлыч сел на кровать. Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было темно. Этак лучше: не так жутко и не нужно собеседнику в лицо смотреть. Злобы у него уже не было, а были страх и досада на себя. Он чувствовал, что дурно начал и что из этой его поездки не выйдет никакого толку.

Оба некоторое время молчали и делали вид, что прислушиваются к дождю.

— Спасибо, Петруша, — начал Власич, кашлянув. — Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Это великодушно и благородно с твоей стороны. Я это понимаю и, верь мне, ценю высоко. Верь мне.

Он поглядел в окно и продолжал, стоя среди комнаты:

— Всё произошло как-то тайно, точно мы скрывались от тебя. Сознание, что ты, быть может, оскорблен нами и сердисься, все эти дни лежало пятном на нашем счастье. Но позволь оправдаться. Действовали мы тайно не потому, что тебе мало доверяли. Во-первых, всё произошло внезапно, по какому-то вдохновению, и рассуждать было некогда. Во-вторых, это дело интимное, щекотливое... было неловко вмешивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, как ты. Главное же, во всем этом мы сильно рассчитывали на твое великодушие. Ты великодушнейший, благороднейший человек. Я тебе бесконечно благодарен. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Власич говорил тихим, глухим басом, всё в одну ноту, будто гудел; он, видимо, волновался. Петр Михайлыч почувствовал, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него в самом деле разыгрывать из себя великодушнейшего и благороднейшего простака, а он не за этим сюда приехал. Он быстро поднялся и сказал вполголоса, задыхаясь:

— Послушай, Григорий, ты знаешь, я любил тебя

и лучшего мужа для своей сестры не желал; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

— Почему же страшно? — спросил Власич дрогнувшим голосом. — Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но ведь этого нет!

— Послушай, Григорий, ты знаешь, я без предрассудков; но, извини за откровенность, по моему мнению, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зине, это ее огорчит, но ты должен знать: мать страдает до такой степени, что описать трудно.

— Да, это грустно, — вздохнул Власич. — Мы это предвидели, Петруша, но что же мы должны были делать? Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Что делать! Всякий твой серьезный шаг неминуемо должен огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошел сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что делать! Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни.

За окном ярко сверкнула молния, и этот блеск как будто изменил течение мыслей у Власича. Он сел рядом с Петром Михайлычем и заговорил совсем не то, что нужно.

— Я, Петруша, благоговею перед твоею сестрой, — сказал он. — Когда я ездил к тебе, то всякий раз у меня бывало такое чувство. как будто я шел на богомолье, и я в самом деле молился на Зину. Теперь мое благоговение растет с каждым днем. Она для меня выше, чем жена! Выше! (Власич взмахнул руками.) Она моя святая. С тех пор, как она живет у меня, я вхожу в свой дом как в храм. Это редкая, необыкновенная, благороднейшая женщина!

«Ну, завел свою шарманку!» — подумал Петр Михайлыч; слово «женщина» ему не понравилось.

— Отчего бы вам не жениться по-настоящему? — спросил он. — Сколько твоя жена хочет за развод?

— Семьдесят пять тысяч.

— Многовато. А если поторговаться?

— Не уступит ни копейки. Это, брат, ужасная женщина! — вздохнул Власич. — Я тебе раньше о ней никогда не говорил, было противно вспоминать, но вот пришлось к случаю, упоминаю. Женился я на ней под влиянием хорошей, честной минуты. В нашем полку,

если хочешь подробностей, один батальонный командир сошелся с восемнадцатилетнею девицей, то есть, попросту, обольстил ее, пожил с ней месяца два и бросил. Очутилась она, брат, в ужаснейшем положении. К родителям возвращаться совестно, да и не примут, любовник бросил,—хоть иди в казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость уж очень глаза резала. Батальонного, к тому же, в полку все терпеть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали все негодующие прапорщики и подпоручики собирать деньги по подписке в пользу несчастной девицы. Ну, вот, когда мы, младшие обер-офицеры, собрались на совещание и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдруг загорелась голова. Обстановка показалась мне слишком подходящею для подвига. Я поспешил к девице и в горячих выражениях высказал ей свое сочувствие. И пока я шел к ней и потом говорил, я горячо любил ее, как униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло так, что через неделю после этого я сделал ей предложение. Начальство и товарищи нашли брак мой несовместимым с достоинством офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написал длинное письмо, в котором доказал, что мой поступок должен быть записан в истории полка золотыми буквами и прочее. Письмо послал командиру, а копии товарищам. Ну, конечно, был возбужден и не обошлось без резкостей. Меня попросили оставить полк. Где-то у меня спрятан черновик, я тебе дам прочесть как-нибудь. Написано с большим чувством. Ты увидишь, какие я переживал честные, светлые минуты. Подал я в отставку и приехал с женой сюда. После отца остались кое-какие долгишки, денег у меня не было, а жена с первого же дня завела знакомства, стала щеголять и играть в карты, и я вынужден был заложить имение. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и из всех моих соседей только один ты не был ее любовником. Года через два дал я ей отступного, всё, что у меня было тогда, и она уехала в город. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысяче двести ежегодно. Ужасная женщина! Есть, брат, муха, которая кладет личинку на спину паука таким образом, что тот никак не может сбросить ее; личинка прирастает к

пауку и пьет из его сердца кровь. Точно так же вот приросла ко мне и пьет из моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидит и презирает меня за то, что я сделал глупость, то есть женился на такой женщине, как она. Мое великодушие кажется ей жалким. «Умный человек, говорит, бросил меня, а дурак подобрал». По ее мнению, только жалкий идиот мог поступить так, как я. И мне, брат, это невыносимо горько. Вообще, брат, скажу в скобках, гнет меня судьба. В дугу гнет.

Петр Михайлыч слушал Власича и в недоумении спрашивал себя: чем этот человек мог так понравиться Зине? Немолодой, — ему уже 41 год, — тощий, сухопарый, узкогрудый, с длинным носом, с проседью в бороде. Говорит он — точно гудёт, улыбается болезненно и, разговаривая, некрасиво взмахивает руками. Ни здоровья, ни красивых мужественных манер, ни светскости, ни веселости, а так, с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одевается он безвкусно, обстановка у него унылая, поэзии и живописи он не признает, потому что они «не отвечают на запросы дня», то есть он не понимает их; музыка его не трогает. Хозяин он плохой. Имение у него приведено в полное расстройство и заложено; по второй закладной он платит двенадцать процентов и, кроме того, по векселям еще должен тысячу десять. Когда приходит время платить проценты или высылать жене деньги, он просит у всех займы с таким выражением, как будто у него дома пожар, и в это время, очертя голову, продает он весь свой зимний запас хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потом велит топить свои печи садовою решеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него отравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий скот, а старых деревьев с каждой зимой становится всё меньше и меньше; в огороде и в саду валяются пасечные колодки и ржавые ведра. У него нет ни талантов, ни дарований и нет даже обыкновенной способности жить, как люди живут. В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его «простоватым».

Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется

он как-то всё в одну ноту, не эффектно и вяло. Даже в минуты сильного воодушевления он не поднимает головы и остается сутулым. Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда он медленно, с глубокомысленным видом, начинает толковать про честные, светлые минуты, про лучшие годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идет впереди общества, или порицает русских людей за то, что они в тридцать лет надевают халат и забывают заветы своей *almae matris*¹. Когда остаешься у него ночевать, то он кладет на ночной столик Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читал, то он выйдет и принесет Добролюбова.

Это называлось в уезде вольнодумством, и многие смотрели на это вольнодумство как на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сделало его глубоко несчастным. Оно было для него тою личинкой, о которой он только что говорил: крепко приросло к нему и пило из его сердца кровь. В прошлом страшный брак во вкусе Достоевского, длинные письма и копии, писанные плохим, неразборчивым почерком, но с большим чувством, бесконечные недоразумения, объяснения, разочарования, потом долги, вторая закладная, жалованье жене, ежемесячные займы — и всё это никому не в пользу, ни себе, ни людям. И в настоящем, как прежде, всё он топорщится, ищет подвига и суется в чужие дела; по-прежнему, при всяком удобном случае, длинные письма и копии, утомительные, шаблонные разговоры об общине или о поднятии кустарной промышленности, или об учреждении сыроварен, — разговоры, похожие один на другой, точно он готовится их не в живом мозгу, а машинным способом. И наконец этот скандал с Зиной, который неизвестно чем еще кончится!

А между тем сестра Зина молода, — ей только 22 года, — хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтуня, спорщица, страстная музыкантша; она знает толк в нарядах, в книгах и в хорошей обстановке, и у себя дома не потерпела бы такой комнатки, как эта,

¹ матери-кормилицы, здесь: университета (лат.).

где пахнет сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но в ее вольнодумстве чувствуются избыток сил, тщеславие молодой, сильной, смелой девушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнее других... Как же могло случиться, что она полюбила Власича?

«Он — Дон-Кихот, упрямый фанатик, маньяк, — думал Петр Михайлыч, — а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я... Мы с ней сдаемся скоро и без сопротивления. Она полюбила его; но разве я сам не люблю его, несмотря ни на что...»

Петр Михайлыч считал Власича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его волнениях и страданиях, да и во всей его жизни, он не видел ни ближайших, ни отдаленных высших целей, а видел только скуку и неумение жить. Его самоотвержение и всё то, что Власич называл подвигом или честным порывом, представлялись ему бесполезною тратой сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власич фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления, казалось ему наивным и даже болезненным; и то, что Власич всю свою жизнь как-то ухитрялся перепутывать ничтожное с высоким, что он глупо женился и считал это подвигом, и потом сходился с женщинами и видел в этом торжество какой-то идеи, — это было просто непонятно.

Но все-таки Петр Михайлыч любил Власича, чувствовал присутствие в нем какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противоречить ему.

Власич подсел совсем близко, чтобы потолковать под шумок дождя, в темноте, и уже откашлялся, готовый рассказать что-нибудь длинное, вроде истории своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчас он увидит сестру.

— Да, тебе не возло в жизни, — сказал он мягко, — но, извини, мы с тобой уклонились от главного. Мы не о том говорим.

— Да, да, в самом деле. Так вот вернемся к главному, — сказал Власич и встал. — Я говорю тебе, Петруша: совесть наша чиста. Мы не венчаны, но что брак наш вполне законен — не мне доказывать и не

тебе слушать. Ты так же свободно мыслишь, как я, и, слава богу, разногласия у нас на этот счет не может быть. Что же касается до нашего будущего, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кровавого пота, не спать ночей,— одним словом, я напрягу все силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ее будет прекрасной. Ты спросишь: сумею ли я это сделать? Сумею, брат! Когда человек думает каждую минуту всё об одном и том же, то ему не трудно добиться, чего он хочет. Но пойдем к Зине. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайлыча забилося сердце. Он встал и пошел за Власичем в переднюю, а оттуда в залу. В этой громадной, угрюмой комнате был только фортепьян да длинный ряд старинных стульев с бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьяне горела одна свеча. Из залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый стол из двух половинок на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего.

Власич отворил дверь в соседнюю комнату и сказал: — Зиночка, у нас Петруша!

Тотчас же слышались торопливые шаги, и в столовую вошла Зина, высокая, полная и очень бледная, какую Петр Михайлыч видел ее в последний раз дома,— в черной юбке и в красной кофточке с большою пряжкой на поясе. Она одною рукой обняла брата и поцеловала его в висок.

— Какая гроза! — сказала она. — Григорий ушел куда-то, и я осталась одна на весь дом.

Она не была смущена и смотрела на брата искренно и ясно, как дома; глядя на нее, и Петр Михайлыч перестал испытывать смущение.

— Но ведь ты не боишься грозы,— сказал он, садясь за стол.

— Да, но здесь огромные комнаты, дом старый и весь звенит от грома, как шкаф с посудой. Вообще, миленький домик,— продолжала она, садясь против брата. — Тут что ни комната, то какое-нибудь приятное воспоминание. В моей комнате, можешь себе представить, застрелился дедушка Григория.

— В августе будут деньги, ремонтирую флигель в саду,— сказал Власич.

— Почему-то во время грозы вспоминается дедушка,— продолжала Зина.— А в этой столовой засекли насмерть какого-то человека.

— Это действительный факт,— подтвердил Власич и посмотрел большими глазами на Петра Михайлыча.— В сороковых годах это имение арендовал некий Оливьер, француз. Портрет его дочери валяется у нас теперь на чердаке. Очень хорошенькая. Этот Оливьер, как рассказывал мне отец, презирал русских за невежество и глумился над ними жестоко. Так, он требовал, чтобы священник, проходя мимо усадьбы, снимал шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеров проезжало через деревню, то чтоб звонили в церкви. С крепостными и вообще с малыми мира сего он, конечно, церемонился еще меньше. Как-то проходил здесь по дороге один из благодушнейших сынов бродячей Руси, что-то вроде гоголевского бурсака Хомы Брута. Попросился он ночевать, понравился тут приказчикам, и его оставили при конторе. Существует много вариаций. Одни говорят, что бурсак волновал крестьян, другие же — будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что верно, но только в один прекрасный вечер позвал его сюда Оливьер и сделал ему допрос, потом же приказал его бить. Понимаешь ли, сам сидит за этим столом и бордо пьет, а конюхи бьют бурсака. Должно быть, пытал. К утру бурсак умер от истязаний, и труп его спрятали куда-то. Говорят, что в пруд Колтевича бросили. Подняли дело, но француз заплатил кому следует несколько тысяч и уехал в Эльзас. Кстати же подошел срок аренды, тем дело и кончилось.

— Какие негодии! — проговорила Зина и вздрогнула.

— Мой отец хорошо помнил и Оливьера, и его дочь. Говорил, что красавица была замечательная и притом эксцентричная. Я думаю, что бурсак всё вместе: и крестьян волновал, и дочь увлек. Может быть, даже это был вовсе не бурсак, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: история бурсака и красивой французенки, по-видимому, унесла ее воображение далеко. Как казалось Петру Михайлычу, она наружно несколько не изменилась в последнюю неделю, только стала немножко бледнее. Она глядела покойно и обыкновенно, как будто вместе с братом приехала к Власичу

в гости. Но Петр Михайлыч чувствовал, что произошла какая-то перемена в нем самом. В самом деле, прежде, когда она жила дома, он мог говорить с нею решительно обо всем, теперь же он был не в силах задать даже простого вопроса: «Как тебе живется здесь?» Этот вопрос казался неловким и ненужным. Должно быть, такая же перемена произошла и в ней. Она не спешила заводить разговор о матери, о доме, о своем романе с Власичем; она не оправдывалась, не говорила, что гражданский брак лучше церковного, не волновалась и покойно задумалась над историей Оливьера... И почему вдруг заговорили об Оливьере?

— У вас у обоих плечи мокрые от дождя, — сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этим маленьким сходством между братом и Власичем.

И Петр Михайлыч почувствовал всю горечь и весь ужас своего положения. Он вспомнил свой опустевший дом, закрытый рояль и Зинину светленькую комнату, в которую теперь уже никто не входит; он вспомнил, что на аллеях в саду уже нет следов от маленьких ног и что перед вечерним чаем уже никто с громким смехом не уходит купаться. То, к чему он больше и больше привязывался с самого раннего детства, о чем любил думать, когда сидел, бывало, в душном классе или в аудитории, — ясность, чистота, радость, всё, что наполняло дом жизнью и светом, ушло безвозвратно, исчезло и смешалось с грубою, неуклюжею историей какого-то батальонного командира, великодушного прапорщика, развратной бабы, застрелившегося дедушки... И начинать разговор о матери или думать, что прошлое может вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайлыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на столе, задрожала. Зина угадала, о чем он думал, и глаза ее тоже покраснели и заблестели.

— Григорий, поди сюда! — сказала она Власичу.

Оба отошли к окну и стали говорить о чем-то шёпотом. И потому, как Власич нагнулся к ней и как она смотрела на него, Петр Михайлыч еще раз понял, что всё уже непоправимо кончено и что говорить ни о чем не нужно. Зина вышла.

— Так-то, брат, — заговорил Власич после некоторого молчания, потирая руки и улыбаясь. — Я давеча называл нашу жизнь счастьем, но это подчиняясь, так

сказать, литературным требованиям. В сущности же ощущения счастья еще не было. Зина всё время думала о тебе, о матери и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смелая, но без привычки, знаешь, тяжело, да и молода к тому же. Прислуга называет ее барышней; кажется, пустяк, но это ее волнует. Так-то, брат.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на вид безответная и забитая. Она поставила на стол кувшин молока и поклонилась низко-низко... В ней было что-то общее со старинной мебелью, такое же оцепенелое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петр Михайлыч ел землянику, а Власич и Зина смотрели на него молча. Приближалось время ненужного, но неизбежного разговора, и все трое уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайлыча глаза опять наполнились слезами; он отодвинул от себя тарелку и сказал, что ему пора уже ехать домой, а то будет поздно и, пожалуй, опять пойдет дождь. Настала минута, когда Зина из приличия должна была заговорить о домашних и о своей новой жизни.

— Что у нас? — спросила она быстро, и ее бледное лицо задрожало. — Что мама?

— Ты маму знаешь... — ответил Петр Михайлыч, не глядя на нее.

— Петруша, ты долго думал о том, что произошло, — проговорила она, взявши брата за рукав, и он понял, как ей тяжело говорить. — Ты долго думал; скажи мне, можно ли рассчитывать, что мама когда-нибудь примирится с Григорием... и вообще с этим положением?

Она стояла близко к брату, лицом к лицу, и он изумился, что она так красива и что раньше он точно не замечал этого; и то, что его сестра, похожая лицом на мать, изнеженная, изящная, жила у Власича и с Власичем, около оцепенелой горничной, около стола на шести ногах, в доме, где засекли живого человека, что она сейчас не поедет с ним домой, а останется тут ночевать, — это показалось ему невероятным абсурдом.

— Ты маму знаешь... — сказал он, не отвечая на вопрос. — По-моему, следовало бы соблюсти... что-нибудь сделать, попросить у нее прощения, что ли...

— Но просить прощения — значит делать вид, что мы поступили дурно. Для успокоения мамы я

готова солгать, но ведь это ни к чему не поведет. Я знаю маму. Ну, что будет, то будет! — сказала Зина, повеселевшая оттого, что самое неприятное было уже сказано. — Подождем пять, десять лет, потерпим, а там что бог даст.

Она взяла брата под руку и, когда проходила через темную переднюю, прижалась к его плечу.

Вышли на крыльцо. Петр Михайлыч простился, сел на лошадь и поехал шагом; Зина и Власич пошли проводить его немного. Было тихо, тепло и чудесно пахло сеном; на небе меж облаков ярко горели звезды. Старый сад Власича, видевший на своем веку столько печальных историй, спал, окутавшись в потемки, и почему-то было грустно проезжать через него.

— А мы с Зиной сегодня после обеда провели несколько воистину светлых минут! — сказал Власич. — Я прочел ей вслух превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, брат! Тебе это необходимо! Статья замечательная по честности. Я не выдержал и написал в редакцию письмо для передачи автору. Написал только одну строчку: «Благодарю и крепко жму честную руку!»

Петр Михайлыч хотел сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не в свои дела!» — но промолчал.

Власич шел у правого стремена, а Зина у левого; оба как будто забыли, что нужно возвращаться домой, а было сыро и уже немного оставалось до рощи Колтовича. Петр Михайлыч чувствовал, что они ждут от него чего-то, хотя сами не знают чего, и ему стало невыносимо жаль их. Теперь, когда они, с покорным видом и задумавшись, шли около лошади, он был глубоко убежден, что они несчастны и не могут быть счастливы, и их любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой. От жалости и сознания, что он ничем не может помочь, им овладело то состояние душевного расслабления, когда он, чтобы избавиться от тяжелого чувства сострадания, готов бывал на всякие жертвы.

— Я к вам буду ездить ночевать, — сказал он.

Но это походило на то, как будто он делал уступку, и не удовлетворило его. Когда остановились около рощи Колтовича, чтобы проститься, он нагнулся к Зине, дотронулся до ее плеча и сказал:

— Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, он ударил по лошади и поскакал в рощу. Въезжая в потемки, он оглянулся и увидел, как Власич и Зина шли домой по дороге,— он широко шагая, а она рядом с ним торопливою подпрыгивающей походкой,— и о чем-то оживленно разговаривали.

«Я — старая баба,— подумал Петр Михайлыч.— Ехал затем, чтобы решить вопрос, но еще больше запутал его. Ну, да бог с ним!»

На душе у него было тяжело. Когда кончилась роща, он поехал шагом и потом около пруда остановил лошадь. Хотелось сидеть неподвижно и думать. Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. Где-то глухо погромыхивал гром. Петр Михайлыч не мигая смотрел на воду и воображал отчаяние сестры, ее страдальческую бледность и сухие глаза, с какими она будет скрывать от людей свое унижение. Он вообразил себе ее беременность, смерть матери, ее похороны, ужас Зины... Гордая суеверная старуха кончит не иначе, как смертью. Страшные картины будущего рисовались перед ним на темной гладкой воде, и среди бледных женских фигур он видел самого себя, малодушного, слабого, с виноватым лицом...

В ста шагах на правом берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человек это или высокий пенъ? Петр Михайлыч вспомнил про бурсака, которого убили и бросили в этот пруд.

«Оливьер поступил бесчеловечно, но ведь так или иначе он решил вопрос, а я вот ничего не решил, а только напутал,— подумал он, вглядываясь в темную фигуру, похожую на привидение.— Он говорил и делал то, что думал, а я говорю и делаю не то, что думаю; да и не знаю наверное, что собственно я думаю...»

Он подъехал к темной фигуре: это был старый гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки.

Из рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петр Михайлыч ехал по берегу пруда и печально глядел на воду и, вспоминая свою жизнь, убеждался, что до сих пор говорил он и делал не то, что думал, и люди платили ему тем же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь, — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней.

Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе,— ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими, блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неутомимо, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволено выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копейчку. В одном месте дадут ему

квасу, в другом — хлеба, в третьем — копейчку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жидка на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копейчке и спать по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой

халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще недопетых песен.

II

Лет 12—15 тому назад, в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60—70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как

весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходиллся и друзей не имел. О горожанам он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он всё сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же, он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению

горожан, всё и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, всё сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на всё, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и плекая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и всё думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судо-

производстве очень возможна и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — всё кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, — думал он, — то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой, не спеша, прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи

напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано

утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники, Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходиться с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте,

маленький, худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать не трудно.

— Поздравьте меня,— говорит он часто Ивану Дмитричу,— я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение,— улыбается он, в недоумении пожимая плечами.— Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю,— угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза.— Я непременно получу шведскую Полярную Звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит всё об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цырюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цырюльника, мы говорить не будем.

Кроме цырюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагия — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере, и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъявшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще, одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно

покупает в жиновской лавке, кажется на нем такую же поношенную и помятую, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожь. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабаты-

ваются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкапа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожь остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю»... или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность — для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 000 приходя-

щих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 000 человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

V

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных

больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику. носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает,

Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время... — отвечает он. — Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из пужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил

Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор. — Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинается доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, несколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете всё незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги займы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка... — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастьем,

чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако, в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским

умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошлое и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землею вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туги положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12 000 человек; всё больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6, за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают опе-

рации, какие великий Пирогов считал невозможными даже *in spe*¹. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльбурус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубаш; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватили в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность всё те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я не честен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности

¹ в надежде, в будущем (*лат.*).

виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.» Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолля с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками. — Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим и на жалость, и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора, с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была открыта. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навывкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал. — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя

к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат.— За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть.— Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь.— Уверю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся вапа больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Всё зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и всё. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснился обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, всё еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда... — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб.— Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы велико-

лечная заря ни освещала вашу жизнь, всё же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такою верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена, да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну, что там нового? — спросил Иван Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем

слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, не культурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение,— значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и, стоя, начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убраться, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За всё время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он всё время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг,— сказал Андрей Ефимыч.— Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг,— проговорил Иван Дмитрич в подушку,— а во-вторых, вы напрасно хлопотете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно...— пробормотал Андрей Ефимыч в смущении.— Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, несогласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны.— Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор.— Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание,— это всё равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы,— сказал он.— Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера,— время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарыюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите,— сказал доктор.— Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... и полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец, или, попросту, мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно всё то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение... — поморщился Иван Дмитрич. — Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, — я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния, — и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, — или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, — продолжал Иван Дмитрич с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как всё существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощуще-

ниях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стойков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился, — сказал он. — О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стойков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стойк реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме всё, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он. — Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отошлением, с ос-

вещением, с прислугой, имея притом право работать как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочк, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо, — всё это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, всё равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все померем, а потому ступай баба прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич. — Страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, поль-

зуюсь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно,— ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально,— сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки.— Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставлял его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевно-больным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся и обратить меня в свою веру вам не удастся,— говорил Иван Дмитрич с раздражением.— С действительностью вы совершенно не

знакомы и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращаться вас в свою веру,— проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять.— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоело мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

ХII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, те-

перь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного, белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилиею, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с, — обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. — Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится *minimum* рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад, — продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, — что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слиш-

ком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет, — засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится, — согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Военский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монахи: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а всё время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, всё же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек. Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жалеть медицину.

«Боже мой,— думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его,— ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен,— откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет,— такая идея в первую ми-

нугу показалахь ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы собственно куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перешагался и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахнешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожай у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не

давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал всё хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил *ты* и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечения. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решился. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия,— думал доктор с досадой.— Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь, вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился всё болтливее и

развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, — думал он, сердясь на свою мелочность. — Впрочем, вздор... Приеду домой, и всё пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч всё время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. — Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч. — Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, — обратился он к доктору, — презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, всё еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире, в ожидании, когда Андрей Ефимыч придет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой,— сказал ему робко почтмейстер,— извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю,— проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора.— Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал по крайней мере тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по но-

чам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К чёрту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовремен-

ного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и жлет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Всё было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится всё выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Всё — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Всё это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. — Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женю вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилося сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к чёрту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. — К чёрту!

По уходе гостей, Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что всё это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Поддай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, — зашептал Михаил Аверьяныч, — вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. — Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне всё равно, я на всё готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне всё равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь всё, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить? — сказал Андрей Ефимыч с раздражением. — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте,

что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем, у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или, в самом деле, дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И всё это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ядал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйста сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч всё понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст, — повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Всё равно... — думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. — Всё равно... Всё равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Всё это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что всё на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройти из угла в угол. А потом что? Так и сидеть всё время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что всё лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение...— проговорил он, разводя руками в недоумении.— Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сильным спросонок голосом, зажмурив один глаз.— Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение...— проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он.— И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался рздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на

груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что всё со временем сплывет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой,— пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот.— Пал духом.

— А вы пофилософствуйте,— сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда,— сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить.— Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобно божью, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, уозсть, пошлость! О, боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... протрация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча всё время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,— сказал он.— Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

ПАЛАТА № 6.

РАВСКАЯ

Ант. П. Чехова,

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



МОСКВА.

Типографія Высоч. утвр. Т-ва И. Д. Сытина. Валовая ул., свой домъ.
1894.

«ПАЛАТА № 6»

Титульный лист.

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он. — Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройти! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это чёрт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. — Мне нужно, я должен выйти! Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живо дер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. — Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Сгноят нас здесь! О, господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сильным голосом и навалился на дверь. — Я разможжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом раз-

махнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем всё стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было всё равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне всё равно,— думал он, когда ему задавали вопросы.— Отвечать не стану... Мне всё равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во всё тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом всё исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

СТРАХ

(РАССКАЗ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ)

Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтоб день прошел — и слава богу.

Я любил бывать у него и, случалось, гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил и его самого, хотя не могу сказать этого наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек, но помню очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения.

Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка, я скучал по ней, когда долго не видал ее, и мое воображение в то

время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко. Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг и что она сама считает меня его другом, настроение мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила:

— Вам скучно без вашего друга. Надо послать за ним в поле.

И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила:

— Ну, вот теперь пришел ваш друг. Радуйтесь.

Так продолжалось года полтора.

Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович, от нечего делать, поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закуску. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер, тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом, точно сыщик, следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище: Сорок Мучеников. Этот Сорок Мучеников был не кто иной, как Гаврила Северов, или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича, и им тоже был уволен всё за тот же грех. Это был лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же беспутною, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному, но как я ни всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже седеющую бороду, в жалкеный рваный пиджак и

красную рубаху навыпуск, я никак не мог найти даже следа того, что у нас в общежитии зовется привилегиями. Он называл себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курса не кончил, так как его уволили за курение табаку; затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили, но уж не за курение, а за «слабость». Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошения в консистории и в разные присутственные места, четыре раза был под судом. Наконец, застрявши у нас в уезде, он служил в лаксах, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове-кухарке и окончательно погряз в холуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрязгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести.

Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. Сорок Мучеников стал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистом, звездном небе было только два облака и как раз над нами: одно большое, другое поменьше; они одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря.

— Славный сегодня день, — сказал Дмитрий Петрович.

— До чрезвычайности... — согласился Сорок Мучеников и почтительно кашлянул в руку. — Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать? — спросил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор.

Дмитрий Петрович ничего не ответил. Сорок Мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас:

— Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему богу. Оно, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести: без куска хлеба и хуже собаки... Простите, Дмитрий Петрович!

Силин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий, багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки: это деревушка... Там пели песню.

На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражения звезд и цепляясь за пивы. Они каждую минуту меняли свой вид и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились... Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь:

— Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?

— Страшно то, что непонятно.

— А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?

Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное, худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода — чернее сажки. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом:

— Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как всё это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон; этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час, моя фантазия

изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает всё, что видит и слышит, а я вот утерял это «кажется» и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь — боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козлявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

— Что же собственно вам страшно? — спросил я.

— Мне всё страшно. Я человек от природы не глубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я неспособен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня; я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу и испугался, приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаем и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клеветем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить, и это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому всё это нужно. Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди; если же цель и смысл жизни — в нужде и непреходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ни-

чего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вот этого субъекта! — сказал Дмитрий Петрович, указывая на Сорок Мучеников. — Вдумайтесь!

Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:

— У хороших господ я всегда был верной слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!

Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил десять.

— Однако, уже десять часов! — сказал Дмитрий Петрович. — Пора бы уж нам ехать. Да, голубчик мой, — вздохнул он, — если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтоб не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтоб крепко спать ночью. Дети, жена — у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!

Он помял руками лицо, крикнул и засмеялся.

— Если б я мог рассказать вам, какого я дурака разыграл в жизни! — сказал он. — Мне все говорят: у вас милая жена, прелестные дети и сами вы прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив, и завидуют мне. Ну, коли на то пошло, то скажу вам по секрету: моя счастливая семейная жизнь — одно только печальное недоразумение, и я боюсь ее.

Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса:

— Вы мой искренний друг, я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такою восхитительной, — мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за нею два года. Я делал ей предложение пять раз, и она отказывала мне, потому что была ко мне

совершенно равнодушна. В шестой раз, когда я, уговаривая от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки, как милостыни, она согласилась... Так она сказала мне: «Я вас не люблю, но буду вам верна»... Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что это значит, но теперь, клянусь богом, не понимаю. «Я вас не люблю, но буду вам верна», — что это значит? Это туман, потемки... Я люблю ее теперь так же сильно, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Я не знаю наверное, любит она меня или нет, не знаю, не знаю, но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу *ты*, спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая... Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка! Оттого, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе, всё у меня в голове перепуталось, я мучаю себя и тупею, а как назло она с каждым днем всё хорошеет, она становится удивительной... По-моему, волосы у нее замечательные, а улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей! Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений?

Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго, но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и Сорок Мучеников, сняв шапку, посадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.

— Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти, — проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову набок. — Явите божескую милость! Пропадаю с голоду!

— Ну, ладно, — сказал Силин. — Приходи, поживешь три дня, а там увидим.

— Слушаю-с! — обрадовался Сорок Мучеников. — Я сегодня же приду-с.

До дому было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию, и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него

в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе — значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги.

А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус, и мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.

Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу.

Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут десять и сказал:

— Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в три часа. Позвольте оставить вас.

Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель.

Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому.

— Итак? — начал я, когда мы остались одни. — Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые, пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равно-

душном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня.

— Вам скучно без вашего друга, — сказала она.

Я засмеялся.

— Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю.

Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину.

— Вы что хотите этим сказать? — спросила она, поднимая на меня свои большие, ясные глаза.

Я ничего не ответил.

— Вы сказали неправду, — продолжала она, подумав. — Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу.

«Эге!» — подумал я и, не зная, что сказать, спросил: — Хотите пройтись по саду?

— Нет.

Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь, или никогда.

— Какая хорошая погода! — сказал я громко.

— Для меня это решительно всё равно, — слышался ответ.

Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону.

— Почему же это для вас решительно всё равно? — спросил я.

— Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем... это для вас не интересно.

Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет.

— Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, — сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. — Если вам хочется спать, то уходите. Но думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж

обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал поты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллеи тянулись черные тени деревьев.

— Мне тоже нужно уезжать завтра, — сказал я.

— Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, — проговорила она насмешливо. — Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею... Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.

Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такую чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза.

— Однако уже пора... Спокойной ночи, — проговорила она.

— Я не хочу спокойной ночи... — сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. — Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!

В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка — всё это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспи-

ровской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!

В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томил очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.

Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем Сорок Мучепиков. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.

— Ну, жизнь! — проговорил он. — Несчастная, горькая жизнь!

Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.

«Жизнь, по его мнению, страшна, — думал я, — так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери всё, что можно урвать от нее».

На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею...

В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов... Но все-таки далеко, где-то в глубине души я чувствовал какую-то неловкость и мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного — ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором — и basta.

Ровно в три часа она вышла от меня и, когда я,

стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.

— Тут я забыл вчера свою фуражку... — сказал он, не глядя на меня.

Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо; на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сильным голосом:

— Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах.

И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом; вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям.

Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и молот пьяный вздор.

— Я человек вольный! — кричал он на лошадей. — Эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!

Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.

— Зачем я это сделал? — спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. — Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?

В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Было ему около тридцати пяти лет и звали его Георгием Ивановичем.

К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.

Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иванович сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнувший свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унижительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.

У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня

в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что собственно мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я — отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно всё на свете, даже Орлов.

Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холерное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург — не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем сто́ит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, не злой насмешки. Перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого

участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедая он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех явках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», — и всё он прочитывал одинаково быстро и всё с тем же ироническим выражением глаз.

После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.

Жили мы с ним тихо и мирно и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, — очевидно, не считал меня человеком.

Только один раз я видел его сердитым. Однажды — это было через неделю после того, как я поступил к нему, — он вернулся с какого-то обеда часов в девять; лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:

— У нас в комнатах чем-то воняет.

— Нет, воздух чист, — ответил я.

— А я тебе говорю, что воняет, — повторил он раздраженно.

— Я каждый день отворяю форточки.

— Не рассуждай, болван! — крикнул он.

Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.

— В самом деле, какой дурной запах! — сказала она, поднимая брови. — Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.

— Чёрт их возьми! — пробормотал он. — Хотят, чтоб я имел чудовищную память!

Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:

— Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае, если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.

Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулся, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.

— Зинаида Федоровна дома? — спросил я.

— Это я, — сказала дама.

— Письмо от Георгия Иваныча.

Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с бриллиантами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные, темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.

— Кланяйтесь и благодарите, — сказала она, кончив читать. — Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? — спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.

— Какие-то два господина, — ответил я. — Что-то пишут.

— Кланяйтесь и благодарите, — повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.

Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов, и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II

Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровал вместе с нею или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, не лакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял и, случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:

— Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.

Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:

— Поля, вы в бога веруете?

— А то как же!

— Стало быть, вы веруете,— продолжал я,— что будет страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов, и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.

В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к *ты* и к постоянному лганию (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова не легко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня, и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости — тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слышал о ней или как будто отец у него давно умер.

По четвергам у нас бывали гости.

Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральные карты. Поля уже с утра приготавливала чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий, худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным, горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навывкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультom при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исче-

зающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для парода необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую, семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.

Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженные усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, неуверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, кланяться, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» — и затем следовали скабрёзные пошлости — знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы

понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.

Третий гость — Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные, бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Прутков: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощих детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало, при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была

натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон — он шел, ставили перед ним вино — пил, не ставили — не пил; бранили при нем жен — и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоеет тихо:

Что день грядущий мне готовит?

но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подалее от рояля.

Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог, как следует, постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о рели-

гии — ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни — ирония, поднимал ли кто вопрос о народе — ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадёжна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь — не продашь». И всё в таком роде, и всё смешно.

От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: *На дела благотворительности* и другая — *На физиологические потребности*. Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласок, не выходя из гостиной, в то время, когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки: она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицера», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата несомненно преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были

развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.

В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.

IV

Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.

— Георгий Иванович встал? — спросила она.

И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей, — я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере, с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому, горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

— Это Зинаиде Федоровне, — сказала девушка.

И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» — и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:

— Степан, дайте Георгию Ивановичу одеться.

Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался; очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед

своим «внутренним оком». Одевался, умывался и потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.

Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.

— Мне все еще не верится, — сказала она. — Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.

С выражением девочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.

— Вы мне простите, — сказал Орлов, кивнув на газеты. — Читать за кофе — это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать, и слушать.

— Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?

— Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.

— Отчего? Вы имели время подготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.

— Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.

— И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и — конец.

— Да, конечно.

— Ах, милый мой! — сказала она, зажмуривая глаза. — Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию, — продолжала она по-французски. — Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, потому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.

Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением

смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг, и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» — и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек.

— В вас сильно бьется романтическая жилка, — перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.

Она засмеялась и продолжала рассказывать, не затрагиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.

— Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, — рассказывала она, — но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это с точки зрения бога нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом через полицию». А немного погодя гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось,

что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите,— одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распорядиться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой! Подряд две ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.

— У тебя уютная квартира, но боюсь, для двоих она будет мала,— говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты.— Какую ты даешь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.

Во втором часу она переделалась в комнату рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный промежуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли между прочим великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.

Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что ею совершено что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась

новою жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.

— Нет выше блага, как свобода! — говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. — Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.

Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О, да!»

— Степан, найдите поскорее хорошего повара, — обратилась она ко мне.

— Не следует торопиться с кухней, — сказал Орлов, холодно поглядев на меня. — Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дразгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них — это дурной тон, менщанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа — она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека,

как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...

V

Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отметить четверг.

Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.

— И барыня дома? — спросил у меня шёпотом Кукушкин.

— Никак нет, — ответил я.

Он вошел с хитрыми, маслеными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.

— Честь имею поздравить, — сказал он Орлову, дрожа всем телом от лстивого, угодливого смеха. — Желаю вам плодиться и размножаться, аки кедры ливанские.

Гости отправились в спальню и поострили там насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.

— Чему посмеяхомся, тому же и послужиша, — несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами. — Тише! — зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом. — Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.

И покотился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но

я ошибся. Его доброе, худощавое лицо сияло от удовольствия. Когда сажались играть в карты, он, картавая и захлебываясь от смеха, говорил, что Жоржиньке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что собственно произошло.

— Но как же муж? — спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.

— Не знаю, — ответил Орлов.

Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался, и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:

— Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбляться друг в друга и нарушать седьмую заповедь, сколько угодно, — это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?

— А разве это не все равно?

— Гм... — задумался Пекарский. — Так вот что я тебе скажу. Друг мой любезный, — продолжал он с видимым напряжением мысли, — если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим... как это называется?... с этим романтизмом согласиться я не могу.

Орлов ничего не ответил. Он был не в духе и ему не хотелось говорить. Пекарский, продолжая недоумевать, постучал пальцами по столу, подумал и сказал:

— Я все-таки вас обоих не понимаю. Ты не студент и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты мог бы устроить для нее отдельную квартиру.

— Нет, не мог бы. Почитай-ка Тургенева.

— Зачем мне его читать? Я уже читал.

— Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы

его идее,— сказал Орлов, иронически щури глаза.— Край света — это *licentia poetica*¹; весь свет со всеми своими краями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире — значит отказывать ей в ее высоком назначении и не разделять ее идеалов. Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай.

— Причем тут Тургенев, не понимаю,— сказал тихо Грузин и пожал плечами.— А помните, Жоржишка, как он в «Трех встречах» идет поздно вечером где-то в Италии и вдруг слышит: *Vieni pensando a me segretamente*²! — запел Грузин.— Хорошо!

— Но ведь она не насильно к тебе переехала,— сказал Пекарский.— Ты сам этого захотел.

— Ну, вот еще! Я не только не хотел, но даже не мог думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переедет ко мне, то я думал, что она мило шутит.

Все засмеялись.

— Я не мог хотеть этого,— продолжал Орлов таким тоном, как будто его вынуждали оправдываться.— Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освободить Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, неизменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством иллюзий. Я не поеду к женщине, если заранее не уверен, что она будет красива, увлекательна; и сам я не поеду к ней, если я не в ударе. И лишь при таких условиях нам удастся обмануть друг друга и нам кажется, что мы любим и что мы счастливы. Но могу ли я хотеть медных кастрюлей и нечесаной головы или чтобы меня видели, когда я не умыт и не в духе? Зинаида Федоровна в простоте сердца хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь.

¹ поэтическая вольность (лат.)

² Приди тайком, думая обо мне! (итал.)

Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную жизнь и следить за каждым моим шагом, и в то же время искренно уверять, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при мне и в купе, и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать.

— А ты сделай ей внушение, — сказал Пекарский.

— Как? Ты думаешь, она поймет меня? Помилуй, мы мыслим так различно! По ее мнению, уйти от папашки и мамашки или от мужа к любимому мужчине — это верх гражданского мужества, а по-моему это — ребячество. Полюбить, сойтись с женщиной — это значит начать новую жизнь, а по-моему это ничего не значит. Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жены плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком. и с другой стороны — можно отказываться от наслаждений любви и в то же время быть глухим, злым животным. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например, французский рабочий, тратит в день на обед 10 су, на вино к обеду 5 су и на женщину от 5 до 10 су, а свой ум и нервы он целиком отдает работе. Зинаида же Федоровна отдает любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил ее, что у нее в жизни ничего больше не осталось.

— Ты ей ничего не говори, — сказал Пекарский, — а просто найми для нее отдельную квартиру. Вот и всё.

— Это легко говорить...

Немного помолчали.

— Но она мила, — сказал Кукушкин. — Она прелестна. Такие женщины воображают, что будут любить вечно, и отдаются с пафосом.

— Но надо иметь голову на плечах,— сказал Орлов,— надо рассуждать. Все опыты, известные нам из повседневной жизни и занесенные на скрижали бесчисленных романов и драм, единогласно подтверждают, что всякие адюльтеры и сожителства у порядочных людей, какова бы ни была любовь вначале, не продолжают дольше двух, а много — трех лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие — ничего больше, как желание одурачить себя и меня. Она и мила, и прелестна,— кто спорит? Но она перевернула телегу моей жизни; то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьезного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом. Она и мила, и прелестна, но почему-то теперь, когда я еду со службы домой, у меня бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встречу у себя дома какое-то неудобство, вроде печников, которые разобрали все печи и навалили горы кирпича. Одним словом, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своих нервов. А это скверно.

— И она не слышит этого злодея! — вздохнул Кукушкин.— Милостивый государь,— сказал он театрально,— я освобожу вас от тяжелой обязанности любить это прелестное создание! Я отобью у вас Зинаиду Федоровну!

— Можете...— сказал небрежно Орлов.

С полминуты Кукушкин смеялся тонким голоском и дрожал всем телом, потом проговорил:

— Смотрите, я не шучу! Не извольте потом разыгрывать Отелло!

Все стали говорить о неутомимости Кукушкина в любовных делах, как он неотразим для женщин и опасен для мужей и как на том свете черти будут поджаривать его на углях за беспутную жизнь. Он молчал и щурил глаза и, когда называли знакомых дам, грозил мизинцем — нельзя-де выдавать чужих тайн. Орлов вдруг посмотрел на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузин, охмелевший от вина, одевался в этот раз томительно долго. Он надел свое пальто, похожее на те капоты, какие шьют детям в небогатых семьях, поднял воротник и стал что-то длинно рассказывать; потом, видя,

что его не слушают, перекинул через плечо свой плед, от которого пахло детской, и с виноватым, умоляющим лицом попросил меня отыскать его шапку.

— Жоржинька, ангел мой! — сказал он нежно. — Голубчик, послушайте меня, поедемте сейчас за город!

— Поезжайте, а мне нельзя. Я теперь на женатом положении.

— Она славная, не рассердится. Начальник добрый мой, поедем! Погода великолепная, метелица, морозик... Честное слово, вам встряхнуться надо, а то вы не в духе, чёрт вас знает...

Орлов потянулся, зевнул и посмотрел на Пекарского.

— Ты поедешь? — спросил он в раздумье.

— Не знаю. Пожалуй.

— Разве напиться, а? Ну, ладно, поеду, — решил Орлов после некоторого колебания. — Погодите, схожу за деньгами.

Он пошел в кабинет, а за ним поплелся Грузин, волоча за собою плед. Через минуту оба вернулись в переднюю. Пьяненький и очень довольный Грузин комкал в руке десятирублевую бумажку.

— Завтра сочтемся, — говорил он. — А она добрая, не рассердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее, бедную. Ах, милый человек! — радостно засмеялся он вдруг и припал лбом к спине Пекарского. — Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, сухарь сухарем, а женщин небось любит...

— Прибавьте: толстых, — сказал Орлов, надевая шубу. — Однако поедемте, а то, гляди, на пороге встретится.

— *Vieni pensando a me segretamente!* — запел Грузин.

Наконец, уехали. Орлов дома не ночевал и вернулся на другой день к обеду.

VI

У Зинаиды Федоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцом. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всем комнатам, растерянно оглядывая столы и окна, но часы как в воду канули.

Вскоре после этого, дня через три Зинаида Федоровна, вернувшись откуда-то, забыла в передней свой кошелек. К счастью для меня, в этот раз не я помогал ей раздеваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то в передней его уже не оказалось.

— Странно! — недоумевала Зинаида Федоровна. — Я отлично помню, вынула его из кармана, чтобы заплатить извозчику... и потом положила здесь около зеркала. Чудеса!

Я не крал, но мною овладело такое чувство, как будто я украл и меня поймали. Когда сажались обедать, Зинаида Федоровна сказала Орлову по-французски:

— У нас завелись духи. Я сегодня потеряла в передней кошелек, а сейчас, гляжу, он лежит у меня на столе. Но духи не бескорыстно устроили такой фокус. Взяли себе за работу золотую монету и двадцать рублей.

— То у вас часы пропадают, то деньги... — сказал Орлов. — Отчего со мною никогда не бывает ничего подобного?

Через минуту Зинаида Федоровна уже не помнила про фокус, который устроили духи, и со смехом рассказывала, как она на прошлой неделе заказала себе почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адрес, и магазин послал бумагу на старую квартиру к мужу, который должен был заплатить по счету двенадцать рублей. И вдруг она остановила свой взгляд на Поле и пристально посмотрела на нее. При этом она покраснела и смутилась до такой степени, что заговорила о чем-то другом.

Когда я принес в кабинет кофе, Орлов стоял около камина спиной к огню, а она сидела в кресле против него.

— Я вовсе не в дурном настроении, — говорила она по-французски. — Но я теперь стала соображать и мне все понятно. Я могу назвать вам день и даже час, когда она украла у меня часы. А кошелек? Тут не может быть никаких сомнений. О! — засмеялась она, принимая от меня кофе. — Теперь я понимаю, отчего я так часто теряю свои платки и перчатки. Как хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своей Софьей. Та не воровка, и у нее не такой... отталкивающий вид.

— Вы не в духе. Завтра вы будете в другом настроении и поймете, что нельзя гнать человека только потому, что вы подозреваете его в чем-то.

— Я не подозреваю, а уверена,— сказала Зинаида Федоровна.— Пока я подозревала этого пролетария с несчастным лицом, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жорж, что вы мне не верите.

— Если мы с вами различно думаем о каком-нибудь предмете, то это не значит, что я вам не верю. Пусть вы правы,— сказал Орлов, оборачиваясь к огню и бросая туда папиросу,— но волноваться все-таки не следует. Вообще, признаться, я не ожидал, что мое маленькое хозяйство будет причинять вам столько серьезных забот и волнений. Пропала золотая монета, ну, и бог с ней, возьмите у меня их хоть сотню, но менять порядок, брать с улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнет,— все это длинно, скучно и не в моем характере. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть может, имеет слабость к перчаткам и платкам, но зато она вполне прилична, дисциплинированна и не визжит, когда ее щиплет Кукушкин.

— Одним словом, вы не можете с ней расстаться... Так и скажите.

— Вы ревнуете?

— Да, я ревную! — сказала решительно Зинаида Федоровна.

— Благодарю.

— Да, я ревную! — повторила она, и на глазах у нее заблестели слезы.— Нет, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать.— Она взяла себя за виски и продолжала с увлечением: — Вы, мужчины, бываете так гадки! Это ужасно!

— Ничего я не вижу тут ужасного.

— Я не видела, не знаю, но говорят, что вы, мужчины, еще в детстве начинаете с горничными и потом уже по привычке не чувствуете никакого отвращения. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жорж, ты, конечно, прав,— сказала она, подходя к Орлову и меняя свой тон на ласковый и умоляющий,— в самом деле, я сегодня не в духе. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мне противна, и я боюсь ее. Мне тяжело ее видеть.

— Неужели нельзя быть выше этих мелочей? — сказал Орлов, пожимая в недоумении плечами и отходя от камина. — Ведь нет ничего проще: не замечайте ее, и она не будет противна, и не понадобится вам из пустяка делать целую драму.

Я вышел из кабинета и не знаю, какой ответ получил Орлов. Как бы то ни было, Поля осталась у нас. После этого Зинаида Федоровна ни за чем уже не обращалась к ней и, видимо, старалась обходиться без ее услуг; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своим браслетом и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузин или Пекарский попросили Орлова рассчитать Полю, то он сделал бы это без малейшего колебания, не утруждая себя никакими объяснениями; он был стоворчив, как все равнодушные люди. Но в отношениях своих к Зинаиде Федоровне он почему-то даже в мелочах проявлял упрямство, доходившее подчас до самодурства. Так уж я и знал: если что понравилось Зинаиде Федоровне, то наверное не понравится ему. Когда она, вернувшись из магазина, спешила похвалиться перед ним обновками, то он мельком взглядывал на них и холодно говорил, что чем больше в квартире лишних вещей, тем меньше воздуха. Случалось, уже надевши фрак, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись с Зинаидою Федоровной, он вдруг из упрямства оставался дома. Мне казалось тогда, что он оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастным.

— Почему же вы остались? — говорила Зинаида Федоровна с напускною досадой и в то же время сияя от удовольствия. — Почему? Вы привыкли по вечерам не сидеть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня изменяли вашим привычкам. Поезжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

— А разве вас винит кто-нибудь? — говорил Орлов.

С видом жертвы он разваливался у себя в кабинете в кресле и, заслонив глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась из рук, он грузно поворачивался в кресле и опять заслонял глаза, как от солнца. Теперь уж ему было досадно, что он не ушел.

— Можно войти? — говорила Зинаида Федоровна, нерешительно входя в кабинет. — Вы читаете? А я

соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.

Помню, в один из вечеров она вошла так же вот нерешительно и некстати и опустилась на ковер у ног Орлова, и по ее робким, мягким движениям видно было, что она не понимала его настроения и боялась.

— А вы все читаете...— начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему.— Знаете, Жорж, в чем еще тайна вашего успеха? Вы очень образованны и умны. Это у вас какая книга?

Орлов ответил. Прошло в молчании несколько минут, показавшихся мне очень длинными. Я стоял в гостиной, откуда наблюдал обоих, и боялся закашлять.

— Я хотела что-то сказать вам...— проговорила тихо Зинаида Федоровна и засмеялась.— Сказать? Вы, пожалуй, станете смеяться и назовете это самообольщением. Видите ли, мне ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этот вечер провести вместе. Да? Можно так думать?

— Думайте,— сказал Орлов, заслоня глаза.— Истинно счастливый человек тот, кто думает не только о том, что есть, но даже и о том, чего нет.

— Вы сказали что-то длинное, я не совсем поняла. То есть вы хотите сказать, что счастливые люди живут воображением? Да, это правда. Я люблю по вечерам сидеть в вашем кабинете и уноситься мыслями далеко, далеко... Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух!

— Я в институте не был, не проходил этой науки.

— Вы не в духе? — спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку.— Скажите — отчего? — Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня...

Прошло в молчании еще несколько длинных минут.

— Отчего вы переменялись? — сказала она тихо.— Отчего вы не бываете уже так нежны и веселы, как на Знаменской? Прожила я у вас почти месяц, но мне кажется, мы еще не начинали жить и ни о чем еще не поговорили как следует. Вы всякий раз отвечаете мне шуточками или холодно и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Ну, вот давайте говорить. Ради бога, Жорж...
Давайте?

— Давайте. Но о чем?

— Будем говорить о нашей жизни, о будущем...— сказала мечтательно Зинаида Федоровна.— Я все строю планы жизни, все строю — и мне так хорошо! Жорж, я начну с вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

— Это зачем же? — спросил Орлов, отнимая руку от лба.

— С вашими взглядами нельзя служить. Вы там не на месте.

— Мои взгляды? — спросил Орлов.— Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смею вас уверить.

— Опять шуточки, Жорж!

— Нисколько. Служба не удовлетворяет меня, быть может, но все же для меня она лучше, чем что-нибудь другое. Там я привык, там люди такие же, как я; там я не лишний во всяком случае и чувствую себя сносно.

— Вы ненавидите службу, и вам она претит.

— Да? Если я подам в отставку, стану мечтать вслух и унесусь в иной мир, то, вы думаете, этот мир будет мне менее ненавистен, чем служба?

— Чтобы противоречить мне, вы готовы даже клеветать на себя,— обиделась Зинаида Федоровна и встала.— Я жалею, что начала этот разговор.

— Что же вы сердитесь? Ведь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живет, как хочет.

— Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которые противны вашим убеждениям,— продолжала Зинаида Федоровна, в отчаянии всплескивая руками,— подчиняться, поздравлять начальство с Новым годом, потом карты, карты и карты, а главное, служить порядкам, которые не могут быть вам симпатичны,— нет, Жорж, нет! Не шутите так грубо. Это ужасно. Вы идейный человек и должны служить только идее.

— Право, вы принимаете меня за кого-то другого,— вздохнул Орлов.

— Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вам противна, вот и всё,— проговорила сквозь слезы Зинаида Федоровна.

— Вот что, моя милая, — сказал Орлов наставительно, поднимаясь в кресле. — Вы сами изволили заметить, человек я умный и образованный, а ученого учить — только портить. Все идеи, малые и великие, которые вы имеете в виду, называя меня идейным человеком, мне хорошо известны. Стало быть, если службу и карты я предпочитаю этим идеям, то, вероятно, имею на то основание. Это раз. Во-вторых, вы, насколько мне известно, никогда не служили и суждения свои о государственной службе можете черпать только из анекдотов и плохих повестей. Поэтому нам не мешало бы условиться раз навсегда: не говорить о том, что нам давно уже известно, или о том, что не входит в круг нашей компетенции.

— Зачем вы со мной так говорите? — проговорила Зинаида Федоровна, отступая назад, как бы в ужасе. — Зачем? Жорж, опомнитесь бога ради!

Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела задержать слезы, но вдруг зарыдала.

— Жорж, дорогой мой, я погибаю! — сказала она по-французски, быстро опускаясь перед Орловым и кладя голову ему на колени. — Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... В детстве ненавистная, развратная мачеха, потом муж, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом... И эта страшная, наглая горничная! — продолжала она, рыдая. — Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!

Я не ожидал, что эти слова и этот плач произведут на Орлова такое сильное впечатление. Он покраснел, беспокойно задвигался в кресле, и на лице его вместо иронии показался тупой, мальчишеский страх.

— Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вам, — растерянно забормотал он, трогая ее за волосы и плечи. — Простите меня, умоляю вас. Я был неправ и... ненавижу себя.

— Я оскорбляю вас своими жалобами и нытьем... Вы честный, великодушный... редкий человек, я сознаю это каждую минуту, но меня все дни мучила тоска...

Зинаида Федоровна порывисто обняла Орлова и поцеловала его в щеку.

— Только не плачьте, пожалуйста,— проговорил он.

— Нет, нет... Я уже наплакалась и мне легко.

— Что касается горничной, то завтра же ее не будет,— сказал он, всё еще беспокойно двигаясь в кресле.

— Нет, она должна остаться, Жорж! Слышите? Я уже не боюсь ее... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы — редкий... необыкновенный человек!

Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезинками на ресницах, сидя на коленях у Орлова, она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминания детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке. Она увлекалась и своим рассказом, и близостью любимого человека, и оттого, вероятно, что недавние слезы очистили и освежили ее душу, голос ее звучал необыкновенно чисто и искренно. А Орлов играл ее каштановыми волосами и целовал ее руки, беззвучно прикасаясь к ним губами.

Затем пили в кабинете чай и Зинаида Федоровна читала вслух какие-то письма. В первом часу пошли спать.

В эту ночь у меня сильно болел бок, и я до самого утра не мог согреться и уснуть. Мне слышно было, как Орлов прошел из спальни к себе в кабинет. Просидев там около часа, он позвонил. От боли и утомления я забыл о всех порядках и приличиях в свете и отправился в кабинет в одном нижнем белье и босой. Орлов в халате и в шапочке стоял в дверях и ждал меня.

— Когда тебя зовут, ты должен являться одетым,— сказал он строго.— Поддай другие свечи.

Я хотел извиниться, но вдруг сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косяк.

— Вы больны? — спросил Орлов.

Кажется, за все время нашего знакомства это он в первый раз сказал мне *вы*. Бог его знает, почему. Вероятно, в нижнем белье и с лицом, искаженным от кашля, я плохо играл свою роль и мало походил на лакея.

— Если вы больны, то зачем же вы служите? — сказал он.

— Чтобы не умереть с голода,— ответил я.

— Как все это в сущности пакостно! — тихо проговорил он, идя к своему столу.

Пока я, накинув на себя сюртук, вставлял и зажигал новые свечи, он сидел около стола и, протянув ноги на кресло, обрезывал книгу.

Оставил я его углубленным в чтение, и книга уже не валилась у него из рук, как вечером.

VII

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживает воспитанный во мне с детства страх — показаться чувствительным и смешным; когда мне хочется ласкать и говорить нежности, я не умею быть искренним. Вот именно от этого страха и с непривычки я никак не могу выразить с полной ясностью, что происходило тогда в моей душе.

Я не был влюблен в Зинаиду Федоровну, но в обыкновенном человеческом чувстве, какое я питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова.

Работая по утрам сапожную щеткой или веником, я с замиранием сердца ждал, когда наконец услышу ее голос и шаги. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и надевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась о мое плечо, потом ждать, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях, розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика, — если б вы знали, как всё это было для меня важно! Мне хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. Я мечтал и за обедом, и на улице, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спал. Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал всё это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезились жена, детская, тропинки в саду, домик...

Я знал, что если бы я полюбил ее, то не посмел бы рассчитывать на такое чудо, как взаимность, но это

соображение меня не беспокоило. В моем скромном, тихом чувстве, похожем на обыкновенную привязанность, не было ни ревности к Орлову, ни даже зависти, так как я понимал, что личное счастье для такого калеки, как я, возможно только в мечтах.

Когда Зинаида Федоровна по ночам, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядела в книгу, не перелистывая страниц, или когда вздрагивала и бледнела оттого, что через комнату проходила Поля, я страдал вместе с нею и мне приходило в голову — разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, сделать поскорее так, чтобы она узнала всё то, что говорилось здесь в четверги за ужином, но — как это сделать? Всё чаще и чаще мне приходилось видеть слезы. В первые недели она смеялась и пела свою песенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой месяц у нас в квартире была унылая тишина, нарушаемая только по четвергам.

Она лестила Орлову и, чтобы добиться от него неискренней улыбки или поцелуя, стояла перед ним на коленях, ласкалась, как собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нее на душе было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мне казалось странным, что она всё еще продолжала интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего? Мне особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, ненужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах и когда венецианским и брюссельским кружевницам платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом; и мне было странно, что Зинаида Федоровна не сознает этого, мне было досадно. Но стоило ей только уйти из дому, как я всё извинял, всё объяснял и ждал, когда позвонит мне снизу швейцар.

Относилась она ко мне, как к лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и в то же время не замечать ее; мне приказывали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия. Хозяева считали неприличным говорить со мной больше, чем это принято;

если б я, прислуживая за обедом, вмешался в разговор или засмеялся, то меня наверное сочли бы сумасшедшим и дали бы мне расчет. Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, как обращаться с новою лампой, или что-нибудь вроде, то лицо у нее было необыкновенно ясное, доброе и приветливое, и глаза смотрели мне прямо в лицо. При этом мне всякий раз казалось, что она с благодарностью вспоминает, как я носил ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ее фаворитом и ненавидевшая меня за это, говорила с язвительною усмешкой:

— Иди, тебя *твоя* зовет.

Зинаида Федоровна относилась ко мне как к существу низшему и не подозревала, что если кто и был в доме унижен, так это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдал за нее и раз двадцать на день спрашивал себя, что ожидает ее впереди и чем всё это кончится. Дела с каждым днем заметно становились хуже. После того вечера, когда говорили о службе, Орлов, не любивший слез, стал видимо бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Федоровна начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он всё реже и реже ночевал дома и еще реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих приятелей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Федоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами. Обед приносили из ресторана, квартирного вопроса Орлов просил не поднимать впредь до возвращения из-за границы, а о путешествии говорил, что нельзя ехать раньше, чем у него отрастут длинные волосы, так как таскаться по отелям и служить идее нельзя без длинных волос.

В довершение всего, к нам в отсутствие Орлова стал наведываться по вечерам Кукушкин. В поведении его не было ничего особенного, но я всё никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну. Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше

церковного и что в сущности все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Федоровне и поклониться ей в ножки.

VIII

Рождественские святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизирующему какую-то губернию.

— Не хочется ехать, да не придумаешь отговороки! — сказал он с досадой. — Надо ехать, ничего не поделаешь.

От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.

— Надолго? — спросила она.

— Дней на пять.

— Я, признаться, рада, что ты едешь, — сказала она, подумав. — Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.

Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его несколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он не свободен.

— Я поеду сегодня вечером, — сказал он и стал читать газеты.

Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вокзал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.

В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукой и поцеловал в лоб и в губы.

— Будь умницей, не скучай без меня, — проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул. — Храни тебя создатель.

Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

— Прости мне наши недоразумения,— сказала она по-французски.— Муж и жена не могут не ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнее.

Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на середине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешительно спускаться вниз.

У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при умении можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:

— Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!

Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой, мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погода Орлова.

— Вот что, Степан,— сказал он, подходя ко мне.— Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.

Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.

— Не опоздали к поезду? — спросила Зинаида Федоровна.

— Никак нет. Приказали кланяться.

Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был неплохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, стоило очевидно то, что первое пришло в голову; удастся обман — хорошо, не удастся — беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.

В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали ура, Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого лежанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.

— Нужно отправить телеграмму,— сказала она и улыбнулась.— Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.

Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».

Я послал эту телеграмму и на другой день утром отдал расписку.

Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.

— Зажилась, пора и честь знать! — говорила она с восторгом. — Самой бы надо понимать...

Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас не долго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила всё, что попадалось на глаза, — флаконы, черепашковые шпильки, платки, ботинки. На другой день нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам, бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:

— Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!

За обедом она хотела налить себе супу, но не могла, — дрожали руки. И губы у нее дрожали. Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.

— Вы, Поля, можете выйти отсюда, — сказала она. — Достаточно одного Степана.

— Ничего-с, постою-с, — ответила Поля.

— Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем... совсем! — продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении. — Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!

— Без приказанья барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.

— Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! — сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.

— Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.

— Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! — крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке. — Вы воровка! Слышите?

Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и

быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, казалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан, — как бы говорили они, — а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».

— Важная барыня, подумаешь! — доносилось до моего слуха из комнаты Поли. — Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!

Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.

— Телеграммы не приносили? — спросила она.

— Никак нет.

— Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому, — сказала она мне вслед, — мне страшно оставаться одной.

Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы. Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например, распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин, и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля, как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина,

спальню, рылась в шкапах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей правилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонила, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки — нет ли в них телеграммы.

Когда наконец в субботу позвонили снизу и на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал!

— Отчего ты не телеграфировал? — говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости. — Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О, боже мой!

— Очень просто! Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву, я не получал твоих телеграмм, — сказал Орлов. — После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет, а теперь спать, спать и спать... Замаялся в вагоне.

Видно было, что он не спал всю ночь: вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей, потом послышался громкий вздох Орлова и его голос.

— Боже мой! — сказал он по-французски. — Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной?

— Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей.

— Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя, вы про-

сто капризничаете и не хотите иметь характера... Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек: на каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов.

— Ну, будет, будет! — сказала испуганно Зинаида Федоровна. — Перестанем говорить об этом... Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве... Что в Москве?

Х

На другой день — это было 7 января, день Иоанна Крестителя — Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравлять его с ангелом. Нужно было ехать к двум часам, а когда он кончил одеваться, была только половина второго. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидою Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей:

— Ради бога, ради всего святого, не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому! И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и с азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы! Как бы одолжили!

— Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь.

— Я даю вам полную свободу, будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку, не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах: о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец. Высший

свет бранят всегда, чтобы противопоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны, но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший, и это не было бы ложью и кривляньем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл, и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.

— Мужик и купец кормят вас.

— Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шашку, значит, у них не хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший — оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Ну-с, что же касается теперь ненормальностей брака, — продолжал Орлов, взглянув на часы, — то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожителстве, во всех союзах и сожителствах, хороших и дурных, — одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас всё, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете, очертя голову, мужчин и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Всё, что вы ни скажете мне, будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам.

Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик, и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал.

— Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом,— говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной.— Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью!

— Ну, и прекрасно.

— Если вы честный, порядочный человек, то вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня и вас над тысячами людей, которые хотели бы поступить так же, как я, но не решаются из малодушия или мелких расчетов. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмехаетесь над честным порывом из страха, чтобы какой-нибудь невежда не заподозрил, что вы честный человек. Вы боитесь показывать меня своим знакомым, для вас нет выше наказания, как ехать вместе со мною по улице... Что? Разве это не правда? Почему вы до сих пор не представили меня вашему отцу и вашей кузине? Почему? Нет, мне это надоело, наконец! — крикнула Зинаида Федоровна и топнула ногой.— Я требую того, что мне принадлежит по праву. Извольте представить меня вашему отцу!

— Если он вам нужен, то представьтесь ему сами. Он принимает ежедневно по утрам от десяти до половины одиннадцатого.

— Как вы низки! — сказала Зинаида Федоровна, в отчаянии ломая руки.— Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидеть вас. О, как вы низки!

— Мы всё ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути. Вся суть в том, что вы ошиблись и не хотите в этом сознаться вслух. Вы воображали, что я герой и что у меня какие-то необычайные идеи и идеалы, а на поверку-то вышло, что я самый заурядный чиновник, картежник и не имею пристрастия ни к каким идеям. Я достойный отпрыск того самого гнилого света, из которого вы бежали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, так как ошиблись вы, а не я.

— Да, я сознаюсь: я ошиблась!

— Вот и прекрасно. До главного договорились, слава богу. Теперь слушайте дальше, если угодно.

Возвыситься до вас я не могу, так как слишком испорчен; унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком. Остается, стало быть, одно...

— Что? — быстро спросила Зинаида Федоровна, притаив дыхание и ставши вдруг бледною, как бумага.

— Остается позвать на помощь логику...

— Георгий, за что вы меня мучаете? — сказала Зинаида Федоровна вдруг по-русски, надтреснувшим голосом. — За что? Поймите мои страдания...

Орлов, испугавшийся слез, быстро пошел в кабинет и, не знаю зачем, — желал ли он причинить ей лишнюю боль, или вспомнил, что это практикуется в подобных случаях, — запер за собою дверь на ключ. Она вскрикнула и побежала за ним вдогонку, шурша платьем.

— Это что значит? — спросила она, стучась в дверь. — Это... это что значит? — повторила она тонким, обрывающимся от негодования голосом. — А, вы вот как? Так знайте же, я ненавижу, презираю вас! Между нами всё уже кончено! Всё!

Послышался истерический плач, с хохотом. В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орлов пробрался из кабинета в переднюю через другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надел шинель и цилиндр и вышел.

Прошло полчаса, потом час, а она всё плакала. Я вспомнил, что у нее нет ни отца, ни матери, ни родных, что здесь она живет между человеком, который ее ненавидит, и Полей, которая ее обкрадывает, — и какую безотрадную представилась мне ее жизнь! Я, сам не знаю зачем, пошел к ней в гостиную. Она, слабая, беспомощная, с прекрасными волосами, казавшаяся мне образцом нежности и изящества, мучилась как больная; она лежала на кушетке, пряча лицо, и вздрагивала всем телом.

— Сударыня, не прикажете ли сходить за доктором? — спросил я тихо.

— Нет, не нужно... пустяки, — сказала она и посмотрела на меня заплаканными глазами. — У меня немножко голова болит... Благодарю.

Я вышел. А вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и отдал ему письмо. Когда

я всякий раз возвращался обратно с письмом, она бранила меня, умоляла, совала мне в руку деньги — точно в горячке. И ночью она не спала, а сидела в гостиной и разговаривала сама с собой.

На другой день Орлов вернулся к обеду, и они помирились.

В первый четверг после этого Орлов жаловался своим приятелям на невыносимо тяжелую жизнь; он много курил и говорил с раздражением:

— Это не жизнь, а инквизиция. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощении, опять слезы и вопли, а в итоге — у меня нет теперь собственной квартиры, я замучился и ее замучил. Неужели придется жить так еще месяц или два? Неужели? А ведь это возможно!

— А ты с ней поговори, — сказал Пекарский.

— Пробовал, но не могу. Можно смело говорить какую угодно правду человеку самостоятельному, рассуждающему, а ведь тут имеешь дело с существом, у которого ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слез, они меня обезоруживают. Когда она плачет, то я готов клясться в вечной любви и сам плакать.

Пекарский не понял, почесал в раздумье свой широкий лоб и сказал:

— Право, нанял бы ты ей отдельную квартиру. Ведь это так просто!

— Ей нужен я, а не квартира. Да что говорить? — вздохнул Орлов. — Я слышу только бесконечные разговоры, но не вижу выхода из своего положения. Вот уж воистину без вины виноват! Не назывался груздем, а полезай в кузов. Всю свою жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы и вдруг, словно на смех, попал в самые настоящие герои. Уверяю честным словом, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимые доказательства, но мне не верят. Почему не верят? Должно быть, в самом деле у меня в физиономии есть что-нибудь геройское.

— А вы поезжайте ревизовать губернии, — сказал Кукушкин со смехом.

— Да только это и остается.

Через неделю после этого разговора Орлов объявил, что его опять командируют к сенатору, и в тот же день вечером уехал со своими чемоданами к Пекарскому.

На пороге стоял старик лет шестидесяти, в длинной до земли шубе и в бобровой шапке.

— Дома Георгий Иванович? — спросил он.

Сначала я подумал, что это один из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими получками, но когда он вошел в переднюю и распахнул шубу, я увидел густые брови и характерно сжатые губы, которые я так хорошо изучил по фотографиям, и два ряда звезд на форменном фраке. Я узнал его: это был отец Орлова, известный государственный человек.

Я ответил ему, что Георгия Ивановича нет дома. Старик крепко сжал губы и в раздумье поглядел в сторону, показывая мне свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю записку, — сказал он. — Проводи меня.

Он оставил в передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошел в кабинет. Тут он сел в кресло перед письменным столом и, прежде чем взяться за перо, минуты три думал о чем-то, заслонив глаза рукою, как от солнца, — точь в точь, как это делал его сын, когда бывал не в духе. Лицо у него было грустное, задумчивое, с выражением той покорности, какую мне приходилось видеть на лицах только у людей старых и религиозных. Я стоял позади, глядел на его лысину и на ямку в затылке, и для меня было ясно как день, что этот слабый, больной старик теперь в моих руках. Ведь во всей квартире, кроме меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мне только употребить немножко физической силы, потом сорвать часы, чтобы замаскировать цели, и уйти черным ходом, и я получил бы неизмеримо больше, чем мог рассчитывать, когда поступал в лакеи. Я думал: едва ли когда представится мне более счастливый случай. Но вместо того, чтобы действовать, я совершенно равнодушно посматривал то на лысину, то на мех и покойно размышлял об отношениях этого человека к своему единственному сыну и о том, что людям, избалованным богатством и властью, вероятно, не хочется умирать...

— Ты давно служишь у моего сына? — спросил он, выводя на бумаге крупные буквы.

— Третий месяц, ваше высокопревосходительство.

Он кончил писать и встал. У меня еще оставалось время. Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое, грустное лицо и холодный блеск звезд вызывали во мне только мелкие, дешевые и ненужные мысли о бренности всего земного, о скорой смерти...

— Прощай, братец! — сказал старик, надел шапку и вышел.

Нельзя уже было сомневаться: во мне произошла перемена, я стал другим. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный, сырой угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растежусь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение. Когда вернулась Зинаида Федоровна, я бросился отворять ей и с особенною нежностью снял с нее шубу. В последний раз!

Кроме старика, в этот день приходило к нам еще двое. Вечером, когда совсем уже стемнело, неожиданно пришел Грузин, чтобы взять для Орлова какие-то бумаги. Он открыл стол, достал нужные бумаги и, свернув их в трубку, приказал мне положить в передней около его шапки, а сам пошел к Зинаиде Федоровне. Она лежала в гостиной на софе, подложив руки под голову. Прошло уже пять или шесть дней, как Орлов уехал на ревизию, и никому не было известно, когда

он вернется, но она уже не посылала телеграмм и не ожидала их. Поли, которая все еще жила у нас, она как будто не замечала. «Пусть!» — читал я на ее бесстрастном, очень бледном лице. Ей уже, как Орлову, из упрямства хотелось быть несчастной; она назло себе и всему на свете по целым дням лежала неподвижно на софе, желая себе только одного дурного и ожидая только дурное. Вероятно, она воображала себе возвращение Орлова и неизбежные ссоры с ним, потом его охлаждение, измены, потом как они разойдутся, и эти мучительные мысли доставляли ей, быть может, удовольствие. Но что бы она сказала, если бы вдруг узнала настоящую правду?

— Я вас люблю, кума, — говорил Грузин, здороваясь и целуя ей руку. — Вы такая добрая! А Жоржинька-то уехал, — солгал он. — Уехал, злодей!

Он со вздохом сел и нежно погладил ее по руке.

— Позвольте, голубка, посидеть у вас часок, — сказал он. — Домой мне идти не хочется, а к Биршовым еще рано. Сегодня у Биршовых день рождения их Кати. Славная девочка!

Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он медленно, с видимою неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил робко:

— А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь... закусить? Я еще не обедал.

У нас ничего не было. Я сходил в ресторан и принес ему обыкновенный рублевый обед.

— За ваше здоровье, голубчик! — сказал он Зинаиде Федоровне и выпил рюмку водки. — Моя маленькая, ваша крестница, кланяется вам. Бедняжка, у нее золотушка! Ах, дети, дети! — вздохнул он. — Что ни говорите, кума, а приятно быть отцом. Жоржиньке непонятно это чувство.

Он еще выпил. Тощий, бледный, с салфеткой на груди, точно в передничке, он с жадностью ел и, поднимая брови, виновато поглядывал то на Зинаиду Федоровну, то на меня, как мальчик. Казалось, что если бы я не дал ему рябчика или желе, то он заплакал бы. Утолив голод, он повеселел и стал со смехом рассказывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно. После обеда оба сидели

в гостиной при свете одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотела спросить его о чем-то, но не решалась. Так прошло с полчаса. Грузин поглядел на часы.

— А пожалуй, что мне и пора.

— Нет, посидите... Нам поговорить надо.

Опять помолчали. Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» — но по обыкновению тотчас же встал и встряхнул головой.

— Сыграйте, кум, что-нибудь, — попросила Зинаида Федоровна.

— Что же? — спросил он, пожав плечами. — Я всё уже позабыл. Давно бросил.

Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского, так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда — не умное и не глупое, и мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низкой, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недостижимый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной.

— А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку, — сказал он. — Я слышал, как ее играли на виолончели.

Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл «Лебединую песню» Сен-Санса. Сыграл и повторил.

— Мило ведь? — сказал он.

Взволнованная Зинаида Федоровна остановилась около него и спросила:

— Кум, скажите мне искренно, по-дружески: что вы обо мне думаете?

— Что же сказать? — проговорил он, поднимая брови. — Я люблю вас и думаю о вас одно только хорошее. Если же вы хотите, чтоб я говорил вообще по интересующему вас вопросу, — продолжал он, вытирая себе рукав около локтя и хмурясь, — то, милая, знаете ли... Свободно следовать влечениям своего сердца — это не всегда дает хорошим людям счастье. Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь

жестока, груба и беспощадна в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе. Я так думаю.

— Куда мне! — печально улыбнулась Зинаида Федоровна. — Я уже утомилась, кум. Я так утомилась, что не пошевелину пальцем для своего спасения.

— Ступайте, кума, в монастырь.

Это он сказал шутя, но после его слов у Зинаиды Федоровны, а потом и у него самого на глазах заблестели слезы.

— Ну-с, — сказал он, — сидели-сидели, да поехали. Прощайте, кумушка милая. Дай бог вам здоровья.

Он поцеловал ей обе руки и, нежно погладив их, сказал, что непременно побывает еще на днях. Надевая в передней свое пальто, похожее на детский капотик, он долго шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел.

— Прощай, голубчик! — сказал он грустно и вышел.

Никогда не забуду того настроения, какое оставил после себя этот человек. Зинаида Федоровна все еще продолжала в волнении ходить по гостиной. Не лежала, а ходила — уж одно это хорошо. Я хотел воспользоваться этим настроением, чтоб откровенно поговорить с ней и тотчас уйти, но едва я успел проводить Грузина, как послышался звонок. Это пришел Кукушкин.

— Дома Георгий Иванович? — спросил он. — Вернулся? Ты говоришь: нет? Экая жалость! В таком случае, пойду поцелую хозяйке ручку и — вон. Зинаида Федоровна, можно? — крикнул он. — Я хочу вам ручку поцеловать. Извините, что так поздно.

Он просидел в гостиной не долго, не больше десяти минут, но мне казалось, что он сидит уже давно и никогда не уйдет. Я кусал себе губы от негодования и досады и уже ненавидел Зинаиду Федоровну. «Почему она не гонит его от себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним.

Когда я подавал ему шубу, он в знак особого ко мне расположения спросил меня, как это я могу обходиться без жены.

— Но, я думаю, ты не зеваешь, — сказал он, сме-

ясь.— У тебя с Полей, должно быть, тут шуры-амуры... Шалун!

Несмотря на свой житейский опыт, я тогда мало знал людей, и очень возможно, что я часто преувеличивал ничтожное и вовсе не замечал важного. Мне показалось, что Кукушкин хихикает и льстит мне не даром: уж не надеется ли он, что я, как лакей, буду болтать всюду по чужим лакейским и кухням о том, что он бывает у нас по вечерам, когда нет Орлова, и просиживает с Зинаидой Федоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдут до ушей его знакомых, он будет конфузливо опускать глаза и грозить мизинцем. И разве сам он,— думал я, глядя на его маленькое, медовое лицо,— не будет сегодня же за картами делать вид и, пожалуй, проговариваться, что он уже отбил у Орлова Зинаиду Федоровну?

Та ненависть, которой так недоставало мне в полдень, когда приходил старик, теперь овладела мной. Кукушкин вышел наконец, и я, прислушиваясь к шарканью его кожаных калош, чувствовал сильное желание послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но сдержал себя. А когда шаги затихли на лестнице, я вернулся в переднюю и, сам не зная, что делаю, схватил сверток бумаг, забытый Грузиным, и опрометью побежал вниз. Без пальто и без шапки я выбежал на улицу. Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер.

— Ваше превосходительство! — крикнул я, догоняя Кукушкина.— Ваше превосходительство!

Он остановился около фонаря и оглянулся с недоумением.

— Ваше превосходительство! — проговорил я, задыхаясь.— Ваше превосходительство!

И, не придумав, что сказать, я раза два ударил его бумажным свертком по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь,— до такой степени я ошеломил его,— он прислонился спиной к фонарю и заслонил руками лицо. В это время мимо проходил какой-то военный доктор и видел, как я бил человека, но только с недоумением посмотрел на нас и пошел дальше.

Мне стало стыдно, и я побежал обратно в дом.

С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. Бежать! Но, прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову:

«Оставляю вам свой фальшивый паспорт,— начал я,— прошу оставить его себе на память, фальшивый человек, господин петербургский чиновник!

Вкрасться в дом под чужим именем, наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь, всё видеть и слышать, чтобы потом непрошено изобличить во лжи,— всё это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства. Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать,— я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию».

Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не всё ли равно?

Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.

Вероятно, оттого, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар. Горело лицо, ломили ноги... Тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждою мыслью в мозгу движется ее тень.

«Я болен, слаб, нравственно угнетен,— продолжал я,— я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унижить вас, но теперь мне не кажется, что я имею на это право. Вы и я — оба упали и оба уже никогда не встанем, и мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке: как ни стучи — не разбудишь! Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят, я продолжаю писать, почему-то

волнуюсь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу задать вам, стоит передо мной ясно, как огненный.

Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить не трудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы, но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам и что я обманул себя. К тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы; личного счастья я не знал и не знаю, приюта у меня нет, воспоминания мои тяжки и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали, вы? Какие роковые, дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом, отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других оттого, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же, с какою нежною, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, — от боли и беспокойства, как рано ваша душа спряталась в халат, какого труса разыграли вы перед действительною жизнью и природой, с которою борется всякий здоровый и нормальный человек. Как вам мягко, уютно, тепло, удобно — и как скучно! Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме, но вы стараетесь спрятаться и от этого врага: вы по восьми часов в сутки играете в карты.

А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили смолodu поставить ее в рамки; вы вооружились ироническим отношением к жизни, или как хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, кото-

рый вы поставили ей, и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею неправ, а вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром, недаром вы так боитесь слез!

Кстати, ваши отношения к женщине. Бесстыдство мы унаследовали с плотью и кровью и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны все идеи, вы не могли не увидеть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее и, чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваши отношения к ней. Разве холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о десяти су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч., — разве всё это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низко к грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы — слабый, несчастный, несимпатичный человек».

В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячею головой опять пошел к столу.

«Но вот вопрос, — продолжал я. — Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30—35 годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой,

прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?

Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что если бы чудом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?.. Сладкие мечты жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды,— хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их...»

Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию и пошел в кабинет. Было темно. Я нацупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я наткнулся на мебель и производил шум.

— Кто там? — слышался тревожный голос из гостиной.

И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи.

XIII

В потемках я, по крайней мере, с полминуты царапал дверь, нацупывая ее, потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец, я остановился и проговорил через силу:

— Он не вернется!

Она быстро встала на ноги и смотрела на меня, не понимая.

— Он не вернется! — повторил я, и у меня страшно застучало сердце. — Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского.

Она поняла и поверила мне — это я видел по ее внезапной бледности и по тому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое, она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо... Проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жара лицом, быть может, пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово:

— Вас не спрашивают. Подите отсюда прочь.

— О, верьте мне! — сказал я с увлечением, протягивая к ней руки. — Я не лакей, я такой же свободный, как и вы!

Я назвал себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал или ошибся или сказал глупость, теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор; но я продолжал с увлечением:

— Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского, и я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись... Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашею любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты! Бегите отсюда! Бегите!

— Ну, что ж? — проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам. — Ну, что ж? Пусть.

Глаза ее были полны слез, губы дрожали, и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей

презренною, смешною; она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка.

— Ну, что ж? — повторила она и опять провела рукой по волосам. — Пусть. Он воображает, что я умру от унижения, а мне... смешно. Напрасно он прячется. — Она отошла от рояля и сказала, пожав плечами: — Напрасно... Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела... и только ждала его приезда, чтоб окончательно объясниться.

Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно, но я видел, как вздрагивали ее голова и плечи и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки... В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче слышались оскорбление, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом; я уже забыл про свою болезнь и про все на свете, ходил по гостиной и бормотал растерянно:

— Что же это за жизнь?.. О, нельзя так жить! Нельзя! Это — безумие, преступление, а не жизнь!

— Какое унижение! — говорила она сквозь плач. — Жить вместе... улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна... О, какое унижение!

Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила:

— Они смеялись?

— Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы читали. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смешной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде. Да что о них говорить? — сказал я с нетерпением. — Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты.

Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел.

— Что же мы ждем? — спросил я уныло. — Уже третий час.

— Ничего я не жду,— сказала она.— Я пропала.

— Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обдумаем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь... Куда вы намерены ехать отсюда?

Вдруг в передней раздался звонок. У меня ёкнуло сердце. Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся? Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передней со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная, как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу.

— Кто это пришел? — спросила она тихо.

— Поля,— отвечал я.

Она провела рукой по волосам и в изнеможении закрыла глаза.

— Я сейчас уеду отсюда,— сказала она.— Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который час?

— Без четверти три.

XIV

Когда мы немного погодя вышли из дому, на улице было темно и безлюдно. Шел мокрый снег, и влажный ветер хлестал по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель и уже несколько дней извозчики ездили на колесах. Под впечатлением черной лестницы, холода, ночных потемок и дворника в тулупе, который опросил нас, прежде чем выпустил за ворота, Зинаида Федоровна совсем ослабела и пала духом. Когда мы сели в пролетку и накрылись верхом, она, дрожа всем телом, торопливо заговорила о том, как она мне благодарна.

— Я не сомневаюсь в вашем доброжелательстве, но мне стыдно, что вы беспокоитесь...— бормотала она.— О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня был Грузин, я чувствовала, что он лжет и что-то скрывает. Ну, что ж? Пусть. Но все-таки мне совестно, что вы так беспокоитесь.

У нее оставались еще сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, я приказал извозчику ехать по Серги-

евской; остановивши его у подъезда Пекарского, я вылез из пролетки и позвонил. Когда вышел швейцар, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Федоровна, спросил, дома ли Георгий Иванович.

— Дома, — ответил он. — С полчаса как приехал. Должно, уж спит. А тебе что?

Зинаида Федоровна не выдержала и высунулась из пролетки.

— А давно Георгий Иванович живет здесь? — спросила она.

— Уже третью неделю.

— И никуда не уезжал?

— Никуда, — ответил швейцар и посмотрел на меня с удивлением.

— Передай ему завтра пораньше, — сказал я, — что к нему из Варшавы сестра приехала. Прощай.

Затем мы поехали дальше. В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей. Мне стало казаться, что мы давно уже едем, давно страдаем и что я давно уже слышу, как дрожит дыхание у Зинаиды Федоровны. Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться от этого полубреда, выглянул из-под верха и увидел рассвет, все образы прошлого, все туманные мысли вдруг слились у меня в одну ясную, крепкую мысль: я и Зинаида Федоровна погибли уже безвозвратно. Это была уверенность, как будто синее холодное небо содержало в себе пророчество, но через мгновение я думал уже о другом и верил в другое.

— Что же я теперь? — говорила Зинаида Федоровна голосом, сильным от холода и сырости. — Куда мне идти, что делать? Грузин сказал: ступайте в монастырь. О, я пошла бы! Переменила бы одежду, свое лицо, имя, мысли... всё, всё, и спряталась бы навеки. Но меня не пустят в монастырь. Я беременна.

— Мы завтра поедem с вами за границу, — сказал я.

— Нельзя это. Муж не даст мне паспорта.

— Я провезу вас без паспорта.

Извозчик остановился около двухэтажного дере-

вянного дома, выкрашенного в темный цвет. Я позволил. Принимая от меня небольшую легкую корзинку, — единственный багаж, который мы взяли с собой, — Зинаида Федоровна как-то кисло улыбнулась и сказала:

— Это мои *bioux* ¹...

Но она так ослабела, что была не в силах держать эти *bioux*. Нам долго не отворяли. После третьего или четвертого звонка в окнах замелькал свет и послышались шаги, кашель, шёпот; наконец, щелкнул замок и в дверях показалась полная баба с красным, испуганным лицом. Позади ее, на некотором расстоянии, стояла маленькая худенькая старушка с стриженными седыми волосами, в белой кофточке и со свечой в руках. Зинаида Федоровна вбежала в сени и бросилась к этой старушке на шею.

— Нина, я обманута! — громко зарыдала она. — Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!

Я отдал бабе корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыдания и крик: «Нина!» Я сел в пролетку и приказал извозчику ехать не спеша к Невскому. Нужно было подумать и о своем ночлеге.

На другой день, перед вечером, я был у Зинаиды Федоровны. Она сильно изменилась. На ее бледном, сильно похудевшем лице не было уже и следа слез, и выражение было другое. Не знаю, оттого ли, что я видел ее теперь при другой обстановке, далеко не роскошной, и что отношения наши были уже иные, или, быть может, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и нарядною, как всегда; фигура у нее стала как будто мельче, в движениях, в походке, в ее лице я заметил излишнюю нервность, порывистость, как будто она спешила, и не было прежней мягкости даже в ее улыбке. Я был одет теперь в дорогую пару, которую купил себе днем. Она окинула взглядом прежде всего эту пару и шляпу в моей руке, потом остановила нетерпеливый, испытующий взгляд на моем лице, как бы изучая его.

— Ваше превращение мне все еще кажется каким-то чудом, — сказала она. — Извините, я с таким любо-

¹ драгоценности (франц.).

пытством осматриваю вас. Ведь вы необыкновенный человек.

Я рассказал ей еще раз, кто я и зачем жил у Орлова, и рассказывал об этом дольше и подробнее, чем вчера. Она слушала с большим вниманием и, не дав мне кончить, проговорила:

— Там у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вот ответ.

На листке, который она подала мне, почерком Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорее забыть уважающего вас Г. О.

Р. S. Посылаю ваши вещи».

Сундуки и корзины, присланные Орловым, стояли тут же в гостиной и среди них находился также и мой жалкий чемодан.

— Значит...— сказала Зинаида Федоровна и не договорила.

Мы помолчали. Она взяла записку и минуты две держала ее перед глазами, и в это время лицо ее приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выражение, какое у нее было вчера в начале нашего объяснения; на глазах у нее выступили слезы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые слезы.

— Слушайте,— сказала она, порывисто поднимаясь и отходя к окну, чтобы я не видел ее лица.— Я решила так: завтра же уеду с вами за границу.

— И прекрасно. Я готов ехать хоть сегодня.

— Вербуйте меня. Вы читали Бальзака? — спросила она вдруг, обернувшись.— Читали? Его роман «Père Goriot» кончается тем, что герой глядит с вершины холма на Париж и грозит этому городу: «Теперь мы разделаемся!» — и после этого начинает новую жизнь. Так и я, когда из вагона взгляну в последний раз на Петербург, то скажу ему: «Теперь мы разделаемся!»

И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шутке и почему-то вздрогнула всем телом.

XV

В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. Пришлось с первого же дня лечь

в постель и пролежать недели две. Каждое утро, пока я был болен, приходила ко мне из своего номера Зинаида Федоровна, чтобы вместе пить кофе, и потом читала мне вслух французские и русские книги, которых мы много накупили в Вене. Эти книги были мне давно уже знакомы или же не интересны, но около меня звучал милый, добрый голос, так что в сущности содержание всех их для меня сводилось к одному: я не одинок. Она уходила гулять, возвращалась в своем светло-сером платье, в легкой соломенной шляпе, веселая, согретая весенним солнцем, и, севши у постели, нагнувшись низко к моему лицу, рассказывала что-нибудь про Венецию или читала эти книги — и мне было хорошо.

Ночью мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью, — лучшего выражения не придумаешь. Яркое, горячее солнце, бьющее в открытые окна и в дверь на балконе, крики внизу, плесканье весел, звон колоколов, раскатистый гром пушки в полдень и чувство полной, полной свободы делали со мной чудеса; я чувствовал на своих боках сильные, широкие крылья, которые уносили меня бог весть куда. А какая прелесть, сколько порой радости от мысли, что с моею жизнью теперь идет рядом другая жизнь, что я слуга, сторож, друг, необходимый спутник существа молодого, красивого и богатого, но слабого, оскорбленного, одинокого! Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. Раз я слышал, как она за дверью шепталась с моим доктором, и потом вошла ко мне с заплаканными глазами, — это плохой знак, — но я был растроган, и у меня стало на душе необыкновенно легко.

Но вот мне позволили выходить на балкон. Солнце и легкий ветерок с моря нежат и ласкают мое больное тело. Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственной грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу! Вот, если взглянуть прямо через канал, то видно взморье и на горизонте на просторе солнце рябит по воде так ярко, что больно смотреть. Тянет душу туда, к родному,

хорошему морю, которому я отдал свою молодость. Жить хочется! Жить и — больше ничего!

Через две недели я стал ходить, куда мне угодно. Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона, — наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва. А в дворце дождей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фальеро. Хорошо быть художником, поэтом, драматургом, думал я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в мистицизм! Эх, к этому безмятежному спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу, хотя бы кусочек какой-нибудь веры.

Вечером ели устриц, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одном месте, под ней чуть слышно хлупает вода. Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных огней. Недалеко от нас в гондоле, увешанной цветными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна, бледная, с серьезным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, крепко стиснув губы и руки. Она думает о чем-то и не пошевеливает даже бровью, и не слышит меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающий взгляд, и до невероятного унылые, жуткие и, как снег, холодные воспоминания, а кругом гондолы, огни, музыка, песня с энергическим страстным вскриком: «*Jam-mo!.. Jam-mo!..*», — какие житейские контрасты! Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием «Злосчастливая», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она — злосчастливая, брошенная, а я — верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник, не способный уже ни на что, как только каплять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой... но кому и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашивается?

После вечерней прогулки мы каждый раз пили чай в ее номере и разговаривали. Мы не боялись трогать старых, еще не заживших ран, — напротив, я почему-то даже испытывал удовольствие, когда рассказывал ей о своей жизни у Орлова или откровенно касался отношений, которые мне были известны и не могли быть от меня скрыты.

— Минутами я вас ненавижу, — говорил я. — Когда он капризничал, снисходил и лгал, то меня поражало, как это вы ничего не видите, не понимаете, когда всё так ясно. Целуете ему руки, стоите на коленях, льстите...

— Когда я... целовала руки и стояла на коленях, я любила... — говорила она, краснея.

— Неужели было так трудно разгадать его? Хорош сфинкс! Сфинкс — камер-юнкер! Я ни в чем вас не упрекаю, храни бог, — продолжал я, чувствуя, что я грубоват, что у меня нет светскости и той деликатности, которая так нужна, когда имеешь дело с чужою душой; раньше, до знакомства с ней, я не замечал в себе этого недостатка. — Но как вы могли не угадать? — повторял я, но уже тише и неувереннее.

— Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы, — говорила она в сильном волнении. — Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить на обыкновенный аршин, ваши нравственные требования отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю вас и, если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы; говорю я прежний вздор просто оттого, что еще не успела износить своих старых платьев и предрассудков. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Теперь даже смешно все это, — говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал. — Все эти любви только туманят совесть и сбивают с толку. Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову и чтобы она — крак! Вот в чем смысл. В этом одном, или же вовсе нет смысла.

Я рассказывал ей длинные истории из своего прошлого и описывал свои в самом деле изумительные похождения. Но о той перемене, какая произошла во мне,

я не обмолвился ни одним словом. Она с большим вниманием слушала меня всякий раз и в интересных местах потирала руки, как будто с досадой, что ей не удалось еще пережить такие же приключения, страхи и радости, но вдруг задумывалась, уходила в себя, и я уже видел по ее лицу, что она не слушает меня.

Я закрывал окна, выходящие на канал, и спрашивал: не затопить ли камин?

— Нет, бог с ним. Мне не холодно, — говорила она, вяло улыбаясь, — я только ослабела вся. Знаете, мне кажется, что за последнее время я страшно поумнела. У меня теперь необыкновенные, оригинальные мысли. Когда я, например, думаю о прошлом, о своей тогдашней жизни... ну, о людях вообще, то все это сливается у меня в одно — в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и к тому же еще морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чахотку, а эту вот свою вторую жену, мою мачеху, любил страстно, без памяти... Натерпелась я! Ну, да что говорить! Так вот все, говорю я, сливается в один образ... И мне досадно: зачем мачеха умерла? Хотелось бы теперь встретиться с ней!..

— Зачем?

— Так, не знаю... — отвечала она со смехом, красиво встряхивая головой. — Спокойной ночи. Выздоровливайте. Как только поправитесь, займемся нашими делами... Пора.

Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:

— Как думаете? Поля все еще живет у него?

— Вероятно.

И я уходил к себе. Так мы прожили целый месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. В тот же день мы уехали во Флоренцию.

Дело происходило уже осенью, в Ницце. Однажды утром, когда я зашел к ней в номер, она сидела в кресле, положив ногу на ногу, сторбившись, осунувшись, закрыв лицо руками, и плакала горько, навзрыд, и ее длинные, непричесанные волосы падали ей на колени. Впечатление чудного, удивительного моря, которое я только что видел, про которое хотел рассказать, вдруг оставило меня, и сердце мое сжалось от боли.

— О чем вы? — спросил я; она отняла одну руку от лица и махнула мне, чтоб я вышел. — Ну, о чем вы? — повторил я, и в первый раз за все время нашего знакомства поцеловал у нее руку.

— Нет, нет, ничего! — проговорила она быстро. — Ах, ничего, ничего... Уйдите... Видите, я не одета.

Я вышел в страшном смущении. Покой и беспечальное настроение, в каком я так долго находился, были отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам, умолять, чтобы она не плакала в одиночку, а делилась бы со мной своим горем, и ровный шум моря заворчал в моих ушах уже как мрачное пророчество, и я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери. О чем, о чем она плачет? — спрашивал я, вспоминая ее лицо и страдальческий взгляд. Я вспомнил, что она беременна. Она старалась скрыть свое положение и от людей, и от себя самой. Дома она ходила в просторной блузе или в кофточке с преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась в корсет так сильно, что два раза во время прогулок с ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся, что ей не мешало бы посоветоваться с доктором, она вся покраснела и не сказала ни слова.

Когда я потом вошел к ней, она была уже одета и причесана.

— Полно, полно! — сказал я, видя, что она готова опять заплакать. — Давайте-ка лучше пойдем к морю и потолкуем.

— Не могу я говорить. Простите, я теперь в таком настроении, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Владимир Иванович, когда в другой раз захотите войти ко мне, то предварительно постучите в дверь.

Это «предварительно» прозвучало как-то особенно, не по-женски. Я вышел. Возвращалось проклятое, петербургское настроение, и все мои мечты свернулись и сжались, как листья от жара. Я чувствовал, что я опять одинок, что близости между нами нет. Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорвет и унесет ветер. Я прогулялся по скверу, где играла музыка, зашел в казино; тут я оглядывал разодетых, сильно пахнущих женщин, и каждая взглядывала на меня так, как будто хотела сказать: «Ты одинок, и прекрасно...» Потом я вышел на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса, на левом берегу в лиловой мгле горы, сады, башни, дома, на всем играет солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то.

XVII

Она по-прежнему приходила ко мне по утрам пить кофе, но мы уже не обедали вместе; ей, как она говорила, не хотелось есть, и питалась она только кофе, чаем и разными пустяками, вроде апельсинов и карамели.

И разговоров у нас по вечерам уже не было. Не знаю, почему так. После того, как я застал ее в слезах, она стала относиться ко мне как-то слегка, подчас небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшным, удивительным, героическим и что возбуждало в ней зависть и восторг, теперь не трогало ее вовсе, и обыкновенно, выслушав меня, она слегка потягивалась и говорила:

— Да, было дело под Полтавой, сударь мой, было.

Случалось даже, что я не встречался с ней по целым дням. Бывало, постучишься робко и виновато в ее дверь — ответа нет; постучишься еще раз — молчание... Стоишь около двери и слушаешь; но вот мимо проходит горничная и холодно заявляет: «madame est partie»¹. Затем ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь... Какие-то англичане, полногрудые дамы,

¹ мадам уехала (франц.).

гарсоны во фраках... И когда я долго смотрю на длинный полосатый ковер, который тянется через весь коридор, мне приходит на мысль, что в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль и что уже не в моих силах изменить эту роль; я бегу к себе в номер, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мне хочется жить, и что чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо, тем она ближе ко мне и тем сильнее и больней я чувствую наше родство. Пусть я — «сударь мой», пусть этот легкий, пренебрежительный тон, пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мне теперь страшно одному.

Потом я опять выхожу в коридор, с тревогой прислушиваюсь... Я не обедаю, не замечаю, как наступает вечер. Наконец, часу в одиннадцатом слышатся знакомые шаги и на повороте около лестницы показывается Зинаида Федоровна.

— Прогуливаетесь? — спрашивает она, проходя мимо. — Вы бы лучше шли наружу... Спокойной ночи!

— Но разве мы уже не увидимся сегодня?

— Уже поздно, кажется. Впрочем, как хотите.

— Скажите, где вы были? — спрашиваю я, входя за нею в номер.

— Где? В Монте-Карло, — она достает из кармана штук десять золотых монет и говорит: — Вот, сударь мой. Выиграла. Это в рулетку.

— Ну, вы не станете играть.

— Отчего же? Я и завтра опять поеду.

Я воображал, как она с нехорошим болезненным лицом, беременная, сильно затянута, стоит около игорного стола в толпе кокоток, выживших из ума старух, которые жмутся у золота, как мухи у меда, вспоминал, что она уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня...

— Я не верю вам, — сказал я однажды. — Вы не поедете туда.

— Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.

— Дело не в проигрыше, — сказал я с досадой. — Разве вам не приходило на мысль, когда вы там играли, что блеск золота, все эти женщины, старые и молодые, крупье, вся обстановка, что все это — подлая, гнусная насмешка над трудом рабочего, над кровавым потом?

— Если не играть, то что же тут делать? — спросила она. — И труд рабочего, и кровавый пот — это красноречие вы отложите до другого раза, а теперь, раз вы начали, то позвольте мне продолжать; позвольте мне поставить ребром вопрос: что мне тут делать и что я буду делать?

— Что делать? — сказал я, пожав плечами. — На этот вопрос нельзя ответить сразу.

— Я прошу ответа по совести, Владимир Иванович, — сказала она, и лицо ее стало сердитым. — Раз я решилась задать вам этот вопрос, то не для того, чтобы слышать общие фразы. Я вас спрашиваю, — продолжала она, стуча ладонью по столу, как бы отбивая такт, — что я должна здесь делать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?

Я молчал и смотрел в окно на море. Сердце у меня страшно забилося.

— Владимир Иванович, — сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. — Владимир Иванович, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем... зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали и зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом — убеждения не всегда в нашей власти, но... но, Владимир Иванович, бога ради, зачем вы неискренни? — продолжала она тихо, подходя ко мне. — Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды, а молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться в своем банкротстве, — говорил я, оборачиваясь, но не глядя на нее. — Да, я не верю, утомился, пал духом... Тяжело быть искренним, страшно тяжело, и я молчал. Не дай бог никому пережить то, что я пережил.

Мне показалось, что я сейчас заплачу, и я замолчал.

— Владимир Иванович, — сказала она и взяла меня за обе руки. — Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Научите меня. Если вы сами уже не в силах

идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти. Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек. Попасть в ложное положение... играть какую-то нелепую роль... мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.

Принесли чай.

— Ну, что же? — спросила Зинаида Федоровна, подавая мне стакан. — Что вы мне скажете?

— Не только свету, что в окне, — ответил я. — И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна.

— Так вот укажите мне их, — живо сказала она. — Я об этом только и прошу вас.

— И еще я хочу сказать, — продолжал я. — Слушать идее можно не в одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись, изверились в одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем.

— Мир идей! — проговорила она и насмешливо поглядела мне в лицо. — Так уж лучше мы перестанем... Что уж тут...

Она покраснела.

— Мир идей! — повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. — Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу: я должна сделаться вашей любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека — значит не понимать идей. Надо начинать с этого... то есть с любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Федоровна, — сказал я.

— Нет, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша. — Я искренна!

— Вы искренни, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.

— Я заблуждаюсь! — засмеялась она. — Кто бы говорил, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Ведь любите?

Я пожал плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмешливо. — Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили, потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, ду-

ховном родстве... Но, главное, почему вы до сих пор были не искренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие собственно идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга, так бы уж я и знала. Отравилась бы тогда, как хотела, и не было бы теперь этой нудной комедии... Э, да что говорить! — она махнула на меня рукой и села.

— Вы говорите таким тоном, как будто подозреваете во мне бесчестные намерения, — обиделся я.

— Ну, да уж ладно. Что уж тут. Я не намерения подозреваю в вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идей и любви, у вас ничего не было. Теперь идеи и любовь, а в перспективе — я любовница. Таков уж порядок вещей и в жизни, и в романах... Вот вы бранили его, — сказала она и ударила ладонью по столу, — а ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.

— Он не презирает идей, а боится их, — крикнул я. — Он трус и лжец.

— Ну, да уж ладно! Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману, а вы...

— Бога ради, зачем вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя к ней. — Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм, нельзя так отчаиваться, послушайте меня, — продолжал я, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у меня в голове и, казалось, могла еще спасти нас обоих. — Слушайте меня. Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится, и я теперь крепко понял мозгом, своей изболевшей душой, что назначение человека или ни в чем, или только в одном — в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!

Дальше я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился.

— Мне жить хочется! — проговорил я искренно. — Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вот

этого моря, вашей близости. О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Вы только что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица...

Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать мне говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные.

Она налила себе чаю, но не дотронулась до него, пошла в спальню и легла.

— Я полагаю, нам бы лучше прекратить этот разговор,— сказала она мне оттуда.— Для меня всё уже кончено и ничего мне не нужно... Что ж тут разговаривать еще!

— Нет, не все кончено!

— Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоело... Будет.

Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. Когда потом, поздно ночью, я подошел к ее двери и прислушался, мне явственно послышался плач.

На другой день утром лакей, подавая мне платье, сообщил с улыбкой, что госпожа из 13-го номера родит. Я кое-как оделся и, замирая от ужаса, поспешил к Зинаиде Федоровне. В ее номере пахлились доктор, акушерка и пожилая русская дама из Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступил порог, как из комнаты, где лежала она, послышался тихий, жалобный стон, и точно это ветер донес мне его из России, я вспомнил Орлова, его иронию, Полю, Неву, снег хлопьями, потом пролетку без фартука, пророчество, какое я прочел на холодном ут্রেппе неба, и отчаянный крик: «Нина! Нина!»

— Вы сходите к ней,— сказала дама.

Я вошел к Зинаиде Федоровне с таким чувством, как будто я был отцом ребенка. Она лежала с закрытыми глазами, худая, бледная, в белом чепчике с кружевами. Помню, два выражения были на ее лице: одно равнодушное, холодное, вялое, другое детское и беспомощное, какое придавал ей белый чепчик. Она не слышала, как я вошел, или, быть может, слышала, но не обратила на меня внимания. Я стоял, смотрел на нее и ждал.

Но вот лицо ее покривилось от боли, она открыла

глаза и стала глядеть в потолок, как бы соображая, что с ней... На ее лице выразилось отвращение.

— Гадко,— прошептала она.

— Зинаида Федоровна,— позвал я слабо.

Она равнодушно, вяло поглядела на меня и закрыла глаза. Я постоял немного и вышел.

Ночью Дарья Михайловна сообщила мне, что родилась девочка, но что роженица в опасном положении; потом по коридору бегали, был шум. Опять приходила ко мне Дарья Михайловна и с отчаянным лицом, ломая руки, говорила:

— О, это ужасно! Доктор подозревает, что она приняла яд! О, как нехорошо ведут себя здесь русские!

А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась.

XVIII

Прошло два года. Обстоятельства изменились, я опять поехал в Петербург и мог жить тут, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительным и весь ушел в отеческое или, вернее, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мне Соня, дочь Зинаиды Федоровны. Я кормил ее из своих рук, купал, укладывал спать, не сводил с нее глаз по целым почам и вскрикивал, когда мне казалось, что нянька ее сейчас уронит. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни с течением времени становилась все сильнее и раздражительнее, но широкие мечты остановились около Сони, как будто нашли в ней, наконец, именно то, что мне нужно было. Я любил эту девочку безумно. В ней я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых, розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею.

Судьба Сони пугала меня. Отцом ее был Орлов, в метрическом свидетельстве она называлась Красновскою, а единственный человек, который знал об ее существовании и для которого оно было интересно,

то есть я, уже дотягивал свою песню. Нужно было подумать о ней серьезно.

На другой же день по приезде в Петербург я отправился к Орлову. Отворил мне толстый старик с рыжими бакенами и без усов, по-видимому, немец. Поля, убравшая в гостиной, не узнала меня, но зато Орлов узнал тотчас же.

— А, господин крамольник! — сказал он, оглядывая меня с любопытством и смеясь. — Какими судьбами?

Он нисколько не изменился: все то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой кости. Очевидно, читал до моего прихода. Он усадил меня, предложил сигару и с деликатностью, свойственной только отлично воспитанным людям, скрывая неприятное чувство, какое возбуждали в нем мое лицо и моя тощая фигура, заметил вскользь, что я нисколько не изменился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я оброс бородою. Поговорили о погоде, о Париже. Чтобы поскорее отделаться от тяжелого неизбежного вопроса, который томил и его, и меня, он спросил:

— Зинаида Федоровна умерла?

— Да, умерла, — ответил я.

— От родов?

— Да, от родов. Доктор подозревал другую причину смерти, но... и для вас, и для меня покойнее думать, что она умерла от родов.

Он вздохнул из приличия и помолчал. Пролетел тихий ангел.

— Так-с. А у меня все по-старому, никаких особенных перемен, — живо заговорил он, заметив, что я оглядываю кабинет. — Отец, как вы знаете, в отставке и уже на покое, я все там же. Пекарского помните? Он все такой же. Грузин в прошлом году умер от дифтерита... Ну-с, Кукушкин жив и частенько вспоминает о вас. Кстати, — продолжал Орлов, застенчиво опуская глаза, — когда Кукушкин узнал, кто вы, то стал везде рассказывать, что вы будто учинили на него нападение, хотели его убить... и он едва спасся.

Я промолчал.

— Старые слуги не забывают своих господ... Это очень мило с вашей стороны, — пошутил Орлов. — Од-

нако, не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.

— Нет, благодарю. Я к вам по очень важному делу, Георгий Иванович.

— Я не охотник до важных дел, но вам рад служить. Что прикажете?

— Видите ли, — начал я, волнуясь, — со мной в настоящее время находится здесь дочь покойной Зинаиды Федоровны... До сих пор я занимался ее воспитанием, но, как видите, не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена.

Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово, мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько «важное дело», как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти.

— Да, об этом надо подумать, — сказал он, закрывая глаза, как от солнца. — Благодарю вас. Вы говорите: девочка?

— Да, девочка. Чудная девочка!

— Так. Это, конечно, не мош, а человек... понятно, надо серьезно подумать. Я готов принять участие и... и очень обязан вам.

Он встал, прошелся, кусая ногти, и остановился перед картиной.

— Об этом надо подумать, — сказал он глухо, стоя ко мне спиной. — Я сегодня побываю у Пекарского и попрошу его съездить к Красновскому. Думаю, что Красновский не будет долго ломаться и согласится взять эту девочку.

— Но, простите, я не знаю, при чем тут Красновский, — сказал я, тоже вставая и подходя к картине в другом конце кабинета.

— Но, ведь она носит его фамилию, надеюсь! — сказал Орлов.

— Да, он, быть может, обязан по закону принять к себе этого ребенка, я не знаю, но я пришел к вам, Георгий Иванович, не для того, чтоб говорить о законах.

— Да, да, вы правы, — живо согласился он. — Я, кажется, говорю вздор. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудим ко взаимному удовольствию. Не одно, так другое, не другое, так третье, а так или иначе этот щекотливый вопрос будет решен. Пекарский все устроит. Вы будете добры, оставите мне свой адрес, и я сообщу вам

немедленно то решение, к какому мы придем. Вы где живете?

Орлов записал мой адрес, вздохнул и сказал с улыбкой:

— Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом! Но Пекарский все устроит. Это «вумный» мужчина. А вы долго прожили в Париже?

— Месяца два.

Мы помолчали. Орлов, очевидно, боялся, что я опять заговорю о девочке, и, чтобы отвлечь мое внимание в другую сторону, сказал:

— Вы, вероятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроение я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азиат, лошадиный смех — это мило и характерно,— продолжал он, иронически улыбаясь.— И основная мысль, пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. То есть,— замаялся он,— спорить не с самой мыслью, а с вашим отношением к вопросу, с вашим, так сказать, темпераментом. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость,— тут вы совершенно правы. Но что вы так близко принимаете это к сердцу, волнуетесь и приходите в отчаяние,— это не резон, тут вы совсем неправы.

— Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как погибает сам и вокруг гибнут другие.

— Кто говорит! Я вовсе не проповедую равнодушия, а хочу только объективного отношения к жизни. Чем объективнее, тем меньше риску впасть в ошибку. Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин. Мы ослабели, опустились, пали наконец, наше поколение сплошную состоит из неврастеников и нытиков, мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении, но виноваты в том не вы и не я: мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба целого поколения. Тут, надо думать, причины большие, общие, имеющие с точки зрения биологической свой солидный *raison d'être*¹. Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть может, это нужно и полезно для тех поколений, которые будут жить после нас. Ни единый волос не падает с головы без

¹ смысл (франц.).

воли отца небесного, — другими словами, в природе и в человеческой среде ничто не творится так себе. Все обоснованно и необходимо. А если так, то чего же нам особенно беспокоиться и писать отчаянные письма?

— Так-то так, — сказал я, подумав. — Я верю, следующим поколениям будет легче и видней; к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или еще хуже того... Я верю и в целесообразность, и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»?

— Ну, что делать! — вздохнул Орлов, поднимаясь и как бы давая понять, что разговор наш уже кончен.

Я взялся за шапку.

— Только полчаса посидели, а сколько вопросов решили, подумаешь! — говорил Орлов, провожая меня до передней. — Так я позабочусь о том... Сегодня же увидаюсь с Пекарским. Будьте без сумления.

Он остановился в ожидании, пока я оденусь, и видимо чувствовал удовольствие от того, что я сейчас уйду.

— Георгий Иванович, возвратите мне мое письмо, — сказал я.

— Слушаю-с.

Он пошел в кабинет и через минуту вернулся с письмом. Я поблагодарил и вышел.

На другой день я получил от него записку. Он поздравлял меня с благополучным решением вопроса. У Пекарского есть знакомая дама, писал он, которая держит пансион, что-то вроде детского сада, куда принимаются даже очень маленькие дети. На даму можно положиться вполне, но прежде чем входить с нею в соглашение, не мешает переговорить с Красновским — этого требует формальность. Советовал мне немедленно отправиться к Пекарскому и кстати прихватить с собою метрическое свидетельство, если таковое имеется. «Примите уверение в искреннем уважении и преданности вашего покорного слуги...»

Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! — говорила громко Софья Львовна. — Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

Она стояла в саниах, а ее муж Владимир Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорил, не следовало давать ей коньяку, — шепнул с досадой Владимир Никитыч своему спутнику. — Экий ты, право!

Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

— Тпрр! — кричала Софья Львовна. — Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томилась мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, как говорится, *par dépit*¹; сегодня же в загородном ресторане она убедилась наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

¹ с досады (*франц.*).

«О, мой милый! — думала она. — Чудный!»

В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или, попросту, Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник.

Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам — сто, и завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно; он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как го-

ворят, пишет диссертацию. Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одну крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul»¹. Ягич приходил от него в восторг и благоговаял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга — Володей маленьким.

В саях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в *rinse-nez*, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк, сколько угодно, и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

¹ «Простите, я не один» (франц.).

— Соня, перестань беситься,— сказала она нараспев.— Право, глупо даже.

В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит против, было известно, что она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника *par dépit*. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее — и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унижительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку; очевидно, ему только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

— В этом монастыре наша Оля,— сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачем она пошла в монастырь? — спросил полковник.

— *Par dépit*,— сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем.— Теперь в моде это *par dépit*. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг — на, поди! Удивила!

— Это неправда,— сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо.— Тут не *par dépit*, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные рабо-

ты, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

Он опять поднял воротник.

— И хорошо сделала Оля, — добавил он глухо. — Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, — тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

— Я хочу к утрени! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!

Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквях. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

— Скорей, пожалуйста! — крикнул ей муж. — Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самой головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны, запахло можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра», — подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно, — скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения. — Оля!

Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

— Вот господь чудо послал, — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

— А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, — говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. — Какая ты бледная, господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

— У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

— Ну, слава богу. А папа твой здоров?

— Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

— Приду, — сказала Оля и усмехнулась. — Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

— Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

— Пойдем, — согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

— Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава богу.

Володя большой и Володя маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться.

Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна укутала ее в плед и прикрыла одною полую своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и в сущности нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется, — святые на тройках не ездят, — но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольные уже перезванивали.

— Спаси вас господи, — сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

— Так ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому, что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась

бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утренняя будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

«Но ведь бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?»

А через минуту в голову опять лезет мысль:

«Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь — значит отречься от жизни, погубить ее...»

Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

— Не надо об этом думать,— шептала она.— Не надо...

Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

— Володя!

— Что тебе? — отозвался муж.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чем наступят старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел

уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому — молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка! — проговорил Ягич, делая ударение на *зы*.

Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз — уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит как хищник.

Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

— Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! — сказал он; а через минуту: — Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича... — И еще через минуту: — С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Mercì.

Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховой обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленький пришел с визитом, как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла

Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

— А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей, — сказала она. — Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она — несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь.

При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление.

— Вот вы, Володя, умный человек, — сказала Софья Львовна, — научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне не легко живется, — продолжала она, помолчав немного. — Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я недостойна?

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

— Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А, может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня всё, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

— Ну, полно, полно, — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. — Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать всё, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

— Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. — А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, — проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. — Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. — Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле, и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

— Тара...ра...бумбия... — запел он вполголоса. — Тара...ра...бумбия!

И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чадуга каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

— Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснела, и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. — Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

— О, как ты меня мучаешь! — повторила она.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел:

— Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

— Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказал он, подумав. — Вот разве завтра.

И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтирь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменила извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь, убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что всё это ничего, всё пройдет и бог простит.

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться.

Сначала—это было в апреле—он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десяти-тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не слу-

чалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, группа, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая пе-

дантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

— Я еще в детстве чихал здесь от дыма, — сказал он, пожимая плечами, — но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

— Дым заменяет облака, когда их нет... — ответила Таня.

— А для чего нужны облака?

— В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

— Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая! — сказал он. — Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

— Да, пять лет! — вздохнула Таня. — Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный

Сара Петровна

Кувшинникова?

АНТОНЪ ЧЕХОВЪ

от опаленаго, но неужели

но преданнаго павлу
ДУЭЛЬ

ПОВѢСТЬ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНИЕ А. С. СУВОРИНА
1892

«ДУЭЛЬ».

Титульный лист с дарственной надписью С. П. Кувшинниковой

человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

— Однако, пора спать,— сказала Таня.— Да и холодно.— Она взяла его под руку.— Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад,— и больше ничего. Штамб, полуштамб,— засмеялась она,— апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться,— в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!

— Вот, брат, история...— начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух.— На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

— Право, не знаю,— сказал Коровин и засмеялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?

— Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

— И не прискушает?

— Напротив, этим только я и живу.

— Ну, дай бог... — проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. — Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

— Кто это привязал лошадь к яблоне? — слышался его отчаянный, душу раздирающий крик. — Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками. — Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он — толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

— Ну, дай бог... дай бог... — забормотал он. — Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детст-

ве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными крепделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песочким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, одна из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная

воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

— Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда,— сказал он.— Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня — завтра.

— Станный мираж,— сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнее всего,— засмеялся Коврин,— что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущею рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

«Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. — И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, — зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесаясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно уда-

рился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

— Ну, вот видите ли... — пробормотал Коврин. — Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, — значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тани и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

III

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

— Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. — Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

— Ну, уж и отлично! — говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. — Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолепные статьи, — сказала Таня с глубоким убеждением. — Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузющиеся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

— В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, — забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо

знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

— Да, братец ты мой... — начал он после некоторого молчания. — Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

— Дело говорит само за себя.

— Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело — понимаешь? — люблю, быть может, больше чем самого себя. Ты посмотри на меня: я всё сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку — сам, посадки — сам, всё — сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

— А Таня? — спросил Коврин, смеясь. — Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

— Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? — зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. — То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать.

Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к чёрту в первый же год! В нашем деле бабы — бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

— Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудака. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, — решил он наконец, засовывая руки в карманы. — К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не боялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то — что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

— Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, — сказал он, подумав. — Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» — и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинается ее Егор Семеныч с «*audiatur altera pars*»¹ и кончает — «*sapienti sat*»², а между этими

¹ «пусть выслушают другую сторону» (лат.),

² «умному достаточно» (лат.)

изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, — подумал Коврин. — Должно быть, везде и на всех попрощах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно».

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикуляцией. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томил его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но не надолго.

«Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», — подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею прине-

сти вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: «ах, боже мой, боже мой!» и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

— Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнеможенный от слез и в то же время решительный голос:

— Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

— Ай-ай, как стыдно! — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. — Неужели так серьезно? Ай-ай!

— Но, если бы вы знали, как он меня мучит! — сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. — Он замучил меня! — продолжала она, ломая руки. — Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда уютно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

— Полно, полно, — проговорил Коврин, поправ-

ляя ей прическу.— Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более, что он вас бесконечно любит.

— Он мне... мне испортил всю жизнь,— продолжала Таня, всхлипывая.— Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех — это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга — Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

— Но ведь ты мираж,— проговорил Коврин.— Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

— Это всё равно,— ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом.— Легенда, мираж и я — всё это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак.

— Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин.

— Думай, как хочешь,— сказал монах и слабо улыбнулся.— Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

— У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет,— сказал Коврин.— Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

— Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя

удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

— Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

— Вечная жизнь есть, — сказал монах.

— Ты веришь в бессмертие людей?

— Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, жителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почilo на людях.

— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин.

— Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в доме Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

— Очень рад.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

— Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет первого века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать

только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

— Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*¹.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, — сказал Коврин. — Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

— Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся. — А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, — какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здесь? — сказала она. — А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. — Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволен, Таня, — сказал Коврин, кладя ей

¹ здоровый дух в здоровом теле (*лат.*).

руки на плечи.— Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

— Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

— Ну! — засмеялась Таня.— Вы забудете про нас через два дня. Мы людинамаленькие, а вы великий человек.

— Нет, будем говорить серьезно! — сказал он.— Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну! — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

— Я не думала об этом... не думала! — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

— Как она хороша!

VI

Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти

на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, — и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе — и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею со-

вершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

— Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной

высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

— Здравствуй,— сказал монах и, помолчав немного, спросил: — О чем ты теперь думаешь?

— О славе,— ответил Коврин.— Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

— Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

— Да, это правда.

— Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно, — согласился Коврин. — Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

— В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья — так оно было велико! — и, чтобы умиловить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

— Но почему? — изумился монах. — Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

— А вдруг прогневаются боги? — пошутил Коврин и засмеялся. — Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели и в смехе было что-то странное.

— Андрюша, с кем ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. — Андрюша! С кем?

— А? С кем? — смутился Коврин. — Вот с ним... Вот он сидит, — сказал он, указывая на черного монаха.

— Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты болен! — зарыдала она, дрожа всем телом. — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

— Это ничего, Таня, ничего... — бормотал он, дрожа. — В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

— Я уже давно замечала... и папа заметил, — говорила она, стараясь сдерживать рыдания. — Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! — проговорила она в ужасе. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

— Ты не бойся, Андрюша, — говорила Таня, дрожа как в лихорадке, — не бойся... Папа, это всё пройдет... всё пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном:

— Поздравьте, я, кажется, сошел с ума, — но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пожелтело и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всмотриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнеть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

— Тебе, кажется, пора уже молоко пить, — сказала Таня мужу.

— Нет, не пора... — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. — Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

— Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

— Да, очень полезно! — усмехнулся Коврин. — По-

здравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу.— Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: — Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг— всё это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я — посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

— Бог знает, что ты говоришь! — вздохнул Егор Семеныч.— Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

— Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин.— Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация по-

гибнет. Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

— Не могу и не хочу.

— Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. — Объясни мне, почему?

— Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, — небрежно сказал Коврин и пожал плечами, — но не будем говорить о нем: он твой отец.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дразги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

— Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудачковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях;

и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка,— проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить.— С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна —

так звали его подругу — собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утемила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тани он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, всё уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и ушла в обморок. Это было безобразно.

Всё это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теп-

лая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет ступил и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...»

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них — это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему

казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, — одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестив-

ши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не поверил мне? — спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжеты стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

— Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

— Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже потеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

БАБЬЕ ЦАРСТВО

I

НАКАНУНЕ

Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи, от приказчика. Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как отсудил и выиграл дело. Она знала, что без правосудия нельзя, но почему-то, когда директор завода Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их.

Она думала с досадой: ее ровесницы,— а ей шел двадцать шестой год,— теперь хлопочут по хозяйству, утомились и крепко уснут, а завтра утром проснутся в праздничном настроении; многие из них давно уже повыходили замуж и имеют детей. Только она одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за этими письмами, делать на них пометки, писать ответы, потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будут ее поздравлять и просить у ней, а послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал,— побьют кого, или кто-нибудь умрет от водки, и ее почему-то будет мучить совесть; а после праздников Назарыч уволит за прогул человек двадцать, и все эти двадцать будут без шапок жаться около ее крыльца, и ей будет совестно выйти к ним, и их прогонят, как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь.

Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные,

обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже наметила на каждом письме, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей.

Раздадут по мелочам и 470 рублей — проценты с капитала, завещанного покойным Акимом Ивановичем на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, поминающих хрипылыми голосами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей; задние будут напирать на передних, а передние — браниться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучат шум, брань и причитывания, выскочит и даст кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалованья, и уже истратившие всё до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться — одни завистливо, другие иронически.

«Купцы, а особенно купчихи больше любят нищих, чем своих рабочих, — подумала Анна Акимовна. — Это всегда так».

Взгляд ее упал на денежный пакет. Хорошо бы раздать завтра эти ненужные, противные деньги рабочим, но нельзя ничего давать рабочему даром, а то запросит в другой раз. Да и что значат эти полторы тысячи, если на заводе всех рабочих тысяча восемьсот с лишком, не считая их жен и детей? А то, пожалуй, выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бедняка ошеломят эти деньги, как гром, и, быть может, первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула из пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов давно уже без места, болен и проживает в доме Гущина; жена в чахотке, пять малолетних дочерей. Гущинский четырехэтажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Акимовна. Ах, нехороший, гнилой, нездоровый дом!

— Вот отдам этому Чаликову, — решила она. — Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да, — рассуждала она, пряча в карман полторы тысячи, — посмотрю и, пожалуй, девочек куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась в сани, был седьмой час вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе казалось очень темно. У ворот и далеко в глубине двора, около складов и рабочих барачков горели электрические фонари.

Этих темных, угрюмых корпусов, складов и барачков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди, с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшное движение. Анне Акимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа и как один старик с ремешком на голове, а другой — молодой, в синей блузе, с цепочкой на груди и с сердитым лицом, должно быть, из старших, ударили молотками по куску железа, и как брызнули во все стороны золотые искры, и как, немного погодя, гремели перед ней громадным куском листового железа; старик стоял навывтяжку и улыбался, а молодой вытирал рукавом мокрое лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа, и сыпались железные опилки, и как рыжий, в темных очках и с дырами на рубахе, работал у токарного станка, делая что-то из куска стали; станок ревел и визжал и свистел, а Анну Акимовну тошнило

от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить,— как это странно!

А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безначалие. Удивительное дело: на благоустройство бараков уходят ежегодно тысячи рублей, а положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже...

«При отце было больше порядка,— думала Анна Акимовна, выезжая со двора,— потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. Я же ничего не знаю и делаю одни глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поехала, и мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов,— это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него через поле, направляясь к городским огням, шли толпами рабочие из соседних фабрик — ситцевой и бумажной. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. Анна Акимовна поглядела на женщин и малолетков, и ей вдруг захотелось простоты, грубости, тесноты. Она ясно представила себе то далекое время, когда ее звали Анюткой и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, а рядом, в другой комнате, стирала белье жилища-прачка, и из соседних квартир, сквозь тонкие стены, слышались смех, брань, детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин, а отец, Аким Иванович, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что-нибудь около печки или чертил или строгал. И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку и кабак, как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ее большой дом с люстрами и картинами, лакей Мишенька во фраке и с бархатными усиками, благолепная Варварушка и лъстивая Агафьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходят к ней

просить денег и перед которыми она почему-то всякий раз чувствует себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирающие ее втайне за низкое происхождение, — как все это уже прискущало и чуждо ей!

Вот железнодорожный переезд и застава; пошли дома попеременно с огородами; вот, наконец, и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гущина. На улице, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице кто-нибудь не здешний, живущий в центре города, то он заметил бы только грязных, пьяных и ругателей, но Анна Акимовна, жившая с детства в этих краях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазёр, беспечный и легкомысленный; у него не было пристрастия ни к деньгам, ни к почету, ни к власти; он говорил, что рабочему человеку некогда разбирать праздники и ходить в церковь; и если б не жена, то он, пожалуй, никогда бы не говел и в пост ел бы скоромное. А дядя, Иван Иваныч, наоборот, был кремень; во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим, и наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. Не дай бог, бывало, войти к нему в комнату и не перекреститься! Роскошные хоромы, в которых живет теперь Анна Акимовна, он держал запертыми и отпирал их только в большие праздники для важных гостей, а сам жил в конторе, в одной маленькой комнатке, уставленной образами. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и попов, хотя был крещен и венчан, и жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственного наследника, он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и глупостью, и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле, на положении рабочего, платил ему по 16 рублей в месяц. Аким говорил своему брату *вы* и в прощенные дни со всем своим семейством кланялся ему в ноги. Но года за три до своей смерти Иван Иваныч приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернантку.

Ворота под домом Гущина темные, глубокие, вою-

чие; слышно, как около стен покашливают мужчины. Оставив сани на улице, Анна Акимовна вошла во двор и спросила тут, как пройти в 46-й номер к чиновнику Чаликову. Ее направили к крайней двери направо, в третий этаж. И во дворе, и около крайней двери, даже на лестнице был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец Анны Акимовны был простым рабочим, она жила в таких домах, и потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы; узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадкою; засаленный фонарь в пролете; смрад, на площадках около дверей корыта, горшки, лохмотья, всё это было знакомо ей уже давным-давно... Одна дверь была открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные-евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимовне встречались люди, но ей и в голову не приходило, что ее могут обидеть. Рабочих и мужиков, трезвых и пьяных, она так же мало боялась, как своих интеллигентных знакомых.

В квартире № 46 сеней не было, и начиналась она с кухни. Обыкновенно в квартирах фабричных и мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом, смотря по тому, чем занимается хозяин; квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этот противный запах обдал Анну Акимовну и теперь, едва она переступила порог. В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина в черном сюртуке, должно быть, сам Чаликов, и с ним пять девочек. Старшей, широколицей и худенькой, с гребенкой в волосах, было на вид лет пятнадцать, а младшей, пухленькой, с волосами как у ежа, — не больше трех. Все шестеро ели. Около печи, с ухватом в руке, стояла маленькая, очень худая, с желтым лицом женщина в юбке и белой кофточке, беременная.

— Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, — говорил мужчина с укоризной. — Ай, ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, чтобы папочка тебя высек, да?

Увидев на пороге незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухват.

— Василий Никитич! — окликнула она не сразу, глухим голосом, как будто не веря своим глазам.

Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый, узкоплечий человек, со впалыми висками и с плоскою грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие, с темными кругами, нос длинный, птичий и немножко покривившийся вправо, рот широкий. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездного лакея, чем на чиновника.

— Здесь живет господин Чаликов? — спросила Анна Акимовна.

— Точно так-с, — строго ответил Чаликов, но тотчас же узнал Анну Акимовну и вскрикнул: — Госпожа Глаголева! Анна Акимовна! — и вдруг задохнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. — Благотельница!

Со стоном он подбежал к ней и, мыча, как параличный, — на бороде у него была капуста, и пахло от него водкой, — припал лбом к муфте и как бы замер.

— Ручку! Ручку святую! — проговорил он, задыхаясь. — Сон! Прекрасный сон! Дети, разбудите меня!

Он повернул к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками:

— Провидение услышало нас! Пришла наша избавительница, наш ангел! Мы спасены! Дети, на колени! На колени!

Госпожа Чаликова и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна, — сказала Анна Акимовна, и ей стало совестно и досадно.

«Полторы тысячи я ему не дам», — подумала она.

— Вот она, моя жена! — сказал Чаликов тонким женским голоском, как будто слезы ударили ему в голову. — Вот она, несчастная! Одною ногой в могиле! Но мы, сударыня, не ропщем. Лучше умереть, чем так жить. Умирай, несчастная!

«Что он ломается? — подумала Анна Акимовна с досадой. — Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами».

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески, — сказала она. — Я комедий не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротевших детей вокруг гроба матери, при погребальных свечах — это комедия! Эх! — сказал Чаликов с горечью и отвернулся.

— Замолчи! — шепнула жена и дернула его за рукав. — У нас, сударыня, не прибрано, — сказала она, обращаясь к Анне Акимовне, — уж вы извините... Дело семейное, сами изволите знать. В тесноте, да не в обиде.

«Не дам я им полторы тысячи», — опять подумала Анна Акимовна.

И чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, она уже достала портмоне и решила оставить рублей 25 — не больше; но ей вдруг стало известно, что она ехала так далеко и беспокоила людей из-за пустяков.

— Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас, — сказала она, краснея. — Доктор очень хороший. А на лекарства я вам оставляю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здесь не чисто! Куда ты? — прошипел Чаликов, глядя на нее со злобой. — Проводи к жильцу! Пожалуйте, сударыня, к жильцу, осмелюсь просить вас, — обратился он к Анне Акимовне. — Там чисто.

— Осип Ильич не велел ходить в его комнату! — сказала строго одна из девочек.

Но Анну Акимовну уже повели из кухни через узкую проходную комнату, меж двух кроватей; видно было по расположению постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой — трое поперек. В следующей затем комнате жилья, в самом деле, было чисто. Опрятная постель с красным шерстяным одеялом, подушка в белой наволочке, даже башмачок для часов, стол, покрытый пеньковой скатертью, а на нем чернильница молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках, все как следует, и другой стол, черный, на котором в порядке лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стенах были развешаны молотки, клещи, буравчики, стамески, плоскозубцы и т. п., и висело трое стенных часов, которые тикали; одни часы громадные, с толстыми гирями, какие бывают в трактирах.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило.

— Кто здесь у вас живет? — спросила она.

— Жилец, сударыня, Пименов. Он у вас на заводе служит.

— Да? А я думала, часовой мастер.

— Часами он занимается приватным образом, между делом. Любитель-с.

После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикали часы и скрипело перо по бумаге, Чаликов вздохнул и сказал насмешливо, с негодованием:

— Правда говорится: из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титул, а кушать нечего. По-моему, если человек низкого звания помогает бедным, то он гораздо благороднее какого-нибудь Чаликова, который погряз в нищете и пороке.

Чтобы польстить Анне Акимовне, он сказал еще несколько фраз, обидных для своего благородства, и было ясно, что он унижал себя потому, что считал себя выше ее. Она между тем кончила письмо и запечатала. Письмо будет брошено, а деньги пойдут не на лечение, — это она знала, но все-таки положила на стол 25 рублей и, подумав, прибавила еще две красных бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нее перед глазами и сжала деньги в кулачок.

— Это вы изволили дать на лекарства, — сказал Чаликов дрогнувшим голосом, — но протяните руку помощи также мне... и детям, — добавил он и всхлипнул, — детям несчастным! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмоне, в котором испортился замочек, Анна Акимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ждут и, вероятно, в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхивая снег.

— Жилец пришел, — сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении. Жилец, как нарочно, вошел в свою комнату в ту самую минуту, когда она, сломавши наконец замочек, подавала Чаликову несколько бумажек, а Чаликов мычал, как параличный, и искал губами, куда бы поцеловать ее. В жильце она узнала рабочего, который когда-то в кузнечном отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснения. Очевидно,

он пришел теперь прямо с завода: лицо у него было смуглое от копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса лоснилась от масляной грязи. Это был мужчина лет тридцати, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный. Анна Акимовна с первого же взгляда определила в нем старшего, получающего не меньше 35 рублей в месяц, строгого, крикливого, бьющего рабочих по зубам, и это видно было по его манере стоять, по той позе, какую он невольно вдруг принял, увидев у себя в комнате даму, а главное потому, что у него были брюки навыпуск, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отец, Аким Иванович, был братом хозяина, а все-таки боялся старших, вроде этого жильца, и заискивал у них.

— Извините, мы без вас распорядились тут, — сказала Анна Акимовна.

Рабочий смотрел на нее с удивлением, конфузливо улыбался и молчал.

— Вы сударыня, погромче... — тихо сказал Чаликов. — Господин Пименов, когда приходят по вечерам с завода, бывают туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тут больше нечего делать, кивнула головой и быстро вышла. Пименов пошел проводить ее.

— Вы давно у нас служите? — спросила она громко, не оборачиваясь к нему.

— С девяти лет. Я еще при вашем дяденьке определился.

— Как, однако, давно! Вот дядя и отец знали всех служащих, а я почти никого не знаю. Я вас видела и раньше, но не знала, что ваша фамилия Пименов.

Анна Акимовна чувствовала желание оправдаться перед ним, сделать вид, что давала она сейчас деньги не серьезно, а шутя.

— Ох, эта бедность! — вздохнула она. — Творим мы добрые дела и в праздники, и в будни, а все толку нет. Мне кажется, что помогать таким, как этот Чаликов, бесполезно.

— Конечно, бесполезно, — согласился Пименов. — Сколько ни дайте, все прольет. А теперь всю ночь муж и жена будут отнимать друг у дружки и драться, — добавил он и засмеялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропия бесполезна, скучна и смешна. Но ведь тоже, согласитесь, нельзя сидеть сложа руки, надо делать что-нибудь. Например, что делать с Чаликовыми?

Она обернулась к Пименову и остановилась, ожидая от него ответа; он тоже остановился и медленно и молча пожал плечами. Очевидно, он знал, что делать с Чаликовыми, но это было так грубо и нечеловечно, что он не решался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что через мгновение он уже не помнил о них; глядя в глаза Анне Акимовне, он улыбался от удовольствия, и выражение у него было такое, как будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя к нему близко, по его лицу, особенно по глазам, увидала, как он утомлен и как ему хочется спать.

«Вот ему бы дать те полторы тысячи!» — подумала она, но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У вас небось все тело болит от работы, а вы меня провожаете, — сказала она, спускаясь по лестнице. — Идите домой.

Но он не расслышал. Когда выходили на улицу, он забежал вперед, отстегнул у саней полсть и, подсаживая Анну Акимовну, сказал:

— Благополучно праздника встретить!

II

УТРО

— Уж давно отзвонили! Наказание господне, и к шапочному разбору не поспеете! Вставайте!

— Две лошади бегут, бегут... — сказала Анна Акимовна и проснулась; перед ней со свечой в руках стояла ее горничная, рыжая Маша. — Что? Что тебе?

— Обедня уже отошла! — говорила Маша с отчаяньем. — Третий раз бужу! По мне хоть до вечера спите, но ведь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворе еще было совсем темно, и только нижний край оконной рамы белел от снега. Слышался густой

низкий звон, но это звонили не в приходе, а где-то дальше. Часы на столике показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Через три минутки...— сказала Анна Акимовна умоляющим голосом и укрылась с головой.

Она представила себе снег у крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который, как нарочно, бывает удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещился то громадный сад на горе, то гуцинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сию минуту вставать и ехать в церковь.

Но когда она встала, было уже совсем светло, и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снега, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и легок, так что когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей, прежде всего, захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства,— радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником; потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, его легкий шум и запах свежих духов возбуждали Анну Акимовну.

— Вот и святки,— сказала она весело Маше.— Теперь будем гадать.

— Мне летошний год вышло — за стариком быть. Три раза так выходило.

— Ну, бог милостив.

— А что ж, Анна Акимовна? Я так думаю, чем ни то ни се, ни два ни полтора, так уж лучше за старика,— сказала печально Маша и вздохнула.— Мне уж двадцать первый год пошел, не шутка.

Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку, и вот уже три года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить, — утешила Анна Акимовна. — Мне скоро тридцать лет, а я всё собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одевалась, Мишенька, в новом фраке и в лакированных ботинках, ходил по зале и гостиной и ждал, когда она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая; глядя при этом на его ноги, руки и наклон головы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он богу всегда с земными поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел пред ними, бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Под крахмальной сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем; уши были заткнуты ватой.

Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько набок и сказал своим приятным, медовым голосом:

— Честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с высокаторжественным праздником Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили ее своею красотой и изяществом; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхний этаж в доме назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, где хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой, стариковской, или просто бабьей половины. В первой принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй — кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого, казалось ей, во все стороны шло сияние, Анна Акимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она, образованная, бога за-

была, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь — киоты, образа, лампы, портреты духовных особ, пахнет монахами, в кухне стучат ножами, и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашенные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-синими полосами, а солнце так и режет в окна.

В столовой сидят какие-то чужие старушки; в комнате Варварушки тоже старушки и с ними глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит: «блы, блы...» Две тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней, пораженные роскошью ее платья; она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что эту девочкой будут пренебрегать женихи и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубашках, но это были не рабочие с завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики вскочили с мест и из приличия перестали жевать, хотя у всех были полные рты; в комнату вошел из кухни повар Степан, в белом колпаке и с ножом в руке, и поздравил; пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул водовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти.

Анна Акимовна ходила по комнатам, а за нею весь штат: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марфа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнувшая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс, и при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты.

— Ты, Анютинька, будь милостива ради праздни-

ка, — сказала она, отворяя дверь в кухню. — Прости его, уж бог с ним! Ну их!

Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но во хмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а всё ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне все известно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил не переставая.

— Простите, Анна Акимовна! — проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок.

— Тебя тетушка уволила, у нее и проси.

— Что тетушка? — говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. — Что там еще тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распоряжайся, а по мне их, подлецов, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боров! — крикнула она на Пантелея, не вытерпев. — Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю, а случится опять грех — не проси милости!

Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчие!» — и побежала назад. Послышались сморканье, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю около залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло... Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богаделенский батюшка, а с ним дьякон и дьячок. Надевая епитрахиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утрени, шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь, должно быть, градусов двадцать.

— Многие однако утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето, — сказал дьякон, но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе боже наш...»

Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывая и уходили.

Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие: механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и проч.,— все благообразные, в новых черных сюртуках. Всё это были молодцы, точно на подбор, каждый знал себе цену, т. е. знал, что, потеряй он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию. Развязны они были отчасти и оттого, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения, а, быть может, и оттого, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была одета простою бабой, на манер Агафьюшки, и когда Анна Акимовна бегала по двору около корпусов и все звали ее Анюткой.

Служащие кушали, говорили и посматривали с недоуменiem на Анну Акимовну: как она выросла, как похорошела! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им *ты*, угощала их непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях; и теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила:

— Отчего у вас в комнате так много часов?

— Я в починку беру,— ответил он.— Занимаюсь этак между делом, по праздникам, или когда не спится.

— Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их в починку? — спросила Анна Акимовна, смеясь.

— Что ж? Я с удовольствием,— сказал Пименов, и на лице его выразилось умиление, когда она, сама не зная зачем, отцепила от корсажа свои великолепные часики и подала ему: он молча осмотрел их и возвратил.— Что ж? Я с удовольствием,— повторил он.—

Я уже не починаю карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать исключение.

— Доктора врут,— сказал бухгалтер; все засмеялись.— Ты не верь им,— продолжал он, польщенный этим смехом.— В прошлом году, в посту, из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову, так что мозг видать было, и доктор сказал, что помрет; однако, до сих пор жив и работает, только после этой штуки заикаться стал.

— Врут-то, врут доктора, да не очень,— вздохнула тетушка.— Петр Андреич, покойничек, потерял глаза. Так же вот, как ты, день-деньской работал на заводе около горячей печки и ослеп. Глаза не любят жара. Ну, да что толковать?— встрепенулась она.— Пойдем выпьем! С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог!

Анне Акимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирует ее как филантропку, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талия высокая и брюки не модные, не широкие, но зато галстук повязан со вкусом и небрежно, и не так ярко, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает всё, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный и как ему хотелось спать, и это воспоминание почему-то растрогало ее.

Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку, ей хотелось сказать ему, чтоб он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела: как-то язык не послушался; и чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищам его подала руку.

Затем пришли ученики той школы, где она была почитательницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель,— высокий, еще безусый молодой человек с красными пятнами на лице,— заметно волнуясь, выстроил учеников в ряды; мальчики запели стройно, но резкими, неприятными голосами. Директор завода, Назарыч, лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирует и нена-

видел, сам не зная за что. Он обращался с ним высокомерно и грубо, задерживал жалованье и вмешивался в преподавание, и, чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены, пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости.

Анне Акимовне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось, по крайней мере, обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна, но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то, и когда тетушка, говоря ему *ты*, фамильярно потащила его к столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказав дать детям гостинцев, пошла к себе наверх.

— В этих праздничных порядках в сущности много жестокого, — сказала она немного погодя, как бы про себя, глядя в окно на мальчиков, как они толпою шли от дома к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. — В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные мальчишки, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться...

Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал:

— Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человек, Анна Акимовна, но так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано: бог шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано: бездна бездну призывает.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно, — сказала Анна Акимовна и пошла в другой конец залы.

Был только двенадцатый час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, луг с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение

стало уже прискучать. Анна Акимовна по-прежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего. И ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство — один лишь обман, так как она лишняя на этом свете, никому она не нужна, никто ее не любит. Она прошлась по всем комнатам, напевая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себе думаете, — сказала она и вздохнула. — Право, за это даже бог накажет.

— Вы о чем-с?

— Вы знаете, о чем. Извините, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая пора жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно, — сказала с горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нее на глазах. — Бедная девочка, мне ее так жалко! Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила: я за Машей дам приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины с походкой как у павы и почему-то непременно с длинною шалью на плечах, а Маша худа и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительна и подчас сильно правилась Мишеньке, но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданое, то он некоторое время колебался; но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и, восхищенный, обнял Машу внизу около вешалок, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лест-

нице, видел это и с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент! Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие...

— Отчего же вы не хотите? — спрашивала Анна Акимовна. — Чего вам еще нужно?

Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови.

— Вы любите другую?

Молчание. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе. Догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез.

— Почтальоны приходили, — пробормотала она. — И там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему за чем-то прийти сегодня.

— Какая наглость! — рассердилась Анна Акимовна. — Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтоб он убирался, меня дома нет!

Послышался звонок. Это были священники из своего прихода; их всегда принимали в благородной половине, то есть наверху. Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор, потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался.

Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. Сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред ней мелькает так много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вот влюбиться бы, — думала она, потягиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло. — И от завода избавиться бы...» — мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школа... Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное,

выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова. Приказал бы ей выходить за него — вот и все. И это было бы хорошо: завод тогда попал бы в настоящие руки.

Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие, насмешливые губы и силу, страшную силу в его плечах, руках, в груди и то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики.

— Что ж? — проговорила она. — И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна! — позвал ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную.

— Как вы меня испугали! — сказала она, вздрогнув всем телом. — Что вам?

— Анна Акимовна! — повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. — Вы — моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня всё равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили. Проходу не дают!

— А как они вас дразнят?

— Говорят: Машенькин Мишенька.

— Фу! какой вздор! — возмутилась Анна Акимовна. — Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!

III

ОБЕД

Как и в прошлом году, последние приехали с визитом действительный статский советник Крылин и известный адвокат Лысевич. Приехали они, когда на дворе становилось уже темно. Крылин, старик за 60 лет, с широким ртом и с седыми бакенами около ушей, похожий лицом на рысь, был в мундире с аннинскою лентой и в белых штанах. Он долго держал руку Анны Акимовны в своих обеих руках, глядел ей пристально в лицо, шевелил губами и наконец сказал с расстановкой, в одну ноту:

— Я уважал вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался их расположением. Теперь считаю приятным

долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу... несмотря на болезнь и на значительное расстояние... И весьма рад видеть вас в добром здоровье.

Присяжный поверенный Лысевич, высокий красивый блондин, с легкою проседью в висках и бороде, отличается необыкновенно изящными манерами. Он входит с перевальцем, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводит плечами, и всё это с ленивою грацией, как застоявшийся избалованный конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат; раз даже выиграл сорок тысяч, но скрыл это от своих знакомых. Любит хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку с конопляным маслом, а в Париже, по его словам, он ел жареные немытые кишки. Говорит он складно, плавно, без запинки, и лишь из кокетства иной раз позволит себе запнуться и щёлкнуть пальцами, как бы подбирая слово. Во всё то, что ему приходится говорить на суде, он давно уже не верит или, быть может, и верит, но не придает этому никакой цены, — всё это давно уже известно, старо, обыкновенно... Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него исписаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов, и когда ему нужно бывает отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иваныч в веселую минуту из тщеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему двенадцать тысяч жалованья. Все заводские дела заключались в двух-трех мелких взысканиях, которые Лысевич поручал своим помощникам.

Анна Акимовна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультom, а свое жалованье, за которым он присылал аккуратно каждое первое число, — суровою прозой. Анне Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на шпалы, то Лысевич нажил на этой продаже больше пятнадцати тысяч и поделился с Назарычем. Узнавши об этом обмане, Анна Акимовна горько заплакала, но потом привыкла.

Поздравив и поцеловав обе руки, он смерил ее взглядом и поморщился.

— Не надо! — сказал он с искренним огорчением. — Я говорил, милая, не надо!

— Вы о чем, Виктор Николаич?

— Я говорил: не надо полнеть. В вашем роду у всех несчастная склонность к полноте. Не надо, — повторил он умоляющим голосом и поцеловал руку. — Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вот, ваше превосходительство, — обратился он к Крылину, — рекомендую: единственная в свете женщина, которую я когда-либо серьезно любил.

— Это неудивительно. Быть в ваши годы знакомым с Анной Акимовной и не любить ее — это невозможно.

— Я ее обожаю! — продолжал адвокат совершенно искренно, но со своею обычною ленивою грацией. — Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я с ней, то кажется, что она какого-то третьего пола, а я четвертого, и мы уносимся вместе в область тончайших цветовых оттенков и там сливаемся в спектр. Лучше всех определяет подобные отношения Leconte de Lisle. У него есть одно превосходное место, удивительное место.

Лысевич порывлся в одной книжке, потом в другой и, не найдя изречения, успокоился. Стали говорить о погоде, об опере, о том, что скоро приедет Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевич и, кажется, Крылин в прошлом году обедали у нее, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше нигде не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать. После некоторого колебания гости согласились.

Кроме обеда, состоящего из щей, поросенка, гуся с яблоками и проч., на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед, на случай, если кто из гостей в верхнем этаже пожелает откусать. Когда в столовой застучали посудой, Лысевич стал проявлять заметное возбуждение; он потирал руки, поводил плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали старики и какой чудесный матлот из налимов умеет готовить здешний повар, — не матлот, а откровение! Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его под руку в столовую и он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе

в рот кусочек семги, то даже замурлыкал от удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при этом становились масляными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в сметане и соус провансаль из жареных устриц и раковых шеек, сильно одобренный горькими пикулями. Самый обед состоял из праздничных, изысканных блюд, и вина были прекрасные. Мишенька прислуживал за столом с упоением. Когда он ставил на стол какое-нибудь новое кушанье и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, то делал это с важностью профессора черной магии, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокат несколько раз подумал: «Какой дурак!»

После третьего блюда Лысевич говорил, обращаясь к Анне Акимовне:

— Женщина *fin de siècle*¹, — я разумею молодую и, конечно, богатую, — должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, как все, а смаковать жизнь, а легкий разврат есть соус жизни. Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом, задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш, а главное, любите, любите и любите... На первых порах я на вашем месте завел бы себе семерых мужчин, по числу дней в неделе, и одного назвал бы Понедельником, другого — Вторником, третьего — Средой и т. д., чтобы каждый знал свой день.

Этот разговор волновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мне, наконец, сказать! — говорила она. — Для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одинока, одинока, как месяц на небе, да еще с ущербом, и, что бы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит мое мирозерцание. Я хочу от любви мира моей душе, покоя, хочу подальше от мускуса и всех там спиритизмов и

¹ конца века (франц.).

fin de siècle... одним словом,— смешалась она,— муж и дети.

— Замуж хотите? Что ж, и это можно,— согласился Лысевич.— Вам все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей... Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходит, не ждет.

— Вот возьму и выйду замуж! — сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо.— Выйду самым обыкновенным, самым пошлым образом и буду сиять от счастья. И, можете себе представить, выйду за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это не дурно. Герцогиня Джосиана полюбила Гуинплена, и это ей позволено, потому что она герцогиня; вам тоже все позволено, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра. Ни в чем себе не отказывайте. Вы должны быть так же смелы, как ваши желания. Не отставайте от них.

— Неужели меня так трудно понять? — спросила Анна Акимовна с изумлением, и глаза ее заблестели от слез.— Поймите же, у меня на руках громадное дело, две тысячи рабочих, за которых я должна ответить перед богом. Люди, которые работают на меня, слепнут и глохнут. Мне страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имеете жестокость говорить мне о каких-то неграх и... и улыбаетесь! — Анна Акимовна ударила кулаком по столу.— Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же праздного, неумелого человека, как я, было бы просто преступлением. Я не могу больше так жить,— сказала она горячо,— не могу!

— Как она хороша! — проговорил Лысевич, восхищаясь ею.— Бог мой, как она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я неправ, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то рабочим станет от этого легче? Ничуть! Нет, разврат, разврат! — сказал он решительно.— Вам необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселела. Ей нравилось, что она так хорошо говорила и

Антонъ Чеховъ.

БАБЬЕ ЦАРСТВО.

РАЗСКАЗЪ.



МОСКВА.

Типографія Высоч. утв. Т-ва И. Д. Сытина, Вавочья улица, свой домъ.
1896.

«БАБЬЕ ЦАРСТВО».

Титульный лист.

так честно и красиво мыслит, и она была уже уверена, что если бы, например, Пименов полюбил ее, то она пошла бы за него с удовольствием.

Мишенька стал наливать шампанское.

— Вы меня злите, Виктор Николаич, — сказала она, чокаясь с адвокатом. — Мне досадно, что вы даете советы, а сами совсем не знаете жизни. По-вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди! Необыкновенные люди!

— Ваш батюшка и дядюшка... я их знал и уважал, — проговорил с расстановкой Крылин, который сидел, вытянувшись, как истукан, и все время, не переставая, ел, — были люди значительного ума и... и высоких душевных качеств.

— Ладно, знаем мы эти качества! — пробормотал адвокат и попросил позволения закурить.

Когда кончился обед, Крылина увели отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Акимовной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями, всерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригинального характера; к тому же, воспоминания о некоторых его романах, которых он теперь стыдился, были у него связаны с этим фонарем. Кабинет же Анны Акимовны с голыми стенами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и, охватив колени руками, глядела на огонь и о чем-то думала, и в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая, староверская кровь.

Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он витиевато, вдохновенно, сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не двенадцать тысяч, а втрое больше, и прощала ему всё, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повестей и даже романов, и тогда два или три часа проходили незаметно, как минуты. Теперь он начал как-то кисло, расслабленным голосом и закрывши глаза.

— Я, милая, давно уж ничего не читал, — сказал он, когда она попросила его рассказать что-нибудь. — Впрочем, иногда читаю Жюль Верна.

— А я думала, что вы расскажете мне что-нибудь новенькое.

— Гм... новенькое, — сонно пробормотал Лысевич и еще глубже забился в угол дивана. — Вся новенькая литература, милая моя, для нас с вами не подходит. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ее — значило бы не признавать естественного порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевич, казалось, уснул. Но через минуту опять послышался его голос:

— Вся новенькая литература, на манер осеннего ветра в трубе, стонет и воет: «Ах, несчастный! ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме! ах, как тебе в тюрьме темно и сыро! ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения!» Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы. Из всех современных писателей я почитаю, впрочем, иногда одного Мопассана. — Лысевич открыл глаза. — Хороший писатель, превосходный писатель! — Лысевич задвигался на диване. — Удивительный художник! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художник! — Лысевич встал с дивана и поднял кверху правую руку. — Мопассан! — сказал он в восторге. — Милая, читайте Мопассана! Одна страница его даст вам больше, чем все богатства земли! Что ни строка, то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями, ваша душа точно под давлением сорока тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества неопределенного, розоватого цвета, которое, как мне кажется, если бы можно было положить его на язык, дало бы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдаёт вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопассана! Милая, я этого требую!

Лысевич замахал руками и в сильном волнении прошелся из угла в угол.

— Нет, это невозможно! — проговорил он, как бы в

отчаянии. — Последняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь к ней равнодушны. Чтоб она увлекла вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить... Надо ее пить!

После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, самум, кристалл и т. п., он наконец стал рассказывать содержание романа. Рассказывал он уже не так вычурно, но очень подробно, приводя наизусть целые описания и разговоры; действующие лица романа восхищали его, и, характеризуя их, он становился в позы, менял выражение лица и голос, как настоящий актер. От восторга он хохотал то басом, то очень тонким голоском, всплескивал руками или хватал себя за голову с таким выражением, как будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала с восхищением, хотя уже читала этот роман, и в передаче адвоката он казался ей во много раз красивее и сложнее, чем в книжке. Он обращал ее внимание на разные тонкости и подчеркивал счастливые выражения и глубокие мысли, но она видела только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, как будто была действующим лицом романа; у нее поднимало дух, и она сама, тоже хоча и всплескивая руками, думала о том, что так жить нельзя, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими, и когда в воображении вдруг вырастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее.

Кончивши рассказывать, Лысевич, изнеможенный, сел на диван.

— Какая вы славная! Какая хорошая! — начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. — Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне сорок два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадают: вы должны быть развратны, а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, не материальной, как солнечный луч, то есть, с точки зрения женщины ваших лет, я уже ни к чёрту не годен.

Он, по его словам, любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее

вне действительной жизни. Теперь он уверял себя, что Анну Акимовну он любил платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Он припал щекой к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкают маленьких детей:

— Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?

— Как? Когда?

— Я к празднику не получил от вас наградных.

Раньше Анне Акимовне ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату к праздникам посылались наградные, и теперь она находилась в затруднении: сколько ему дать? А дать было нужно, так как он ждал, хотя смотрел на нее глазами, полными любви.

— Должно быть, Назарыч забыл, — сказала она. — Но это не поздно поправить.

Вдруг она вспомнила про вчерашние полторы тысячи, которые лежали у нее теперь в спальне, в туалетном столике. И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату и он с ленивою грацией сунул их в боковой карман, то всё это произошло как-то мило и естественно. Неожиданное напоминание о наградных и эти полторы тысячи были к лицу адвокату.

— Merci, — сказал он и поцеловал ей палец.

Вошел Крылин с заспанным блаженным лицом, но уже без орденов.

Он и Лысевич посидели еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, где служит Крылин и нужно ли давать ему деньги или нет, а если нужно, то теперь дать или послать в конверте.

— Где он служит? — шепнула она Лысевичу.

— А чёрт его знает, — пробормотал адвокат, зевая.

Она сообразила, что если Крылин бывал у дяди и отца и уважал их, то не даром: очевидно, делал добрые дела на их счет, служа в каком-нибудь благотворительном учреждении. Она, прощаясь, сунула ему в руку триста рублей; он как бы изумился и минуту молча смотрел на нее оловянными глазами, но потом как бы понял и сказал:

— Но квитанцию, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше нового года.

Лысевич совсем уже раскис и отяжелел и шатался, когда Мишенька надевал на него шубу. А спускаясь вниз, он имел вид совершенно расслабленного, и видно было, что как только он сядет в сани, то уснет тотчас же.

— Ваше превосходительство, — сказал он Крылину томно, останавливаясь среди лестницы, — не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконец, обращаетесь в тончайшую проволоку? Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видела, как оба они дали Мишеньке по бумажке.

— Не забывайте! До свиданья! — крикнула она им и побежала к себе в спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз. И когда бежала по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить.

IV

ВЕЧЕР

Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски, и от солонины, очень жирной и вкусной на вид, валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности.

— Ох, матушки! — охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. — Испугала до смерти!

В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась; это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют уже никакой власти и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением: она напевала, а за столом грех цеть.

— Матушка наша, красавица, картина писаная! — начала слащаво причитывать Агафьюшка. — Алмаз наш драгоценный!.. Народу-то, народу нынче приезжало нашу королевну глядеть — господи, твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я в окно глядела-глядела, считала-считала, да и бросила.

— А по мне, они хоть бы вовсе не ездили, подлецы! — сказала тетушка; она с грустью поглядела на племянницу и добавила: — Только время провели сиротке моей бедной.

Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусилла солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченные яблоки и крыжовник. И это тоже понравилось. Но только одно было неприятно: от изразцовой печки веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом.

— Садись и ты... чего там! — сказала тетушка кухарке.

Агафьюшка вздохнула и села за стол; перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Анне Акимовне стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки, веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно, и прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди бога не боятся, но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иванович и Варварушка — оба святой жизни — и бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом; она

спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был, из заводских, и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава богу, через два года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником: войдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше — к корпусам; мужчина ничего себе, видный...

От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж, захотелось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояние отдала бы, только знать бы, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скупает по ней; и мысль об этой близости, восхитительной, невыразимой на словах, волновала ее душу. И инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди, и она верила и, откинувшись на спинку стула (у нее распустились волосы при этом), стала смеяться, а глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспринципный смех.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша, или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лет пятидесяти, в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком; глаза у нее были хитрые, ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали Жужелицей.

Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом «Рождество твое», потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом.

— С праздничком! — сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. — Насилу, насилу добралась до вас, благодетели мои. — Она поцеловала в плечо тетюшку. — Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. «Останься да

останься, Спиридоновна», — ан, и не видала, как вечер настал.

Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги.

Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька с снисходительною улыбкой. Первая вышла в короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики, или «тютьки», что вызвало общий восторг, а Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составила еще партия: обе Маши, Варварушка и швейка Марфа Петровна, которую разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое.

Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше — девичья или вдовья.

— Девка ты красивая, здоровая, крепкая, — сказала Жужелица Анне Акимовне. — Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же делать, если никто не берет?

— А, может, дала обет остаться в девах? — продолжала Жужелица, как бы не слыша. — Что ж, хорошее дело, оставайся... Оставайся, — повторила она, внимательно и ехидно глядя себе в карты. — Так, брат, оставайся... да... Только девы, преподобные-то эти самые, разные бывают, — вздохнула она и пошла с короля. — Ох, разные, мать! Одне, действительно, блюдут себя словно монашенки и ни синь пороха, а ежели какая и согрешит часом, то измучится вся, бедная, и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то втихомолку старичков богатеньких любят. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои, властвует, кружит его, кружит, а как набрала побольше денег да выигрышных билетов, так и заколдует до смерти.

В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение.

— Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагиня моя лютая, — продолжала Жужелица, оглядывая всех с торжеством. — Тоже всё вздыхает, да всё на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть, и сама читает: «В рождестве девство сохранила еси»... В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну, а теперь уж я натешусь над ней! Натешусь вволю, алмазные!

Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась.

— Да, никто меня не берет, Спиридоновна, — сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. — Что поделаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных, а шла бы за своего брата-купца.

— Купца не нужно! — сказала тетушка и встревожилась. — Спаси, царица небесная! Благородный деньги твои промотает, да зато жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет, а сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекает, деревенщина!.. Выходи за благородного.

Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орехов, и красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь в доме купца, пойду в богадельню!

— Тш... Тише! — крикнула Жужелица; когда все утихло, она прищурила один глаз и сказала: — Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замуж по-настоящему, как все, тебе не к чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева; но и в старых девках оставаться как будто, детка, не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалищенького и простоватенького человечка, примешь ты для видимости закон и тогда — гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь там тысячу пять или десять, и пусть идет, откуда пришел, а ты дома сама себе госпожа, — кого хочешь, того любишь, и ни-

кто не может тебя осудить. И люби ты тогда своих благородных да образованных. Эх, не жизнь, а масляница! — Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула: — Гуляй, Малашка!

— А грех! — сказала тетушка.

— Ну, грех, — усмехнулась Жужелица. — Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать — грех, это точно, а любить милого дружка даже очень не грех. Да и что там, право! Никакого греха нет! Всё это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю — грех да грех, а сама и не знаю, почему грех. — Жужелица выпила наливки и крикнула. — Гуляй, Малашка! — сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой. — Тридцать лет, бабочки, думала всё о грехах, да боялась, а теперь вижу: прозевала, проворонила! Эх, дура я, дура! — вздохнула она. — Бабий век — короткий век, и каждым денечком дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет тридцать пять или сорок, только и веку твоего, пиши конец. Не слушай, брат, никого, живи, гуляй до сорока, а потом успеешь отомолить, — хватит времени поклонны бить, да саваны шить. Богу свечка, валяй и чёрту кочергу! Валяй всё в одно место! Ну, так как же? Хочешь облагодетельствовать человечка?

— Хочу, — засмеялась Анна Акимовна. — Мне теперь всё равно, я бы за простого пошла.

— Что ж, и хорошо бы! Ух, какого бы ты тогда себе молодца выбрала! — Жужелица зажмурилась и покачала головой. — Ух!

— Я и сама ей говорю: благородных не дожدهшься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще, — сказала тетушка. — По крайности, взяли бы мы себе в дом хозяина. А мало ли хороших людей? Хоть наших заводских взять. Все тверезые, степенные...

— А еще бы! — согласилась Жужелица. — Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинные, — сказала тетушка серьезно. — Сухой очень. Виду нет.

В толпе около дверей засмеялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова? — спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей богу?

— Сватай! — сказала решительно Анна Акимовна и ударила по столу. — Честное слово пойду!

— Ей богу?

Анне Акимовне вдруг стало стыдно, что у нее горят щеки и что на нее все смотрят, она смешала на столе карты и побежала из комнаты, и когда бежала по лестнице и потом пришла наверх и села в гостиной у рояля, из нижнего этажа доносился гул, будто море шумело; вероятно, говорили про нее и про Пименова и, быть может, пользуясь ее отсутствием, Жужелица обижала Варварушку и уж, конечно, не стеснялась в выражениях.

Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий, — играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило в голову: не поехать ли сейчас в город к кому-нибудь, например, хоть к Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе? Ей хотелось говорить безумолку, смеяться, дурачиться, но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом, во всех комнатах верхнего этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый, необработанный голос, и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шепотом романс за романсом, всё больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой, со слезами: «Пименов, снимите с меня эту тяжесть!» И тогда, точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже не доносился гул: должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошла по всем комнатам, легла на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным, едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином; в другом — кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кѳго-то взятку в тысячу рублей; в третьем ее бранили за бесчеловечность.

Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов, потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала, и ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать в воображении Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двенадцать. Вошел Мишенька, уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег две свечи; затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем.

— Что вы смеетесь? — спросила она, заметив на его лице улыбку.

— Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова... — сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. — Посадить бы его давеча обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху. — У Мишеньки задрожали плечи от смеха. — Он и вилки, небось, держать не умеет.

Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, — вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном,

преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить; стыд за свои мысли и поступки, и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к своему малодушию смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону.

— Вечером опять приходил чиновник Чаликов,— сказала она, зевая,— да я не посмела докладывать. Уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет.

— Что ему нужно от меня? — рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой об пол.— Я не хочу его видеть! Не хочу!

Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо!

Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине, то всё дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого, как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что всё уже для нее погибло и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.

Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением, потом и сама заплакала и припала лицом к ее руке; и без слов было понятно, отчего ей так горько.

— Дуры мы с тобой,— говорила Анна Акимовна, плача и смеясь.— Дуры мы! Ах, какие мы дуры!

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеечем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда.

И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придирается, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое

малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, всё беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяжными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмутив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так... — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуэнца, а может и горячка. Теперь

по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич,— сказал Яков, улыбаясь из вежливости,— и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому на-секоному жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим досвиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. Досвиданция.

— Сделайте такую милость,— взмолился Яков.— Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай...— сказал он Якову, хмурясь.— Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьетки! Заставьте вечно бога молить!

Фельдшер вспыл и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспыл и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьетки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут

десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна богослова, послезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а навверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».

И вздохнул. Старуха всё время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели... под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится, — сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять,

что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за всё это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и всё это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ищу, дяденька! — сказал он. — Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам сразу приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели сразу!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но вы пожалуйста потише, а то вы у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза

идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крикали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь всё ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы всё вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не

осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Всё на этом свете пропало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съёжился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая. — Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жак хорошего человека... И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу... — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо, — ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливым лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко,

с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полупубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад,— сказал студент, подходя к костру.— Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой,— сказала она.— Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?

— Была,— ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное,

шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Сту-

дент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

— Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергей Васильич, держите его всё время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала всё время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старше, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней...»

Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, — тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. — Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюся была такой же страстной лошадицей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно всё равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду

росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешили около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

— Вы изволили на каникулы приехать?

— Нет, я здесь постоянно живу, — ответил Никитин. — Я служу преподавателем в гимназии.

— Неужели? — удивился доктор. — Так молоды и уже учительствуете?

— Где же молод? Мне 26 лет... Слава тебе господи.

— У вас и борода и усы, но всё же на вид вам нельзя дать больше 22—23 лет. Как вы моложавы!

«Что за свинство! — подумал Никитин. — И этот считает меня молокососом!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоварен-

ного завода — всё сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

— Это хамство! — говорил он. — Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, всё нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за всё время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «ррр... нга-нга-нга-нга... ррр ...»

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прегнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обе-

дом начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою де-вой — значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придирается к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»

Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас».

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Арррмейская острота!»

И это «ррр»... выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «ррр... нга-нга-нга»...

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

— Позвольте, Сергей Васильич,— перебила его Варя.— Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам VIII класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе,— угрюмо ответил Никитин.

— Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

— А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».

— Никакой не вижу тут психологии,— вздохнула Варя.— Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Никитин.— Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во всё горло,— это, по-вашему, психология.

— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутинной, устоявшейся или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

— Это хамство! — доносилось с другого конца стола.— Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю! — крикнул Никитин.— Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.

«Ррр... нга-нга-нга»... — послышалось из-под стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя.— Сознайтесь!

Но пришли гости-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадрили с *grand-rond*, которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.

Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Ше-

балдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.

После *grand-rond* он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:

— Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?

— Нет, не читал.

Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».

Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.

— У кого на руках эта карта, — начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды, — тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.

Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик...

— Не так страстно! — кричал Шелестов, плача от смеха. — Не так страстно!

Никитину выпала судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его

с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.

— Я знаю ваши грехи,— начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль.— Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!

— Это плоско,— сказала Варя и ушла.

Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюся.

— Мария Годфруа,— сказал он и не узнал своего голоса — так он был нежен и мягок,— в чем вы грешны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И все повалили в столовую.

За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась... Для него это было и приятно, и мучительно.

«Зачем она на меня так смотрит? — мучился он.— Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»

Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергей Васильич! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вот что...— проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать.— Вот что... Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.

«Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу. — Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»

Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома слышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попури из русских песен...

Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории — знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.

— Какая сегодня великолепная погода! — сказал Никитин, входя к нему. — Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.

Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимой нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и всё-таки тепло, а зимой — двойные рамы, и всё-таки холодно.

Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи! — сказал он, поднимаясь и зевая. — Хотел было я рассказать вам нечто романтическое, меня касающееся, но ведь вы — география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к чёрту с вашими битвами и с Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей... Все письмо начнет так: милая моя крыса...

— Именно, милая моя крыса, — сказал он и засмеялся.

Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: придет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разделется и — бултых в постель! А она проснется и — о радость!

Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»

Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.

— Вставайте, пора на службу, — говорил он. — А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись...

И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.

Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны

мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.

«Уж пронюхали, подлецы... — подумал Никитин. — И откуда они всё знают?»

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:

— Ура-а-а! Шелестова!!

От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда...

Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой... Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками... А вот, в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке...

А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок...

«Скучно, скучно, скучно!»

В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию, на педагогический совет — составлять расписание устных экзаменов для IV и VI классов!

Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделью и месяц тому назад всякий раз, собираясь объяснить, он готовил целую речь с предисловием и с заклю-

чением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове всё перепуталось, и он только знал, что сегодня он *наверное* объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.

«Я приглашу ее в сад, — обдумывал он, — немножко погуляю и объяснюсь»...

В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную... Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.

Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна — в детскую, другая — в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкаф; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

— Пойдите... — остановил ее Никитин. — Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Он запыхался, не знал что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.

— Позвольте... — продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. — Мне нужно вам кое-что сказать... Только... здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вот и всё...

Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.

— Честное слово, уверяю вас... — сказал он тихо. — Манюся, честное слово...

Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.

Потом оба побежали в сад.

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, всё же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина... Много было и цветов.

Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.

Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам *grand-tond*, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:

— Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно...

После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:

— Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?

— Я вовсе не молод! — обиделся Никитин. — Мне 27-й год.

— Папа, коновал пришел! — крикнула из другой комнаты Варя.

И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:

— Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.

Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.

— Не ложитесь, голубчик! — сказал ему Никитин, задыхаясь. — Пойдите, не ложитесь!

Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:

— Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.

— Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. — Очень, очень молода!

— Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории — плохо. И в классе была невнимательна.

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.

— Голубчик, отчего вы не женитесь? — спросил он. — Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варю не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?

Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?

— Женитьба — шаг серьезный, — сказал Ипполит Ипполитыч, подумав. — Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.

И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастье, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.

«Надо будет прочесть... — подумал он. — Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к чёрту!»

И утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.

Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку...

II

«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:

— Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.

Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани — штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я — учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избран. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протоиерей, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, всё лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.

После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Маню-

сю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:

— Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь всё таким же розаном.

Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:

— До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.

Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви, я потягивался, развалился у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали ура, и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.

— Никто не может понять! — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. — Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!

Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и всё еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадрили, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой...

Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове всё перепуталось, стало

неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы всё сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».

Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеньева дня — классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своему новому дому и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом — всё у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:

— Как хорошо!

Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Инполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:

— Без пищи люди не могут существовать.

Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной,

по необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переставая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребнице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и всё это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:

— Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!

Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:

— Это съедят в кухне.

Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умирительно.

Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.

— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, — говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность — всё

это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью...

В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:

— Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...

В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святой боже». В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:

— Дай бог всякому так помереть.

Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:

«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.

Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может, оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе...»

Затем во весь учебный сезон не было никаких особых событий.

Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещение, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему, и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых

он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

— Ррр... нга-нга-нга...

Как-то Великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двенадцать рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.

— Фуй, как нехорошо! — проговорил он, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и всё счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и в сущности было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же всё это имело какое-то странное, неопределенное значение.

— Фуй, как нехорошо! — повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.

Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.

— Мармеладу наелась,— сказала она и засмеялась.— Ты у наших был? — спросила она, помолчав.
— Нет, не был.

Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.

— Вечером заходила Варя,— сказала Маня, садясь.— Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.

— Я и теперь считаю его порядочным.

— А зачем он так дурно поступил с Варей?

— Почему же дурно? — спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину.— Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.

— А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.

Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живет ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:

— Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустили!

Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое

когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розан.

— Розан, — пробормотал он и засмеялся.

В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:

— Ррр... нга-нга-нга...

Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

— Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?

— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.

— Мило.

И через минуту опять повторил:

— Мило.

Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.

«Какой вздор! — успокаивал он себя. — Ты — педагог, работаешь на благороднейшем поприще... Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не пужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, всё идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что всё это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой...

И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и

уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.

На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.

Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.

— Это хамство! — говорил он. — Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.

Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей падеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости... Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые жепщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плахтами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу, курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, соседней с кабинетом, накрывали на стол.

— Как хотите-с, — говорил Рашевич, — с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость — не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы — юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете оболящать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, — не пустые звуки.

Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, *rinse-nez* не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове «дарвинист» молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туловищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длинная тень его походила на ножницы.

Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и оригинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв мыслей. Следовательно был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своим сердечным отношением к нему и к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный, бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери — единственные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удовольствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он построит свою Жению за хорошего человека и как потом все заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не внесены уже за два срока, и разных педомок и пеней скопилось больше двух тысяч!

— Для меня не подлежит сомнению, — продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, — что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушие охраняются в сыне путем воспитания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовой особенностью и не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не жепились чёрт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение во

всей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились всё совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего, мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право, понятия о чести, долге... Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаяю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству...

Рашевич остановился, расчесывая бороду обеими руками; остановилась на стене и его тень, похожая на пожницы.

— Возьмите вы нашу матушку-Расею, — продолжал он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. — Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, литераторов, композиторов... Кто они? Всё это, дорогой мой, были представители белой кости. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой — не дьячковские дети-с!

— Гончаров был купец, — сказал Мейер.

— Что же! Исключения только подтверждают правило. Да и насчет гениальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставим имена и вернемся к фактам. Что вы, например, скажете, сударь мой, насчет такого красноречивого факта: как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали — в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд, то, заметьте, за высшие человеческие права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой орде. В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких

заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось камня на камне, всё слопа́л бы чума́зый. Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чума́зый? — Рашевич сделал таинственное, испуганное лицо и продолжал: — Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность пропикнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку. Всех этих нынешних, которые выдают себя за передовых и честных людей, вы можете купить за рубль-целковый, и современный интеллигент отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите с ним, то должны покрепче держаться за карман, а то вытащит бумажник. — Рашевич подмигнул и захохотал. — Ей-богу, вытащит! — проговорил он радостно тонким голоском. — А нравственность? Нравственность какова? — Рашевич оглянулся на дверь. — Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадывает и покидает мужа, — это что, пустяки! Нынче, батенька, двенадцатилетняя девчонка норовит уже иметь любовника, и все эти любительские спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцепить богатого кулака и пойти к нему на содержание... Матери продают своих дочерей, а у мужей прямо так и спрашивают, по какой цене продаются их жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейер, всё время молчавший и сидевший неподвижно, вдруг поднялся с дивана и посмотрел на часы.

— Виноват, Павел Ильич, — сказал он, — мне уже пора домой.

Но Павел Ильич, который еще не кончил говорить, обнял его и, насильно усаживая на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И Мейер опять сидел и слушал, но уже посматривал на Рашевича с недоумением и тревогой, как будто только теперь начинал понимать его. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, вошла горничная и сказала, что барышни просят ужинать, он легко вздохнул и первый вышел из кабинета.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

На добрую память

Александръ Семенову
Грузинскому Лазареву
Соч. Антона Чехова.

от автора

9/12 23
XII

А. Чехов

МОСКВА.

Типографія Высочайше утвержд. Т-ва И. Д. Сытина.

Валовая улица, свой домъ.

1894.

«ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ».

Титульный лист с дарственной надписью А. С. ЛАЗАРЕВУ
(Грузинскому)

В соседней комнате за столом сидели дочери Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-х лет, обе черноглазые, очень бледные, одинакового роста. Женя с распущенными волосами, а Ираида с высокою прической. Перед тем, как есть, обе выпили по рюмке горькой настойки, с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и обе сконфузились и захохотали.

— Не шалите, девочки, — сказал Рашевич.

Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а с отцом и гостем по-русски. Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать, как именно в эту пору, в августе, они в прежние годы уезжали в институт и как это было весело. Теперь же ехать некуда и приходится жить в усадьбе безвыездно всё лето и зиму. Какая скука!

— Не шалите, девочки, — повторил Рашевич.

Ему самому хотелось говорить. Если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность.

— Такие-то дела, дорогой мой... — начал он опять, ласково глядя на следователя. — Мы по доброте и простоте и из страха, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидели бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами...

После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты... Но отец всё продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской и досадой смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дорожке и важнее, чем счастье дочерей. Мейер — единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал — они это знали — ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг.

— Подобно тому, как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно,

должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага,— продолжал Рашевич тоном проповедника, поднимая вверх правую руку.— Пусть я явлюсь перед чумазым не как Павел Ильич, а как грозный и сильный Ричард Львиное Сердце. Перестанем же деликатничать с ним, довольно! Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! — продолжал Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем.— В харю! В харю!

— Я не могу этого,— проговорил Мейер, отворачиваясь.

— Почему же? — живо спросил Рашевич, чувствуя интересный и продолжительный спор.— Почему же?

— Потому, что я сам мещанин.

Сказавши это, Мейер покраснел, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестели на глазах.

— Мой отец был простым рабочим,— добавил он грубым, отрывистым голосом,— но я в этом не вижу ничего дурного.

Рашевич страшно смутился и, ошеломленный, точно пойманный на месте преступления, растерянно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и нагнулись к нотам; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в молчании, и стало невыносимо совестно, когда вдруг как-то болезненно, натянуто и некстати прозвучали в воздухе слова:

— Да, я мещанин и горжусь этим.

Затем Мейер, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошел в переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вам будет сегодня темненько ехать,— бормотал Рашевич, идя за ним.— Луна теперь поздно восходит.

Оба стояли на крыльце в потемках и ждали, когда подадут лошадей. Было прохладно.

— Звезда упала...— проговорил Мейер, кутаясь в пальто.

— В августе их много падает.

Когда подали лошадей, Рашевич поглядел внимательно на небо и сказал со вздохом:

— Явление, достойное пера Фламариона...

Проводив гостя, он прошелся по саду, жестикулируя в потемках руками и не желая верить, что только что произошло такое странное, глупое недоразумение. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первых, с его стороны было крайне неосторожно и бестактно поднимать этот проклятый разговор о белой кости, не узнавши предварительно, с кем он имеет дело; нечто подобное с ним уже случалось раньше; как-то в вагоне он стал бранить немцев, и потом оказалось, что все его собеседники — немцы. Во-вторых, он чувствовал, что Мейер уже больше не придет к нему. Эти интеллигенты, вышедшие из народа, болезненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Нехорошо, плохо... — бормотал Рашевич, отплеываясь; ему было неловко и противно, как будто он поел мыла. — Ах, плохо!

В окно из сада видно было, как в гостиной около рояля Женья с распущенными волосами, очень бледная, испуганная, говорила о чем-то быстро-быстро... Ираида ходила из угла в угол, задумавшись; но вот и она заговорила, тоже быстро, с негодующим лицом. Говорили обе разом. Не было слышно ни одного слова, но Рашевич догадывался, о чем они говорили. Женья, вероятно, роптала на то, что отец своими разговорами отводил от дома всех порядочных людей и сегодня отнял у них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь уже у бедного молодого человека во всем уезде нет места, где он мог бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она с отчаянием поднимала вверх руки, говорила, вероятно, на тему о скучной жизни, о ступенной молодости...

Придя к себе в комнату, Рашевич сел на кровать и стал медленно раздеваться. Состояние духа было угнетенное, и томило всё то же чувство, как будто он поел мыла. Было стыдно. Раздевшись, он поглядел на свои длинные жилистые старческие ноги и вспомнил, что в уезде его прозвали жабой и что после всякого длинного разговора ему бывало стыдно. Как-то так, роковым образом выходило, что начинал он мягко, ласково, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, Дон-Кихотом, но незаметно для самого себя мало-помалу переходил на брань и клевету и, что удивительнее всего, самым искренним образом

критиковал науку, искусства и нравы, хотя вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки, не был нигде дальше губернского города и, в сущности, не знал, что происходит на белом свете. Если же он садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и в письме выходила брань. И всё это странно потому, что на самом деле он чувствительный, слезливый человек. Уж не сидит ли в нем нечистый дух, который ненавидит и клеветает в нем помимо его воли?

— Нехорошо... — вздыхал он, лежа под одеялом. — Нехорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохот и крик, как будто за кем-то гнались: это с Женей сделалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору несколько раз пробежала босая горничная...

— Экая история, господи... — бормотал Рашевич, вздыхая и поворачиваясь с боку на бок. — Нехорошо!

Во сне давил его кошмар. Приснилось ему, будто сам он, голый, высокий, как жираф, стоит среди комнаты и говорит, тыча перед собой пальцем:

— В харю! В харю! В харю!

Он проснулся в испуге и прежде всего вспомнил, что вчера произошло недоразумение и что Мейер, конечно, уже больше не приедет. Вспомнил он также, что надо проценты платить в банк, дочерей замуж выдавать, надо есть, пить, а тут болезни, старость, неприятности, скоро зима, дров нет...

Был уже десятый час утра. Рашевич медленно оделся, напился чаю и съел два больших ломтя хлеба с маслом. Дочери не вышли к чаю; они не хотели встречаться с ним, и это оскорбляло его. Он полежал у себя в кабинете на диване, потом сел за стол и принялся писать дочерям письмо. Рука у него дрожала и чесались глаза. Он писал о том, что он уже стар, никому не нужен и что его никто не любит, и просил дочерей забыть о нем и, когда он умрет, похоронить его в простом сосновом гробе, без церемоний, или послать его труп в Харьков, в анатомический театр. Он чувствовал, что каждая его строчка дышит злобой и комедиантством, но остановиться уже не мог и всё писал, писал...

— Жаба! — вдруг послышалось из соседней комнаты; это был голос старшей дочери, негодующий, пипящий голос. — Жаба!

— Жаба! — повторила, как эхо, младшая. — Жаба!

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

В оранжерее графов Н. происходила распродажа цветов. Покупателей было немного: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том, о сём. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно.

Укладкой растений распоряжался сам садовник, Михаил Карлович, почтенный старик, с полным бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. Он всё время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русский и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене.

Были у него слабости, но невинные; так, он называл себя старшим садовником, хотя младших не было; выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное; он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием.

— Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй,— сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой.— На прошлой неделе его судили в городе за грабеж и оправдали. Признали его душевнобольным, а между тем, взгляните на рожу, он здоровехонек. В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя всё болезненным со-

стоянием и аффектами, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: «В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока».

— Это верно, верно,— согласился купец.— Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиков.

Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

— Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят *человеку*, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта *вера в человека* сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.

— Мысль хорошая,— сказал я.

— Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда,— сказал садовник и улыбнулся.— Мне рассказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца, отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так классично.

Но мы попросили его рассказывать и не стесняться грубостью русского языка. Он, очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал:

— В одном маленьком городке поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томсон или Вильсон,— ну, это всё равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная: он лечил людей. Он был всегда угрюм и несообщителен и говорил только,

когда этого требовала его профессия. Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства далее молчаливого поклона и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезней, на всё же остальное смотрели как на пошлость и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что бог наконец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живет такой замечательный человек.

— Он знает всё,— говорили они про него.

Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить: «он любит всех!» В груди этого ученого человека билось чудное, ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как детей, и не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не падал себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и, странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал.

И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые и дети, добрые и злые, честные и мошенники — одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирал дверей и окон, в полной уверенности, что нет такого вора, который решился бы обидеть его. Часто ему приходилось, по долгу врача, ходить по большим дорогам, через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он возвращался от больного, и на него напали в лесу разбойники, но, узнав его, они почтительно сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он

есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города, счастливые, что судьба послала им случай хотя чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъясляли радость.

И этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, в одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в овраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собою убийцу. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя: кто мог убить этого человека? Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так: «Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно предположить, что доктор в потемках сам упал в овраг и ушибся до смерти».

С этим мнением согласился весь город. Доктора погребли, и уже никто не говорил о насильственной смерти. Существование человека, у которого хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невероятным. Ведь и гнусность имеет свои пределы. Не так ли?

Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся, известный своею развратною жизнью, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили:

— Невероятно! Не может быть! Смотрите, как бы не вышло ошибки; ведь случается, что улики говорят неправду!

На суде убийца упорно отрицал свою вину. Всё говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная, по судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую улику, недоверчиво поглядывали на свидетелей, краснели, пили воду... Судить начали рано утром, а кончили только вечером.

— Обвиняемый! — обратился главный судья к убийце. — Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...

Главный судья хотел сказать: «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал:

— Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет бог, но, клянусь, он не виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора! Человек неспособен пасть так глубоко!

— Да, нет такого человека, — согласились прочие судьи.

— Нет! — откликнулась толпа. — Отпустите его!

Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И бог, говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек — его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека, вера, которая ведь не остается мертвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждый! А это важно.

Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений, затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой.

ВАРИАНТЫ

ПОПРЫГУНЬЯ

Варианты белового автографа (БА), журнала «Север» (С);
сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

Стр. 7.

¹⁰ Осип Степаныч Дымов / Осип Степаныч⁰ (БА)

¹⁷ рублей на пятьсот в год / рублей на семьсот в год (БА)

⁸¹ жанрист, анималист и пейзажист / пейзажист (БА); жанрист, анималист, пейзажист (С)

³² молодой человек, лет 25 / молодой человек (БА)

³⁴ за пятьсот рублей / за тысячу рублей (БА)

Стр. 8.

⁴⁻⁵ повести, пьесы и рассказы / повести и рассказы (БА);
повести и пьесы, рассказы (С)

²¹⁻²² что со своими ~~с~~наряде/что в своем венчальном платье (БА)

²³ сплошь / всплошь (БА, С)

²⁷⁻²⁸ Надо вам сказать, что отец / Надо вам сказать, отец (БА)

³⁰ дежурил около его постели / дежурил около него (БА)

³²⁻³³ Сколько самопожертвования, искреннего участия! / Столько самопожертвования! (БА, С)

Стр. 9.

¹² сплошь / всплошь (БА)

¹³ около рояля / около рояли (БА)

¹⁶⁻¹⁸ оклеила ~~с~~ грабли / развесила на стенах лубочные картины, лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, а на полках простую глиняную посуду (БА)

²⁸ у нее и Дымова / у нее и у Дымова (БА)

Стр. 10.

²⁸⁻²⁷ После: Для чего? — Ей казалось, что если бы она увидела настоящего великого человека, например, Пушкина или Глинку, то она умерла бы от наслаждения, и она надеялась, что рано или поздно она встретит такого человека. (БА)

⁸⁶ Я не понимаю их / Я не понимаю их, мама (БА, С)

Стр. 11.

⁵ к знакомым / в театр ⁰ (БА)

⁸ По средам / По субботам (БА)

⁹⁻¹⁰ не танцевали / не плясали (БА, С, ПуР₁)

³⁰⁻³¹ блюдо с устрицами ∞ сардины / длинный кусок осетрины, окорок, телятину, поросенка (БА, С)

³¹ сыр, икру / икру, сыр (БА)

⁴⁰⁻⁴¹ и продолжали говорить / и начинали говорить (БА, С, ПуР₁)

Стр. 12.

³ в постели / в бо(льнице)⁰ (БА)

⁶ платок / платочек (БА, С)

¹⁵ испугалась. Он улыбнулся и сказал / испугалась, он кротко улыбнулся и сказал (БА); испугалась. Он кротко улыбнулся и сказал (С)

³² Рябовский / пейзажист Рябовский (БА)

Стр. 13.

⁵ свою дачу / дачу (БА, С)

¹⁸ засаленная бумага / особая {?} засаленная бумага ⁰ (БА)

²⁰ и третий / а третий (БА)

³¹ от чая / от чаю (БА, С)

³⁵⁻³⁶ песелый, краснощекий Рябовский / Рябовский (БА)

Стр. 14.

² как бы ты не заболел / чтобы ты не заболел (БА, С, ПуР₁)

⁵⁻⁶ продолжала она / продолжала Ольга Ивановна (БА)

³⁰⁻³¹ постарайся, дуся, не помять ∞ я выберу / не помни, потом я выберу (БА)

³² Хорошо / Хорошо, мама (БА, С)

Стр. 15.

¹⁰ тени на воде / тени в воде (БА, С)

¹² в виду бездонного неба / бездонного неба (БА)

¹⁷ а эта чудная. единственная в жизни / а этот чудный, единственный в жизни ⁰ (БА)

²⁰ к тишине ночи / к тишине ветра ⁰ (БА)

⁴⁰ так что невольно / так что в каждом ⁰ (БА)

Стр. 16.

²⁰ я ничего не знаю / я ничего, ничего не знаю (БА, С)

³³ возьму вот и погибну / возьму и погибну (БА)

Стр. 17.

²²⁻²³ матовая, холодная на вид / матовая оттого, что в ней отражалось облачное небо, и холодная на вид (БА, С)

²⁴ хмурой / дрянной ⁰ (БА)

²⁸ вороны летали / казалось, вороны летали ⁰ (БА)

- 29 голая!» / голая!» А буксирные пароходы, которые так развлекали летом, теперь наводили на мысль, что каждый человек тоже через силу тащит.[◊] (БА)
- 35-36 *Слов:* перебирая ∞ волосы — нет (БА)
- Стр. 18.*
- 19-20 а на левом — стадо коров и гуси / а на левом дорога... (БА)
- 31 Тысячи причин / Тысяча причин (БА)
- 34 Вы всё стараетесь / Вы стараетесь[◊] (БА)
- 38 приложив руку к сердцу / приложил руку к сердцу (БА)
- Стр. 19.*
- 16 слушает Мазини / слушает Мазини в «Cavaleria rusticana»... (БА)
- 23 даже и в дурную погоду / даже в дурную погоду (БА, С)
- 35-36 по его белокурым волосам / по его волосам (БА)
- 37 вздрогнув / вздрогнул (БА)
- Стр. 20.*
- 5 теперь ужасными/теперь унижительными, ужасными[◊] (БА)
- 6 себя оскорбленной / себя глубоко оскорбленной (БА)
- 24 оставляю тебе / оставляю тебе (БА, С)
- 29 как она думала / как она подумала (БА, С)
- 36 нож / ножик[◊] (БА)
- 38 была убеждена, что / была уверена, что все[◊] (БА)
- Стр. 21.*
- 11 Сядем / Сядем, мама (БА, С)
- 21-22 чтобы ∞ с нею / чтобы оставаться с нею м(еньше)[◊] (БА)
- 28-29 то от смущения расстегивал / расстегивал[◊] (БА)
- Стр. 22.*
- 3-4 русский мужик не стонал / русский мужик не страдал (БА)
- 14-15 *Слов:* смесь пейзажа ∞ Поленова — нет (БА)
- 22 сером сюртучке с искрами / синем пиджачке (БА)
- 23-24 *Слов:* изящный ∞ с голубыми глазами — нет (БА)
- 34 минут пять / пять минут (БА)
- Стр. 23.*
- 19 чувства унижения / унижения[◊] (БА)
- 31 привыкла / привыкла, стала бесстыжей (БА, С)
- 37 Эта фраза ей так понравилась, что / Эта фраза ей очень понравилась[◊] (БА)
- 39 она всякий раз говорила / она говорила[◊] (БА)
- 43 По средам / По субботам (БА)
- Стр. 24.*
- 21 Знаешь / Знаешь, мама (БА, С)
- 30 виновато улыбнулся / улыбнулся[◊] (БА)

Стр. 25.

¹⁷ стыдно, горько / стыдно и горько (БА)

³⁸ и сегодня этюд / и сегодня, и вчера этюд (БА)

Стр. 26.

⁴¹ Пошли! / Пошли, мама! (БА, С)

Стр. 27.

³³ дифтеритные пленки / дифтеритические пленки

Стр. 28.

¹⁴ то дежурные доктора / то доктора [◊] (БА)

¹⁸ она-то и есть ∞ злодейка / а. она самая зл(о)дейка

б. она-то и есть самая главная злодейка и зачищица (БА)

²⁶ о беспокойной любви / о беспокойной, нечистой, обжорливой любви (БА, С)

³⁸⁻³⁹ в кабинете у мужа / в кабинете му(ж)а (БА)

Стр. 29.

⁸⁻⁹ нечаянно чему-то засмеялся / нечаянно тронул клавиш у рояля (БА)

⁹⁻¹⁰ прозвучал этот смех / прозвучала нота (БА)

¹⁴ Уже и сердце неважно работает. / Уже... Признак не того... не благоприятный. И сердце [плохо] не важно работает. (БА); Уже... И сердце не важно работает. (С)

²² в неубранной / на неубранной (БА, С)

²⁹⁻³⁰ Шрек, грек, врек...крек/Шрек, грек, дрек, врек...крек (БА)

³¹⁻³² Шрек, грек / Шрек, грек, дрек (БА)

Стр. 30.

³ Он / Он сел [◊] (БА)

⁴ не поняла / не поняла, в чем дело [◊] (БА)

²⁷ ухватился за простыню / и ухватился за простыню (БА, С)

³¹ кто-то / кто-то в гостиной [◊] (БА)

³⁵ в самом деле необыкновенный, редкий / редкий, необыкновенный (БА)

Стр. 31.

¹⁷ звала она его / звала она (БА)

²¹ Да что тут спрашивать? / Да что тут спрашивать, в сущности? (БА, С)

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Варианты «Петербургской газеты»

Стр. 32.

¹⁴⁻¹⁵ В том, когда один любит больше / В любви с препятствиями, когда один любит больше

³⁵ монашескую рясу / ряску

- ¹ и полюбили другую / и конечно поспешили бы полюбить
другую
³ написанного / писанного
²⁰ на рояле / на рояли
²³ Надя вспомнила / Надя глубоко вздохнула и продолжала
писать: «Вы говорили мне, чтобы я писала вам каждый
день, что я в продолжение дня читала, играла и думала.
Сегодня я читала „Накануне“ Тургенева...» Она подумала
и зачеркнула последнюю фразу. Однажды Горный сказал
ей: «Музыкальная пьеса, как и всякое художественное
произведение, должно заключать в себе идею. Если идеи
нет, то произведение ничтожно». В «Накануне» Надя не
нашла никакой идеи, и ей неловко было сознаться в этом.
Вчера она разучивала с матерью новый, очень хорошенький
романс и тоже не нашла идеи. «Сегодня я ничего не читала
и ни о чем не думала», — написала она и вспомнила
³⁵ студент Груздев тоже любит ее / Груздев тоже ее любит.

- ¹⁸ *Слов:* потом стал лаять — нет.
¹⁷⁻¹⁸ *После:* отступил в недоумении — «Надо будет рассказать
Горному про пуделя...» — подумала Надя, но тотчас же
сообразила, что разговор о пуделе будет не к лицу Гор-
ному. Но почему же этот разговор к лицу студенту Груз-
деву? Когда высокий, худощавый Груздев, расставив руки
и ноги, изображал на своем лице недоумение пуделя, то
это к нему очень шло и все громко смеялись, и в то же
время никто бы не сказал, что он не серьезный человек.
Горный же, очевидно, был серьезнее его, так как никогда
не позволял себе шуток и разных разговоров о пустяках.
Он говорил только о музыке и об умном; в его присутствии
Надя стеснялась громко смеяться, и о чем бы она ни гово-
рила с ним, ей все казалось, что она говорит о пустяках.
До Рождества она и мама делали для елки, которая устраи-
валась в приюте, балерин, испанок, паяцев и бабочек:
лица они вырезывали из модных журналов, ноги и руки
из тонкого картона, а платья делали из разноцветной па-
пиросной бумаги. Выходило очень красиво и изящно.
Испанок и бабочек в приюте приняли и поблагодарили,
балерин же возвратили, сказав, что они не подходят к дет-
ской елке, и теперь эти несчастные балерины валяются на
окнах в гостиной, в столовой и даже в кухне. Когда Надя
показала одну такую балерину Горному, то он сказал

серьезно: «Какое вы еще дитя!» — и она покраснела. Когда же Груздев увидел вчера в комнате мамы балерин, то пришел в восторг и, уходя, положил себе двух в карман.

²⁴ о рояле / о рояли

В ССЫЛКЕ

*Варианты журнала «Всемирная иллюстрация» (ВИ)
и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)*

Стр. 42.

⁴⁻⁵ находились в избе / спали в избушке (ВИ)

⁹ в избе / в избушке (ВИ)

²⁸⁻²⁹ Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. / Слышно, как хлюпает вода и как бревна и небольшие льдины стучат о баржу... (ВИ)

Стр. 42—43.

³⁵⁻¹ сказал Толковый и засмеялся / сказал Толковый (ВИ)

Стр. 43.

⁸⁻⁹ под водой / под водой ходят (ВИ)

¹⁵ А на что тебе мать и жена? / А на что тебе сдались мать и жена? (ВИ)

⁴⁷ После: проклятого.— Только один единый раз послушаешься окаянного, потом уж не отвяжешься, так всё и будешь хотеть то одного, то другого, то третьего, без конца и краю. Ежели, не дай бог, придет к тебе баба, то бес к тебе пуще привяжется и станет смущать тебя насчет денег, потом в отношении воли; домой захочешь и прочее. И всё не в пользу. Там, гляди, баба соскучится и захиреет, язви ее душу, или убежит с полюбовником, или сам ты, на ее глядя, с тоски запьешь, или за ней побежишь, и тебя поймают и потом, как сидорову козу, наказывать будут, дурака, и до каторги, гляди, не дойдешь... (ВИ)

¹⁷⁻¹⁸ Не давай ему воли. / Не давай бесу воли. (ВИ)

²¹⁻²² ни кола! Ничего не надо, язви их душу! / ни кола, язви их душу! Ничего не желаю! (ВИ)

²⁵ а дьячковский сын / я дьячковский сын (ПиР₁₋₂)

Стр. 44.

⁷ стал ездить / стал часто ездить (ВИ)

⁷⁻⁸ в почтовую контору / в почтовое отделение (ВИ)

²¹⁻²² и смеяться над ней ∞ говорю ему... / и в рожу ей плевать. А то насмеется она. Так и говорю ему, но нешто меня кто слушает? (ВИ)

²⁶ Вот через день / Ну-с, через день (ВИ)

36—37 через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» / по этой причине я должен предоставлять ей в жизни всё, что ее душа пожелает» (ВИ)

Стр. 45.

⁷ вся окутавшись / вся окутанная (ВИ)

^{9—10} Только их и видели. / Только мы их и видели. (ВИ)

Стр. 45—46.

^{39—7} А сам про себя думаю: «Ужо погоди со совсем пропал. / А сам про себя думаю: ужо погоди, и эта убежит. И убежит... Чего ей тут жить? Какая надобность? Она человек вольный, может жить, где угодно, хоть в Петербурге. Опять же Девка она шустрая и небось знает себе цену. Она убежит все непременно, а он тогда совсем пропал. (ВИ)

Стр. 46.

⁷ убежит / убежит за дочкой (ВИ)

²³ и даже на один час / и даже на час (ВИ)

⁴¹ *После:* песню.— Сквозь ворчанье реки вдруг послышался человеческий крик. Татарин прислушался. Кричали где-то далеко.

— Подава-ай! — ясно долетело до его слуха.— Карба-ас!

— Это на той стороне ревут,— сказал старик, встретившись.— Поди-ка ребят подыми... Скажи: ревут, язви их душу.

Татарин поднялся и пошел в избушку будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша, попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне всё еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить — всё равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая, неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не

стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле, и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную, унылую страну, которая иногда снится во время кошмара. Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань. На берегу стоял тарантас с опущенным верхом, заложженный в тройку; колокольчики были подвешены. В тарантасе сидела закутанная женская фигура; около лошадей ходили ямщик и какой-то человек с черной окладистой бородой, в полушубке и в бобровой шапке, по-видимому, чиновник или проезжий барин.

— Скорее, скорее! — торопил он, помогая распрягать лошадей. — Помебеливайтесь!

Лошадей распрягли и повели по мосткам на баржу, потом стащили туда и тарантас с женской фигурой. Перевозчики сели у весел, Толковый налег животом на руль, и карбас тронулся от берега. Мужчина в бобровой шапке закурил папиросу и что-то сказал по-французски. Из тарантаса ответили ему тоже по-французски.

— Скорее, Семен! На водку дадим! — сказала женская фигура.

— А я не узнал вас, барышня, — засмеялся Толковый. — Богатой вам быть. Далече изволите ехать?

— Далече, дед... Так далеко, так далеко, что даже страшно...

— Так-с... Счастливой дороги. А папенька ваш?

— Ничего, здоров, — сказала барышня и вздохнула. — А все-таки скажу, — повернулась она вдруг к мужчине, — напрасно мы письма не оставили.

— Пустое, милая... — ответил мужчина и с жаром проговорил что-то по-французски.

Когда на берегу запрягли лошадей, мужчина сел рядом с барышней и обнял ее за талию, и когда развязали ремешки под дугой и дали волю колокольчикам, тарантас со звоном тронулся с места, барышня оглянулась и крикнула:

— Прощай, дед. Больше уже никогда не увидимся! Дед засмеялся и покачал головой.

— Легка на помине,— сказал он татарину, когда звонки стали затихать.— Это дочка Василия Сергеича, про которую я тебе давеча рассказывал. Видишь, по-моему история выходит. Как по писаному... Да... Я словно сова — накликал...

Перевозчики ушли в избушку спать, а Толковый и татарин опять сели у костра.

— Уехала...— сказал старик, помолчав, и покрутил головой.— Девка выросла, поняла, какая ей цена. Ишь, какого бородатого себе подцепила! Молодчина девка... И то подумать: за каким лешим тут ей жить? Отец отцом, да и об себе вспомнить надо. (ВИ)

Стр. 46—47.

⁴²⁻⁴ Что ей за радость ∞ духи да помада. / Что ей за радость с отцом-то? Он любит, не надышится, это точно, но, брат, пальца в рот не клади ему: строгий, крутой старик. А молодым девкам не нужна строгость... (ВИ)

Стр. 47.

⁶ А? Пойду, брат... / А? Пойду... (ВИ)

²² пойти в избушку / следовало пойти в избушку (ВИ)

²⁴⁻²⁵ но всё же можно хоть костер развести / но все-таки можно костер развести (ВИ)

Стр. 48.

⁵ Волга? / Это Волга... (ВИ)

⁸⁻¹⁰ Татарин очнулся ∞ на ту сторону. / Татарин очнулся от забытья и пошел будить товарищей. Немного погодя он опять уже сидел в барже и работал веслом. (ВИ)

¹⁰⁻⁴⁰ Текста: Надевая на ходу ∞ ударилась о пристань.— нет. (ВИ) Ср. выше в вариантах к стр. 46, строке 41.

Стр. 49.

⁷ он сказал / он спросил (ВИ)

⁸⁻⁹ Спешу в Анастасьевку ∞ назначили. / Тут должна была проехать ночью моя дочь... В каком часу она была тут?

— Должно, часа в два, а может и раньше. Часов у нас нет, Василий Сергеич... (ВИ)

¹¹ Василием Сергеичем / Василием Сергеевичем

²⁷ недельки с две / недельки две (ПиР₁₋₂)

³³⁻³⁶ Вот, за доктором поскакал ∞ грешного! / Всё выходит, как по писаному! — сказал Семен, весело смеясь.— Как говорил, так и вышло, язви его душу! Вот поскакал догонять, глупый человек... Ну да, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост! Экие чудачки, господа, прости меня грешного! (ВИ)

СОСЕДИ

Варианты журнала «Книжки Недели» (КН)

и сборника «Повести и рассказы» (ПуР₁₋₂)

Стр. 54.

² Петр Михайлыч Ивашин / Петр Михайлович¹ Капшицев²

¹⁷ была тишина / была зловещая тишина (КН)

³⁴⁻³⁵ После: с письмом.— «Помоги, господи, помоги...» (КН)

Стр. 55.

⁶ не произносилось / не произносились (КН)

¹⁴⁻¹⁵ ей, очевидно, хотелось прочесть / ей мучительно хотелось прочесть (КН, ПуР₁)

²³ И разорвал письмо / И разорвал на клочки письмо (КН, ПуР₁)

Стр. 56.

⁷ Что же сделать? / Что же делать?

¹⁸ а середины нет. / а середины нет. Можно предпринять только одно — какую-нибудь глупость, но и глупости подходящей не придумаешь. (КН); а середины нет. (ПуР₁)

²²⁻²³ стеклянные звуки / стеклянные и бархатные звуки (КН)

⁴¹ Куда же уехала / Куда уехала

Стр. 64.

³⁻⁵ Но скучнее всего ∞ и отсталыми. / Но скучнее всего, что он страшно отстал в своих идеях. (КН)

⁵ кажутся у него банальными / кажутся банальными (ПуР₁₋₂)

¹⁶⁻¹⁹ Это называлось ∞ несчастным. / Это вольнодумство, по видимому, совершенно невинное и безобидное, сделало его глубоко несчастным. (КН)

Стр. 65.

¹¹ не люблю его, несмотря ни на что... / не люблю его? Ведь я тоже люблю его, несмотря ни на что... (КН)

¹⁴ во всей его жизни / во всей его либеральной жизни (КН)

²⁸⁻³⁰ Но все-таки Петр Михайлыч любил Власича ∞ противоречить ему. / Но у Петра Михайловича не хватало духа противоречить Власичу. Он боялся, что его мысли покажутся грубыми и странными и его самого сочтут отсталым, упрямым и тяжелым человеком. Иной раз приходило страстное желание облегчить душу и высказать вслух все свои мысли, но он боялся, что Власич вдруг обидится, ра-

¹ Далее так же по тексту всех публикаций.

² Далее так же по тексту журнала «Книжки Недели».

зочаруется и будет страдать, а с ним вместе разочаруются Зина и все знакомые. Он любил свои мысли и хотел быть свободным и смелым, но кто мог поручиться ему, что его мысли справедливы? Сомнения были постоянные... А тут еще несчастная фамильная черта всех Кашиных: деликатное, мягкое, ленивое сердце, — слизняк, а не сердце. Кажется, приди кто-нибудь сейчас и сядь верхом на Петра Михайловича, и он не скажет ни слова, а пожалуй, еще извинится, что у него плечи недостаточно удобны. «Ведь он причинил мне зло, испортил мне жизнь, как злейший мой враг, — думал Петр Михайлович. — В сущности, я должен был бы насильно увезти от него сестру и даже уничтожить его, а я вот смирненько сижу и хлопаю ушами. И Зина, и весь уезд думают, что я одного образа мыслей с Власичем и заодно с ним. Будут думать, что я благословил их союз... Как это скверно!» (КН); *Текста*: «Ведь он причинил мне зло ∞ скверно!» — нет. (ПиР₁₋₂)

Стр. 66.

³ Что же касается до нашего будущего / Что же касается нашего будущего (КН)

² После: прекрасной. — «Тупой человек! — подумал Петр Михайлович и проговорил: — Да, конечно...» (КН)

²³⁻¹⁴ был только фортепьян ∞ стульев / стояли только фортепьяно (фортепьян — ПиР₁₋₂) и длинный ряд старинных стульев

¹⁵ На фортепьяне / На фортепьяно (КН)

Стр. 68.

⁴⁻⁵ задать даже простого вопроса / задать даже простой вопрос (КН)

²² больше и больше / все больше и больше (КН)

Стр. 69.

⁶⁻⁷ но это ее волнует / но и это ее волнует (КН, ПиР₁)

⁹⁻¹¹ безответная и забитая ∞ поклонилась низко-низко... / безответная и забитая; она поставила на стол кувшин молока и поклонилась низко, по-монашески... (КН, ПиР₁)

²⁷ проговорила она / проговорила она своим прекрасным звенящим голосом (КН)

⁴⁰⁻⁴¹ следовало бы соблюсти... ∞ прощения, что ли... / следовало бы соблюсти декорум, попросить у нее прощения...

Стр. 70.

⁷ После: к его плечу. — и сказала тихо:

— А впрочем, ничего не знаю, не понимаю и, кажется, с ума схожу. Боюсь, что всё это выше моих сил. Ну, что

тетя? — спросила она громко. — Еще не уехала? (КН)
29-30 невыносимо жаль их / невыразимо жаль их (КН, ПиР₁)
Стр. 71.

13-14 Восходил месяц / Восходил месяц (КН, ПиР₁)

19 После: унижение. — Ведь не успеет пройти лето, как она поймет Власича и разочаруется в нем. (КН)

29-31 но ведь так или иначе ∞ напутал / но он в тысячу раз больше похож на человека, чем я (КН)

33-34 Текста: а я говорю и делаю не то ∞ я думаю — нет. (КН)

35 Он подъехал к темной фигуре / Петр Михайлович спросил себя: зачем он сегодня, как мальчишка, солгал исправнику и вообще зачем всегда говорил не то, что думал? Если бы раньше он имел привычку смело высказывать свои мысли, то Зина не ушла бы к Власичу и картины будущего не были бы теперь так мрачны. Разве не он каждый день уверял всех, что он одних убеждений с Власичем? Разве не он конфузливо отрекался от своих мыслей? И зачем, с какой стати он сегодня сказал Зине, что она права и хорошо поступила, если это не так? «Да, я сделал их счастливыми на один вечер, ну а потом что?» — думал он, подъезжая к темной фигуре (КН)

36 После: постройки. — «Что же потом? Я ехал, чтобы решить вопрос, но ведь ни один из житейских вопросов не имеет специального решения; в каждом отдельном случае нужно говорить и делать то, что думаешь, — в этом решение всех вопросов». (КН)

38-39 ехал по берегу пруда и печально глядел на воду / печально глядел на воду (КН)

43-44 Слов: отражалось ночное небо и — нет. (КН)

44-45 И казалось ему, что этого нельзя поправить. / Господи, помоги... — бормотал он растерянно. — Господи, помоги... (КН)

ПАЛАТА № 6

Варианты журнала «Русская мысль» (РМ), сборника
«Палата № 6» (Сб₁₋₇) и отдельных изданий «Посредника»
(П₁₋₃)

Стр. 73.

3 изнутри / изнутри (РМ, Сб₁₋₇)

16 После: глядит в одну точку. — В больничной книге его болезнь названа ипохондрией, на самом же деле у него прогрессивный паралич.

²³ подвижной / подвижный (РМ, П₁₋₃)

³² Мойсейка / Моисейка ¹

Стр. 75.

²² Знака главы: II — нет. (РМ)

Стр. 76.

²⁸ школы / школа (РМ)

Стр. 77.

¹¹ Знака главы: III — нет. (РМ)

²³⁻²⁴ и таким же образом / и таким же вот образом

Стр. 78.

³⁻⁴ судьи, полицейские, врачи / судьи, врачи, полицейские
(П₁₋₃)

³⁵⁻³⁶ полицейское правление / полицейское управление

⁴²⁻⁴³ улыбался и насвистывал / он улыбался и насвистывал

Стр. 79.

⁷⁻⁸ была бы совесть спокойна / была бы совесть покойна
(РМ, П₁₋₃)

Стр. 80.

²⁵ Знака главы: IV — нет. (РМ)

Стр. 81.

³⁹⁻⁴⁰ Семен Лазарич / Семен Лазарыч (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

Стр. 82.

⁸ V / II (РМ)

³⁹ или ситцевой сорочке / или в ситцевой сорочке

Стр. 83.

²⁸ хоть плохая да есть / хоть плохая есть

Стр. 85.

³⁰ Знака главы: VI — нет. (РМ)

³⁹⁻⁴⁰ для лихорадящих / для лихорадочных (РМ, Сб₁₋₇)

Стр. 86.

³ человек / человечек (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

³⁶ прискучают / прискучивает (РМ, П₁₋₃); прискучивают
(Сб₁₋₄)

Стр. 88.

⁹ мой дорогой / дорогой мой (П₁₋₃)

Стр. 89.

¹¹ не протянуть руку помощи / не протянуть руки помощи
(П₁₋₃)

¹³⁻¹⁴ А Кавказ — какой удивительный край! / Кавказ — удивительный край.

¹ Далее так по всему тексту.

Стр. 90.

²³ Знака главы: VII — нет. (РМ)

Стр. 91.

⁷ После: ровно ничего.— А, между тем, уму говорят: успокойся, твое существо, сгнившее в земле, даст жизнь другим организмам, то есть, другими словами, ты будешь ниже глупости

¹⁸⁻¹⁹ Фразы: Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем.— нет. (РМ, П₁₋₃)

¹⁹ А в настоящем / И в настоящем (РМ, П₁₋₃)

Стр. 92.

¹² холодную воду / холодной воды (П₁₋₃)

Стр. 93.

⁵ Знака главы: VIII — нет. (РМ)

⁷⁻⁸ Слов: в качестве пособия — нет.

⁹ Слов: впредь до открытия земской больницы — нет. (РМ, П₁₋₃)

⁹ земской больницы / земской лечебницы (Сб₁₋₇)

¹¹ Евгений Федорыч / Евгений Федорович ¹

¹⁶ называет / называл (П₁₋₃)

²⁰ Сергеем Сергеевичем / Сергеем Сергеевичем ¹

²³⁻²⁴ «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.» / «Новейшие рецепты венской клиники» (РМ, П₁₋₃)

Стр. 94.

¹ IX / III (РМ)

⁷ на босую ногу / на босу ногу (П₁₋₃)

¹⁴ щиколками / щиколотками (П₁₋₃)

¹⁸ щиколки / щиколотки (П₁₋₃)

Стр. 95.

⁹⁻¹⁰ за что вы сердиты? / за что?

Стр. 97.

¹ вашу жизнь / вашей жизни (П₁₋₃)

³⁷ заботы / забот (П₁₋₃)

³⁸⁻³⁹ спросил Иван Дмитрич / спросил Иван Дмитрич быстро (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

Стр. 99.

¹ X / IV (РМ)

³⁴ Чего же бояться? / Так чего же бояться? (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃); чего же бояться? (Сб₅₋₇)

Стр. 100.

⁷ протирая / протирая (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

¹ Далее так по всему тексту.

Стр. 101.

⁸ я знаю, что бог создал меня / что бог создал меня

²² до такой степени, чтобы потерять / до такой степени, что
потерять (РМ, Сб₁₋₄)

Стр. 104.

¹² Знака главы: XI — нет. (РМ)

²⁰ потом же привык / потом привык (РМ, Сб₁₋₃, П₁₋₃)

Стр. 105.

¹⁸⁻¹⁹ взглянул в палату / затлянул в палату (РМ, Сб₁₋₄,
П₁₋₃)

³⁵ XII / V

Стр. 108.

¹²⁻¹³ Слов: думал он, вспоминая ∞ исследовали его — нет,

¹⁷ И в первый раз / И первый раз

Стр. 109.

¹¹ Знака главы: XIII — нет. (РМ)

Стр. 111.

¹ Знака главы: XIV — нет. (РМ)

²⁵⁻²⁶ Падший ангел изменил богу / Мысль: падший ангел изме-
нил богу

Стр. 113.

² остаться / оставаться (РМ, П₁₋₃)

³⁴ XV / VI (РМ)

Стр. 115.

¹⁻⁷ Текста: Правда, он служил не честно ∞ составлять ис-
ключение? — нет. (П₁₋₃)

²⁴ склянку / стклянку¹ (РМ, Сб₁₋₇)

Стр. 116.

¹⁷ Знака главы: XVI — нет. (РМ)

Стр. 118.

⁴³ обратят на вас внимание / обратят на вас свое внимание
(РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

Стр. 119.

³⁶ Знака главы: XVII — нет. (РМ)

Стр. 121.

²⁷ Знака главы: XVIII — нет. (РМ)

³⁰ восходила / выходила (РМ, Сб₁₋₄, П₁₋₃)

Стр. 122.

²⁵ горчишники / горчишники ставить (П₁₋₃)

¹ Далее так по всему тексту.

³⁰ бодро и здраво рассуждал / бодр и здраво рассуждал
(РМ, Сб₁₋₄, II₁₋₃)

Стр. 125.

⁷ что Никита / как Никита (РМ, Сб₁₋₄, II₁₋₃)

³¹ Знака главы: XIX — нет. (РМ)

³⁶ искренно высказывал / и искренно высказывал (РМ,
Сб₁₋₄, II₁₋₃)

Стр. 126.

¹¹ После: как казалось — похожее на гниющую кислую
капусту и тухлые яйца

¹⁸ Стадо оленей / Стадо антилоп

¹⁹ Слов: о которых он читал вчера — нет. (РМ)

СТРАХ

Варианты газеты «Новое время» (НВ) и сб. «Палата № 6»
(Сб₁₋₇)

Стр. 127.

¹⁶ а нужно / а нужно только

Стр. 128.

⁵ считал меня / считает меня

⁶⁻⁷ играла на рояле / играла на рояли

Стр. 129.

²⁴⁻²⁵ собиралась восходить луна / собиралась восходить луна

Стр. 130.

⁶ А дальше / А много дальше (НВ, Сб₁₋₄)

Стр. 132.

³ Вдумайтесь! / Вдумайтесь: разве не страшно?

²³⁻²⁴ какого я дурака разыграл / какого дурака я разыграл

Стр. 133.

⁹⁻¹⁰ а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна / а она по-
прежнему равнодушна

¹⁰ и, должно быть, бывает рада / и бывает рада

¹¹⁻¹² Я не знаю наверное, любит она меня или нет, не знаю,
не знаю, но ведь / Но ведь

Стр. 134.

⁸⁻¹⁰ Он философствовал со мной / Он жалел, что завтра
рано утром он расстанется со мной

Стр. 135.

³¹⁻³² о чем-то думая, и смотрела / и о чем-то думая, смотрела
(НВ)

Стр. 136.

²⁷⁻²⁸ сказал я, смеясь и идя / сказал я, идя (Сб₁₋₄)

³⁶ подымался туман / поднимался туман (НВ)

Стр. 137.

³⁴ где-то в глубине души / где-то на глубине души (НВ)

⁴¹⁻⁴² После: и баста.— Мне Мария Сергеевна правилась, но я не любил ее.

Стр. 138.

¹⁹ и со странным выражением / и с выражением ужаса на лице

³⁸ не виделся / не видался

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Варианты журнала «Русская мысль» (РМ)

Стр. 139.

⁶⁻⁷ Георгием Ивановичем / Георгием Ивановичем¹

⁸ поступил я ради его отца / поступил я не ради его самого, а ради его отца

²⁹⁻³¹ Это, по всей вероятности, смешно *с* стоять около двери / Это смешно и дико, но в этом я не видел для себя ничего унижительного

⁸³⁻⁸⁴ *Слов:* а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки — нет.

Стр. 140.

⁶ у окошка / в башенке у окошка

¹² мне грезилось море, наша эскадра и корвет / мне грезились море, наша эскадра и корвет

¹⁴ когда, гуляя / когда, например, гуляя

¹⁷⁻¹⁹ музыка, и с любопытством *с* вслушивался в голоса / музыка... Похоже было на то, как будто я только впервые стал замечать, что, кроме задач, составлявших сущность моей жизни, есть еще необъятный внешний мир с его веками, бесконечностью и с миллиардами жизней в прошлом и настоящем. Я с любопытством, как мальчик, всматривался в лица, вслушивался в голоса

²¹⁻²² человеком *с* даже Орлов / любопытным зрителем

²⁴ впалые виски / впалые виски, плоские щеки

²⁷ холеное / холеное, лоцное

²⁸⁻³⁰ *Слов:* Описывать *с* к тому же — нет.

³⁰ наружность мужчин / наружность

³³ о лице и волосах / о наружности

³⁴⁻³⁵ в его наружности было *с* стоит упомянуть / в ней было нечто в высшей степени интересное для меня

¹ Далее так по всему тексту.

⁴⁰ прочесть что-нибудь / что-нибудь прочесть

⁴¹ точно шит у дикаря / как шит у дикаря, ожидающего,
что в него сейчас выстрелят

⁴² старой закваски / воспитанная годами

Стр. 140—141.

⁴³⁻¹ показывалась на лице уже безо всякого участия воли,
вероятно / показывалась на лице, вероятно, уже безо
всякого участия воли

Стр. 141.

¹³ После: с необыкновенною быстротой.— Сегодня прислали
из магазина книгу листов в двадцать, а завтра уж она
лежит обрезанная на столе, и Орлов излагает приятелям
ее содержание.

¹⁶ положительно нельзя / я положительно затрудняюсь

¹⁶⁻²⁰ То была какая-то каша с выражением глаз. / То была
какая-то каша, а не чтение. Он читал и философию, и
французские романы, и политическую экономию, и фи-
нансы, и новых поэтов, и издания «Посредника»,— и все
одинаково с тем же пролическим выражением глаз.

²⁷⁻²⁸ очевидно, не считал / значит, не считал

⁴¹⁻⁴³ Я обиделся с лучше, чем я. / У меня забилось сердце.
Я обиделся и хотел противоречить. и бог знает чем бы это
кончилось, но Поля, зная своего барина лучше, чем
я, выручила нас обоих.

Стр. 142.

⁶⁻⁸ А Орлов все был не в духе с писал письмо / Минут через
пять Орлов уже сидел за столом и быстро писал письмо
¹³⁻¹⁴ встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне / встал из-за
стола, подумал и сказал

²⁴ не вернулись / не вернулся

²⁶⁻²⁷ вяло и грубо / вяло, важно и грубо

³⁷⁻³⁸ выдающийся вперед подбородок с темные ресницы / с
выдающимся вперед подбородком и с длинными, темными
ресницами. Волосы, большой лоб, переход от лица к шее,
движения и наклон головы,— всё это было удивительно
мягко, женственно и нежно

⁴²⁻⁴³ стыдась своего недоверия / стыдась за свое недоверие
Стр. 143.

⁷ впечатление / сильное впечатление

⁸⁻⁹ вспоминал ее лицо и запах тонких духов, и мечтал / вспо-
минал ее лицо, бриллианты и запах тонких духов и мечтал
о том, как я куплю себе небольшое платье и женюсь
на соседке, у которой будут такие же мягкие, интеллигент-

- ные и изящные черты. Одним словом, сентиментальность
 19 обольстительна: румяные щеки / обольстительна. Полное
 лицо, румяные щеки
 27-29 украденных у барина ∞ такое чувство / украденных у ба-
 рина, когда я по утрам убирал с нею комнаты, возбуждали
 во мне такое чувство
 30 *После:* что-то мерзкое.— Она крада у своего барина духи,
 деньги, галстуки, перчатки, платки и даже шляпы. И у
 меня также она крада деньги, галстуки, почтовую бумагу
 и однажды даже утѣнила коробочку с пилюлями только
 35-36 потому, что на этой коробочке была хорошенькая картинка.
 не лакейская наружность и моя болезнь / робкий, застен-
 чивый вид и моя болезнь
 37-40 Я тогда сильно кашлял ∞ говорила мне / Я тогда сильно
 кашлял; днем и во время бессонницы мне удавалось удер-
 живать кашель силою воли, но во сне я заливался соловь-
 ем и мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла
 одна только деревянная перегородка. Каждое утро она
 говорила мне
 42 *После:* не у господ жить.— Чахоточный!

Стр. 144.

- 4 при мне иногда ходила в одной сорочке / она при мне
 иногда ходила в одной сорочке; в то же время, если барин
 или приказчик из магазина заставлял ее непричесанной,
 она громко взвизгивала и убегала.
 6-7 когда у меня было ∞ я спросил / когда я находился в
 прекрасном мечтательном настроении, мне захотелось
 спасти эту девушку, зажечь в ней потухшее или никогда
 не горевшее человеческое чувство,
 8 *После:* веруете? — спросил я.
 13-15 Она ничего не ответила ∞ у этой цельной / И я длинно
 заговорил о том, как грешно воровать и оскорблять. Она
 насмешливо и холодно смотрела на меня, потом, когда,
 по-видимому, мои сентенции надоели ей, вспыхнула и
 сказала сердито:

— А ты разве не ворует? Праведник тоже нашелся,
 здравствуйте...

- После этого я еще несколько раз за чаем и за обедом
 пытался наставить ее на путь истинный; но мои попытки
 привели меня только к убеждению, что у этой цельной
 20-22 при моей непривычке к ты и к постоянному лганью ∞
 мне в первую неделю / при моей застенчивости, мне в пер-
 вую неделю

²⁴ в латах. Но потом привык / в тяжелых латах. Но скоро привычка взяла свое

³⁰⁻³³ И в результате ∞ так как Орлов / И всякий день этой моей новой жизни я считал пропащим и для себя, и для моего дела. Орлов

³⁷ Сотни записок / Те сотни записок

³⁹ что я искал / что мне было нужно

⁴² давно умер. / давно уже умер. Я скучал и томился, но все-таки продолжал жить у него.

Стр. 145.

⁵ Покупал игральных карт. / Покупал три колоды карт.

⁵⁻⁶ уже с утра приготавлила / с самого утра начинала приготавливать

⁷ *Слов:* Сказать по правде — нет.

⁸⁻⁹ и четверги для нас были / и потому четверги были для нас

¹⁰ приходило / всякий раз приходило

¹¹ самым интересным / интересным

²⁴⁻³⁵ как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко / это был искуснейший и непобедимый адвокат

Стр. 146.

¹⁻² непонятно и скучно / чуждо и скучно

²⁻³ *После:* не имеет слуха.— Когда при нем заговаривали, например, о непротивлении злу, о любви или о новом романе Зола, то он стучал пальцами по столу и внимательно прислушивался к этому стуку.

⁹ должна быть охраняема / должна быть всячески охраняема

²⁴ семена ногами / семена пожками

²⁵ *После:* скалил зубы — и скулил в нос тонким голоском.

²⁵ Он был чиновником / Прежде он был, кажется, начальником отделения в одном из департаментов, в описываемое же время состоял чиновником

²⁹ до последней капли крови / до последнего атома своего тела

³⁰⁻³¹ неуверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках / неуверенный в себе и робкий до жалкости

³⁶ обещать / лгать, разыгрывать из себя шута. Кроме постоянной тоски по крестикам и командировкам, его, по-видимому, томил еще что-то вроде мании преследования, а именно страх потерять то, что уже приобретено. Он всегда был настороже и трусливо приглядывался к людям

⁴³ *После:* его испорченности, сытости — ироническому отношению к жизни.

Стр. 147.

³ ханжил. Когда / трепетал и ханжил; когда

⁴⁻⁵ и о любви с развратником / и любви, он рассказывал про себя невозможные истории и выдавал себя за утонченного и изысканного развратника, хотя втайне был груб и неуклюж, как павиан

⁵⁻⁶ *Слов:* надо заметить — нет.

⁷⁻⁸ Иной действительный статский советник из молодых / Иной солидный жуир

¹⁵⁻¹⁶ *После:* все его небылицы.— Пекарский считал его неспособным и ничтожным человеком, и за глаза отзывался о нем не иначе, как с презрением, и Орлов, по-видимому, тоже презирал его. Это, впрочем, не мешало им обоим играть с ним в карты и откровенничать в его присутствии. Да и привыкли к нему.

²⁹ *После:* опять ушел.— Он уходил, а приятели опять сажали его на новое место.

³³ с редким легкомыслием / с редким легкомыслием; чины, ордена, оклады и т. п. не интересовали его вовсе

³⁴ говорили о чинах, орденах, окладах / говорили о службе

³⁷ У него была маленькая жена / Если бы ему предложили на выбор устрицу или чин тайного советника, то он, без сомнения, взял бы первую, и не потому, что устрица лучше или полезнее, а просто ради курьеза. Он женился, когда еще был студентом, и теперь у него была маленькая жена

Стр. 148.

⁶ очень люблю. / очень люблю, она милая...

¹² в нем сидит что-то, что он, вероятно / в нем сидит какой-то талант, который он, вероятно

¹⁸ испугавшись / испугавшись непонятого чувства

¹⁸⁻¹⁹ *После:* подальше от рояля.— В такие минуты мне почему-то становилось жаль его.

²³ Стоять / С головною болью и со слабостью в ногах, какая бывала у меня вечером от лихорадки, стоять

³⁰⁻³² в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче / в ненастные зимние ночи и не испытывал такого утомления и напряжения сил

³⁵ За ужином разговоры. / За ужином продолжали свой картежный разговор и потом постепенно переходили к другим сюжетам. О, если бы вы знали, что это были за разговоры!

39 лъстивый Кукушкин / лъстивый, хихикающий Кукушкин
41-42 не знала пределов и не щадила / не знала пределов и,
подобно больному волку, который на своем пути рвет
все — и людей, и солому, и камни,— не щадила

Стр. 149.

2-3 о народе — ирония. / о народе, его страданиях, будущно-
сти — ирония...
6-7 не сказать пошлости / не состроить рожи и не сказать
пошлости
7-9 не шутили и не выпучивали ∞ говорили, что бога нет /
не шутили и я напрасно силился объяснить их иронию
то неискренностью, то великосветским бахвальством.
Они с иронией говорили, что бога нет
20-21 *Слов:* и всё смешно — нет.
22-23 переходили к веселым разговорам / переходили ко всегда
новому и неисчерпаемому вопросу о любви и женщинах.
Начинали с легких сплетен и шуток
28 Говорили, что нет верных жен / Затем мало-помалу пере-
ходили к обобщениям. По их мнению, основанному, глав-
ным образом, на опыте Орлова, нет верных жен
30 добиться ласок / добиться ласок, в самом грубом смыс-
ле этого слова
31 рядом в кабинете / в кабинете
35 который будто бы увел / который увел
36-37 поспешила написать ∞ поделиться восторгами. /
поспешила поделиться своими восторгами с подругой...
37 Говорили / Говорили за ужином

Стр. 150.

2 женился на молоденькой и все-таки / имел жестокость
жениться на молоденькой, но все-таки
3 *После:* нравов.— И все в таком роде до конца ужина.
5-6 на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне / к женщи-
нам
7 от головной боли и кашля / от кашля
13 дама с вуалью/дама под темною вуалью, в бархатной шубке
и с муфтой
26 корзину / корзину, в какой обыкновенно возят белье
28 не сказав больше ни слова / не сказавши больше ни одного
слова
30 хитрую усмешку / нехорошую усмешку
31 все время ходила / все время, пока было тихо, ходила
37 на медвежий мех / на медвежью шкуру

Стр. 151.

² молча и не спеша / молча и лениво

⁴ сообразить, и даже на спине его заметно было / сообразить. Когда уже в спальне ничего не оставалось делать, он придал своему лицу обычное проницательное выражение и, насвистывая, пошел в гостиную, но даже на спине его заметно было

⁶ смущен / все еще смущен

⁴⁰ не наяву, а во сне / до сна

Стр. 151—152.

⁴¹⁻¹ Затем она ∞ смотрела на Орлова. / Затем она рассказала по-французски историю о том, как она вчера разошлась с мужем; но чтобы передать вам эту историю так же коротко и интересно, нужно иметь ее мягкие жесты и ее глаза, которые то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Все подобные грубые и сложные истории умеют рассказывать изящно и просто только женщины.

Стр. 152.

⁷ виноватой / виноватой, ненормальной

¹³ После: затворить за собой дверь — (это была безобразная сцена!)

¹⁴⁻¹⁵ ненавидит его всею душой / она ненавидит его всею душой и давно уже отрекалась от него в своих заветных мыслях

¹⁵⁻¹⁷ высказала ему всё и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный / высказала ему всю правду. Зачем он шесть лет назад, когда она была еще девочкой, женился на ней? В эти шесть лет сначала играть в любовь и воображать, что она есть, потом обманывать друг друга и каждую минуту дрожать от мысли, что не сумеешь обмануть, краснеть оттого, что не искусно обманываешь, улыбаться, когда стыдно, и целовать, когда чувствуешь физическое отвращение, — и всё это ради чего? Ради того, чтобы быть на хорошем счету у людей, мнение которых презираешь, ради того, чтобы есть, пить, спать, наряжаться, говорить пошлости, чтобы не нарушать порядка, который установился только потому, что люди, подчинившиеся этому порядку, не знали, что такое истинная любовь, искренность, свобода... Нет, пора, пора взяться за ум и порвать навсегда с этими людьми и порядками, иначе и не увидишь, как пройдут лучшие годы и тот же кумир, которому ты служила, оглянется и насмешливо покажет тебе язык! Далее она сказала мужу, что любит

другого и живет с ним уже больше полугода, что это ее настоящий, законный

40-41 Эти слова / Эти циничные слова

41-42 заржавела от них, подумала / заржавела от них и подумала
Стр. 153.

6 без вашего ведома/без вашего ведома и портить вам жизнь

12 *Перед:* Она была утомлена — В самом деле, у нее был такой вид, как будто она несколько суток провела в вагоне.

15 *После:* на свободе — и кстати выпить немножко вина, а то в голове туман какой-то

16 боюсь, для двоих / боюсь, что для двоих

28 кровать / бронзированную кровать

39 часу в десятом / часу в десятом и потом пила чай.

Стр. 154.

1 новую жизнью / настоящим, как выпущенные из тюрьмы — свежим воздухом

1-2 сжимала себе руки ∞ и клялась / сжимала себе руки, точно была в отчаянии, что ее маленькое тело не может вместить в себе такого большого, необъятного счастья. Она уверяла, что еще никогда не была так счастлива, и клялась

11-12 разных глупцов / разных глупцов и заведомых негодяев

14 глаза у меня открылись, я победила / глаза у меня открылись, и я увидала, что бояться было нечего. Я победила

18 она говорила / она начинала вслух мечтать о своей жизни с Орловым, говорила

20-21 и продолжал / и всё еще продолжал

22-23 Он улыбался, но больше из вежливости / Он молчал и улыбался больше из вежливости

24-25 соглашался / отвечал ей

34 *Перед:* Так называемый семейный очаг — Когда Грузин или кто-нибудь другой заводил при нем разговор о кухне, детской или супружеской спальне, то он брезгливо морщился, как будто в самом деле шла речь о нечистоте, в квартире / на квартире

Стр. 155.

24-25 *Слов:* аки кедр ливанстие — нет.

31 *После:* обыкновенно.— Выражениям злорадного удовольствия не было конца.

32 послужиша / послужим

41 его музыкальная душа / его музыкальная душа, как бы она ни была изломана

Стр. 156.

⁵⁻⁷ Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было / Пекарский тоже подшучивал над Орловым и солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению и по тому, с каким вниманием он прислушивался к стуку своих пальцев, видно было ⁸ неприятна / неприятна и представляла для него трудно разрешимую загадку

⁸⁻⁹ Слов: что собственно произошло — нет.

³³ ничего не ответил / ничего не отвечал

Стр. 157.

⁶⁻⁷ Перед: Да, душа моя — Сочинители вроде Тургенева совсем сбили ее с толку. Теперь другие писатели и проповедники заговорили о греховности и ненормальности совместной жизни с мужчиной. Бедным дамам уже прискучили мужья и край света, и они ухватились за эту новость обеими руками. Как быть? Где искать спасения от ужасов брачной жизни? И тут выручила тургеневская закваска. Любовь спасает от всяких бед и решает все вопросы. Выход ясен: от мужей бежать к любимым мужчинам! ¹²⁻¹³ слышит: Vieni ∞ Хорошо! / слышит пение... Это удивительно! Замечательно! Vieni pensando a me segreta mente! — запел он и плечи у него нервно вздрогнули. — Шум моря, запах этот, образ прекрасной женщины... как хорошо! ¹⁹ мило шутит. / зло шутит, — до такой степени это казалось мне нелепым. Но вдруг в одно прекрасное утро является ко мне с корзинками, тряпками, целым ворохом юбок и тесемок — благодарю, не ожидал! Гляжу и глазам не верю. Как обухом...

²⁰ После: Все засмеялись. — Орлов подумал и тоже засмеялся.

²¹ продолжал Орлов / продолжал он

²⁷⁻²⁸ с рассуждением / с толком

³⁰⁻³¹ не мучением / а не мучением, и чтобы она не стесняла меня

³² иллюзий / всяких иллюзий

³² к женщине / к женщине, которую люблю

³³⁻³⁷ что она будет красива, увлекательна ∞ могу ли я хотеть / что застаю ее во всем блеске красоты и изящества, что она будет нарядна, весела, остроумна, увлекательна; и сам я езжу к ней только, когда бываю особенно в ударе, когда я оживлен, весел и расположен к любовным излипаниям. И нам обыкновенно всякий раз удастся обмануть друг друга настолько, что мы расстаемся в самом радуж-

ном, даже поэтическом настроении. Так-то, душа моя.
Но я не могу хотеть

Стр. 158.

⁵ личную жизнь / личную, прозаическую жизнь

⁷ уверять / уверять меня

¹⁰ находиться при мне / находиться при моей особе

¹⁴⁻¹⁵ Фразы: Помилуй, мы мыслим так различно! — нет.

²⁰⁻²¹ Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни,
и, быть может / Если любовь и мужчина составляют квинт-
эссенцию, перв ее жизни и если, быть может

²²⁻²³ бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть
только простая потребность / бессознательного, то могу
ли я убедить ее, что любовь есть сущий вздор, только
простая потребность

²⁴ одежда / одежда

²⁴⁻²⁵ После: мужья и жены плохи — или по Невскому гуляют
камелии

²⁹ злым животным. / злым животным? Ее не убедишь, что
чем развитее человек, тем он легче и проще справляется
с вопросом о любви, и что трагедии и драмы от любви бы-
вают только у варваров и животных. Одним словом, ее
не убедишь, что влечение полов друг к другу вовсе не
составляет центра человеческой жизни.

³⁴⁻³⁵ Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ / Я, по-
жалуй, скажу ей: *divorçons, madame!* (разведемся, ма-
дам!) А она

³⁶ ничего больше не осталось / ничего уже больше не оста-
лось, и будет права по-своему

⁴¹ она мила / она мила, что ни говорите

⁴² Такие женщины воображают / Я люблю иметь дело с
идеалисточками. Они воображают

Стр. 159.

² надо рассуждать / и рассуждать

¹⁴⁻¹⁵ я служу идолу, которого никогда не считал богом / и я
служу теперь варварскому богу, которого всегда трети-
ровал, как неуклюжую деревяшку

¹⁶⁻¹⁷ бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встре-
чу / бывает такое чувство, как будто я встречу

²¹ А это скверно. / А это, сударь мой, скверно.

³⁷⁻³⁸ Орлов вдруг посмотрел на часы. / Орлов не договорил
фразы и вдруг посмотрел на часы.

— Извините, господа, за невежество, — сказал он, —
но... уже второй час. Вы меня понимаете...

⁴¹ свое пальто / свое жидкое пальто на вате

Стр. 161.

¹⁻² Вскоре после этого, дня через три, Зинаида Федоровна / Вскоре после этого, дня через три, произошла отвратительная история с кошельком. Зинаида Федоровна

¹¹⁻¹² *После:* У меня даже слезы выступили.— При порядках, когда барыня заявляет вслух, что у нее пропали деньги, и неразборчиво бросает вопросительные взгляды то на одного, то на другого, наши понятия о чести для прислуги, если бы она имела их, служили бы постоянным источником страданий.

²⁷ И вдруг она / Рассказывая, она

²⁹⁻³⁰ *После:* заговорила о чем-то другом.— Мне показалось, что она только теперь в первый раз обратила внимание на Полю, а раньше не замечала ее. Потом до конца обеда она то и дело взглядывала на нее и уже не смеялась больше.

Смушение ее скоро стало мне понятно.

Стр. 162.

³³ *Перед:* Это ужасно! — Прости, но даже лучшие из вас без отвращения прикасаются к этому мясу.

³⁷ никакого отвращения / никакого унижения

⁴¹⁻⁴² я не могу иначе / я не могу быть в ином настроении

Стр. 163.

¹² *После:* она вздрагивала — и пугливо пожималась, как будто мимо нее проходила буйволица, которая могла задеть ее рогами и хвостом

²⁴ *После:* меньше воздуха.— Когда она подарила ему новую, очень дорогую чернильницу, то он для чего-то нашел нужным сказать, что настоящие мыслители не пользовались дорогими письменными приборами и писали не хуже нас, и приказал мне поставить подарок на этажерку.

²⁵ Случалось, уже / Случалось часто, что, уже

²⁷⁻²⁸ казалось тогда / казалось в таких случаях

³⁷ С видом жертвы / С видом жертвы, вздыхая и щурясь

⁴¹ *После:* что он не ушел — но встать и уйти мешали самолюбие и все то же упрямство

Стр. 164.

³² я боюсь / то я боюсь

⁴¹ холодное... / холодное, новое для меня...

Стр. 165.

²⁻⁷ Давайте? / когда вы оставите вашу службу?.. / Время проходит, а мы беспечны, ничего не предпринимаем и даже

не говорим серьезно. Живем как все: день прошел — и слава богу.

— Что же мы должны делать?

— Мало ли что? — вздохнула Зинаида Федоровна и продолжала, подумав: — Я, например, жду не дожусь, когда вы оставите вашу службу... Пора, милый.

12-14 Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. / Мои взгляды до сих пор не мешали мне состоять на службе. По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, служака, щедринский герой...

18 но все же для меня она лучше / но все-таки она лучше
Стр. 166.

8 имею на то основание / имею на то какое-нибудь основание

19 После: вдруг зарыдала — так, как будто ей внезапно перерезали самый чувствительный нерв.

Стр. 167.

3 После: и мне легко. — Теперь уж я плачу по инерции, — засмеялась она сквозь плач. — Сейчас кончу...

4 Что касается / Что же касается

13 воспоминания детства / воспоминание детства

20-21 прикасаясь к ним губами / касаясь к ним губами. На лице у него опять появилась ирония; он смеялся, дурачился и целовал руки, но все это снисходительно, будто держал на коленях капризного, избалованного ребенка.

35 После: ухватился одною рукой за косяк — а другую протянул к Орлову, как бы прося его помочь мне. Кашель был судорожный, бьющий и держал меня в согнутом положении дольше минуты.

Стр. 168.

9 когда я пишу эти строки, мою руку / когда я пишу эти строки, у меня такое состояние, как будто я до одурения накурился сигар. К тому же, вообще, пишу я холодно, и мою руку

10-11 показаться чувствительным и смешным / показаться чувствительным

14-15 не могу выразить с полной ясностью, что происходило тогда в моей душе. / не могу подобрать слов, чтобы выразить, как бы я был нежен, деликатен и поэтичен в отношениях к своим близким, если бы небо послало мне теперь семью, друзей...

17 какое я питал / которое я питал

21-22 ждал, когда наконец услышу ее голос и шаги / как маль-

чипшка, ждал, когда наконец услышу ее голос и шаги и
 увижу милое, доброе, немножко заспанное лицо
 25—26 потом ждать, когда снизу позвонит / потом несколько
 часов подряд ждать с нетерпением, когда снизу позвонит
 29 важно / важно и полно интереса
 30 влюбиться, иметь свою семью, хотелось / влюбиться в нее
 и хотелось
 38 и ночью, когда не спал. / и ночью во время бессонницы...
 38 домик... / домик, потом фантазия уносила меня в ауди-
 торию или на пароход и в океан, оттуда опять в мою дет-
 скую — и так без конца.
 39 полюбил ее / влюбился в нее

Стр. 169.

- 1 После: меня не беспокоило — в безнадежной любви я ви-
 дел бы даже особую, таинственную прелесть и лелеял бы
 в себе сладкую теплую грусть
- 6 После: в мечтах.— Но все-таки в этом моем чувстве было
 много и мучительного.
- 7—8 не перелистывая страниц / и не перелистывала страниц,
 или, положив на колени руки, задумывалась, и я по лицу
 видел, как в ней надежды и желание обмануть себя боро-
 лись с мрачными мыслями
- 8 вздрагивала / она вздрагивала
- 11—13 сделать поскорее так ∞ как это сделать? / передать ей
 в письме все то, что говорилось в четверги за ужином, но
 меня останавливала жалость, и я страдал еще больше.
- 14 она смеялась / она звонко смеялась
- 16—17 была унылая тишина / царил унылая тишина
- 18—22 Она льстила Орлову ∞ было очень тяжело, она не могла
 удержаться / Когда она льстила Орлову или, стоя перед
 ним на коленях, ласкалась, как собачонка, чтобы до-
 биться от него неискренней улыбки или поцелуя, я нена-
 видел ее. Ненавидел я ее и за то, что она, проходя мимо
 зеркала, даже когда у нее были заплаканные глаза, не
 могла удержаться
- 24 интересоваться / живо интересоваться
- 26 Она следила за модой / Она, как сама же говорила, на-
 всегда порвала с пошлым, ненавистным светом и в самом
 деле нигде не бывала, кроме магазинов и своей старой гу-
 вернантки, а между тем зорко следила за модой
- 28—36 новое платье, которое стоило четырехста рублей ∞ мне
 было досадно / новое платье, сложное по замыслу, изыс-
 канное и, по-моему, в высшей степени безвкусное; порт-

ниха уверяла, что оно прекрасно сидит и к лицу и что она сложена на редкость. Это лишнее, ненужное платье стоило четыреста рублей. Я вспоминал наших поденщиц, которые за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах, и венецианских и брюссельских кружевниц, которым платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом, и мне было стыдно, неловко, и я ненавидел Зинаиду Федоровну за то, что она, слушая портниху, краснела от удовольствия

- ³⁷ я всё извинял, всё объяснял и ждал / мне уже опять хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос, и я с нетерпением ждал

Стр. 170.

- ² засмеялся / искренно засмеялся

- ⁹⁻⁴ Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. / Курьезно, что разговорчивая Зинаида Федоровна находила удобным не говорить со мной, даже когда ей приходилось по целым дням молчать и томиться от этого. Но все-таки она благоволила ко мне и, я думаю, в случае нужды, не отказала бы мне в протекции и заступничестве.

- ⁹ казалось, что она с благодарностью / казалось, что лицо у нее оттого такое хорошее, что она с благодарностью

- ¹⁷ унижен, так это только она одна / унижен, слаб и жалок, так это только она одна, и что мне было известно, в какую страшную ловушку она попала и каким унижением подвергалась в этом доме ее любовь

- ¹⁹ спрашивал себя / с ужасом спрашивал себя

- ²² не любивший слез / трусивший слез

- ²³⁻²⁵ начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то он / начинала обижаться, спорить или умолять, и, когда походило на то, что она скоро заплачет, он

- ³⁶ без длинных волос / без длинных волос и соломенной шляпы

- ³⁷ В довершение всего / В довершение лжи и скуки

- ³⁸⁻⁴¹ В поведении его ∞ отбить у Орлова Зинаиду Федоровну. / Он держался солидно и скромно, и не похоже было на то, чтобы он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну.

- ⁴²⁻⁴³ хихикал и, желая сказать приятное, уверял / хихикал и льстил, уверяя

Стр. 171.

- ² прийти теперь / прийти

- ⁹ ревизующему какую-то губернию / ревизующему губернии

²⁶ сказал он / сказал он угрюмо

²⁸ *Перед:* Зинаида Федоровна собиралась — Я заметил, что за завтраком и обедом ему было не по себе — и грустно, и неловко; он чувствовал смущение перед самим собой, как когда-то в первый день ее приезда. И в самом деле, глядя на него, можно было подумать, что ему не хотелось уезжать из дому.

Стр. 172.

¹⁰ Но было тихо. / Но было тихо, даже ни в одной квартире гамм не играли.

¹² *После:* ждали извозчики — Ефим и Данило, фавориты Орлова, избалованные его подачками и делавшие вид, что они со своими лошадьми существуют только ради его одного. Оба были сыты, жадны и презрительно грубы со мной. Швейцар рассказывал мне, будто оба они, когда бывали свободны, катали по вечерам Полю, и за это она была их любовницей и сбывала им краденые у господ вещи. Такие люди, как Орлов, и не подозревают, какую хорошею питательною средой служат их деньги и даже их жизнь для всей этой мерзкой плесени, покрывающей половину Петербурга.

¹⁷⁻²² Как она любит! ∞ пропадает совершенно даром. / Мне припомнилось, с какою кроткою, стыдливою грацией обнимала она Орлова и как дрожал ее голос, когда она прощалась. Каждый камень находит себе дорогую оправу, и даже битое стекло считается хорошим товаром, но почему же, думал я, такая драгоценность, как любовь этой изящной, молодой, неглупой и честной женщины, играет в обиходе такую обидную роль?

³² *Перед:* Минут через пять — «Пошел проститься, должно быть», — подумал я, опять закрывая глаза.

³⁴ сердясь на мороз / пожимаясь от мороза

⁴¹ дорогой мебели / роскошной мебели

Стр. 173.

¹⁴ напрягал мысль / напрягал мысли

¹⁵ этот обман. / этот грубый, мальчишеский обман?

²⁰⁻²¹ сильного человека / сильного и интересного человека

²²⁻²⁶ тут же, чтобы обмануть женщину ∞ не ломая головы / и обман вышел бы великолепен. Но чтобы обмануть какое-нибудь ничтожество, для этого годится всё, что приходит в голову; удался обман — хорошо, не удался — можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро. Чем

меньше уважают того, кому лгут, тем меньше и дешевле
способы лжи. Я думал так и старался не понимать

³⁰ вялая от долгого лежания / вялая от долгого лежания на
спине и с беспорядочною прической, что, впрочем, шло
к ее мягким чертам

³²⁻³³ *После:* сказала она и улыбнулась — вообразив себе, ве-
роятно, то впечатление, какое произведет ее теле-
грамма.

³⁷ скучаю ужасно / скучно ужасно

Стр. 174.

³⁻⁴ принести сорочки / принести ему сорочки

¹⁰ *Перед:* Она уже нюхом чуяла — Наглость ее превысила
всякие ожидания.

¹²⁻¹⁴ тащила всё, что попадалось на глаза, — флаконы ∞ На
другой день нового года / тащила у нее всё, что попада-
лось на глаза, и я видел у нее в руках то флаконы, то че-
репаховые шпильки, или заставлял ее, когда она спарывала
метки с платков. На Новый год мы никак не могли найти
новых ботинок с пуговицами. А на другой день после этого

¹⁵ сообщила мне вполголоса, что у нее пропало / объявила
мне вполголоса, так как от волнения не могла говорить
громко, что у нее пропало

¹⁶ потом ходила / потом она ходила

²⁸ Ничего-с / Ничего

³⁴ они прикажут / прикажут они

⁴¹ Слышите? / Слышите?

— Шесть лет в людях живу и никто меня воровкой не
обзывал! — визгливо крикнула Поля и вдруг зарыдала.—
Что я у вас украдала, что? Вы видели?

Стр. 174—175.

⁴²⁻¹ и быстро / и, осунувшись,

Стр. 175.

¹ вышла / быстро вышла

³ *После:* Суп и рябчик остыли.— В укусе цикорного салата
купался край брошенной салфетки.

³ И почему-то теперь / И почему-то

⁴ бывшая на столе / украшавшая стол

¹⁶ *Перед:* Позвонила Зинаида Федоровна.— Что я мог сде-
лать? Убить эту девку? Я сумел бы это сделать, но есть
создания вроде мокриц, которых противно убивать. Го-
ворить? Но что я мог сказать ей?

¹⁶⁻¹⁷ в углу ∞ в наказание. / в углу на стуле, с таким выраже-
нием во всей фигуре, а особенно в опущенных плечах,

как будто ее в наказание посадили в угол; глаза у нее были большие, как у молодой козы.

²⁵ *Слов:* должен признаться — нет.

²⁹ носил телеграммы я / я носил ее телеграммы

³⁴ *После:* с какой-нибудь станции.— Ведь он же не тупой человек и, вероятно, знает, в каком она состоянии.

³⁷ Но напрасно мы ожидали / Но я ожидал тоже напрасно
³⁸⁻³⁹ с тем, чтобы рассказать / с крепким намерением рассказать

⁴¹⁻⁴² *После:* отнимали у меня все мужество — и я рад был лгать не только ей, но даже себе, и когда бегал вниз к швейцару, то верил, что сейчас мы получим телеграмму

Стр. 175—176.

⁴³⁻¹ убирала кабинет барина ∞ стучала посудой / убирала кабинет барина и спальню, рылась без всякой надобности в шкафах и нарочно громко стучала посудой

Стр. 176.

³ *После:* от нее прятались.— «Меня, конечно, рассчитают теперь,— говорили ее глаза,— но зато натешусь же я напоследок!»

³⁻⁶ Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонила / Вечером она надевала шляпку и бурнус со стеклярусом и уходила куда-то. Часа в два или три она звонила

²⁰ Я измучилась / Я замучилась

²³⁻²⁴ я не получал твоих телеграмм,— сказал Орлов / и я не получал твоих телеграмм...— сказал Орлов, вытирая мокрые от инея усы

²⁷⁻²⁸ не спал ∞ и много пил / не спал всю ночь и много пил ночью. На пальцах и даже на локтях у него были еще следы карточного мелка

³⁰⁻³² Обед прошел ∞ Зинаида Федоровна / Обед прошел вполне благополучно, несмотря даже на то, что вместе со мною прислуживала Поля и что у Орлова, по-видимому, сильно болела голова. Когда ушли в кабинет пить кофе, Зинаида Федоровна

³³⁻³⁴ она говорила ∞ как ручей, / и ее французская речь журчала, как ручей, который, прежде чем влиться в реку, делает на берегу около камней тысячу изгибов;

⁴³ Милая моя / Нет, милая моя

Стр. 177.

² *Перед:* Когда я предлагал — Ну, не каприз ли в самом деле?

⁶ тоже упрямый человек / упрямый человек

11-12 Что в Москве? / Что Москва?

18-19 Как употребить эти полчаса? Он ходил / Не зная, куда употребить эти полчаса, он ходил

20-21 читал когда-то / он читал когда-то

21-23 Тут же сидела Зинаида Федоровна с улыбкой. / Тут же сидела и с улыбкой слушала его Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин.

37 Я даю вам полную свободу / Но что со мной делать, если я не люблю, когда меня под видом чего-то нового изо дня в день угощают старою, ржавою селедкой? Впрочем, я даю вам в этом отношении полную свободу

Стр. 178.

1 бранят всегда / бранят всегда с исключительною только целью

3-7 Оба света с на его стороне. / Но чем же этот свет, скажите на милость, лучше высшего? Чем? Ведь та же ложь кругом, та же дикость, те же сплетни, наряды, карты, пошлые разговоры и та же скука. Оба света одинаково великолепны и бранить в отдельности тот и другой — значит прямо-таки лгать. Я вам прямо скажу: если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, остановился бы на высшем, так как все мои вкусы на его стороне.

28-27 во всех союзах и сожительствах / в союзе с мужем и любовником, одним словом, во всех браках, союзах и сожительствах

29 она для вас все / она составляет для вас единственную цель и благо, она для вас все

31 вы и берете ее / вы и брали только ее

36-37 врага, вашего сатану / врага и деспота

39-40 будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам / будет крайне неопределенно, натянуто и не ново. Да и не поверю я вам

43 ветер крепчал / «ветер крепчал»

Стр. 179.

14-15 не заподозрил, что вы честный человек / не заподозрил в вас честности

34-35 заурядный чиновник / заурядный чиновша

Стр. 180.

10 Орлов, испугавшийся слез / Это уж были слезы. Орлов, испугавшийся, по обыкновению,

11 не знаю зачем,— желал / не знаю почему, желал

20 плач, с хохотом / плач, перемешанный с хохотом

- 23 трусливо оглядываясь / трусливо оглядываясь в сторону
плача, как будто за ним вдогонку посылали пули
25 всё плакала / всё еще плакала
26—27 ни родных / ни родных,— никого на свете
29 какую безотрадную представилась мне ее жизнь! / ка-
кую безотрадную и страшною показалась мне ее
жизнь!
30—31 Она, слабая / Слабая
31—33 казавшаяся мне образцом *с* пряча лицо / и с гибкою,
точеною талией, она, казавшаяся мне образцом нежности
и изящества, лежала на кушетке лицом вниз

Стр. 180—181.

- 40—4 Я вышел. *с* разговаривала сама с собой. / Больше я ни-
чего не придумал сказать и вышел.

В седьмом часу я спросил у нее, не пора ли сходить за обедом, и она сказала, что надо подождать Георгия Ивановича, так как он утром говорил, что обедать сегодня будет дома. А поздно вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и вручил ему письмо. Когда я всякий раз возвращался обратно с письмом, она, как в горячке, бранила меня, умоляла, совала мне в руки деньги... Пережила она длинную, мучительную ночь. Разговаривая сама с собой в гостиной, она уверяла себя, что она не поняла Орлова, что уж он не простит ее никогда и, пожалуй, отравится теперь где-нибудь в номере или застрелится...

Стр. 181.

- 5 Орлов вернулся / он вернулся
7 после этого / после перерыва, вызванного поездкой к сенатору
8—9 тяжелую жизнь *с* говорил с раздражением / тяжелую жизнь и, чтобы не казаться смешным, сам явил себя насмешками. Смеялся он в этот вечер как-то странно, только голосом, а не лицом, много курил и даже о пустяках, не касавшихся его семейной жизни, говорил с раздражением
10 Это не жизнь, а инквизиция / Господа, кто-нибудь из вас скажите ей, что я ее обманываю,— сказал он за ужином.— Ведь это, согласитесь, наконец, не жизнь, а инквизиция
12 в итоге — у меня нет / в итоге то, что у меня нет

13-14 Неужели придется жить так / Неужели такая жизнь про-
тянется

16 А ты / А ты сам

18 человеку самостоятельному / человеку сильному, само-
стоятельному

19 с существом / с существом слабым, кислым, бесцветным

31 полезай в кузов / все-таки полезай в кузов

32 *Слов:* всегда терпеть не мог тургеневские романы — нет.

33 и вдруг / и вдруг неожиданно-негаданно

34 Уверяю / Уверяю теперь

36-37 в самом деле у меня в физиономии / у меня в физиономии

40 Да только это и остается. / Да, только это и остается.
Погожу немного и опять произведу Пекарского в се-
наторы.

41-42 объявил / объявил за кофе

Стр. 182.

16 оставлю / оставлю ему

37 то на мех / то на ямку, то на мех

Стр. 183.

13 Нельзя уже / Итак, нельзя уже

13-14 произошла перемена, я стал другим / произошла какая-то
перемена, и я стал другим человеком

14-15 я начал вспоминать / я начал было вспоминать свое прош-
лое

16 в темный, сырой угол / в темный угол

18 теперь покраснею / покраснею

23 укладывать свой багаж и уходить / укладываться

25 смешно / смешно и оскорбительно. Если я сейчас же не
сняму этого лакейского фрака, думал я, то мне будет ка-
заться, что я надел и ношу его только ради теплого угла
и куска хлеба

29 и говорить, и читать / и лекции читать

31 тянуло и на Невский / тянуло всюду, о чем бы я ни вспо-
минал: и на Невский

31-32 *Слов:* всюду, куда хватало мое воображение — нет,

34 шубу / шубу и калоши

Стр. 184.

1 она уже не посылала / она вела уже себя не так, как в
первую его поездку. Она уже не посылала

3 не замечала / не замечала и не обнаруживала ни малей-
шего волнения, когда та служила за обедом или крала
какую-нибудь дорожную вещь

3-4 на ее бесстрашном / на ее ленивом, бесстрашном

- 7-8 ожидая только дурное. / выжидая, когда сами обстоятель-
ства поднимут ее с софы и укажут ей, что делать...
- 9 возвращение Орлова / приезд Орлова
- 10 они разойдутся / она разойдется с ним
- 11-12 доставляли ей, быть может, удовольствие / доставляли
ей своеобразное наслаждение
- 12 сказала / почувствовала
- 15 Вы такая добрая! / Вы добрая...
- 25 закусить? / покушать?
- 28 обыкновенный рублевый обед / обыкновенный обед
из пяти блюд
- 30-32 Моя маленькая *с* у нее золотушка! / Ваша крестница
милый ребенок, я ее очень люблю, только жаль, что у нее
золотушка.
- 36 точно в передничке / точно в переднике
- 38 на меня, как мальчик. / на меня. Сущий младенец!

Стр. 185.

- 2 она хотела / она, по-видимому, хотела
- 3-4 Грузин поглядел на часы. / Грузин сел на табурет перед
роялем и сказал:
- 7 Он сел за рояль, тронул / Он тронул
- 15-17 Глядя на потолок *с* так умно! / Он нехотя сел и, подумав,
заиграл бетховенскую квазифантазию. Как прекрасно он
играл! Сначала захотелось плакать и вспомнилось поче-
му-то посещение старика, решившее мою судьбу, потом же
стало казаться, что жизнь моя не так уж плоха, как я ду-
мал, и что сегодня я могу начать свою жизнь снова. Ча-
хотка не помешает, от нее можно вылечиться в Каире или
на Мадейре. Материала же для радостной, плодотворной
и высокой жизни на этом свете так много! Я замечтался,
но к великой моей досаде Грузин скоро стал сбиваться и
фантазировать.

— Кум! — сказала с огорчением Зинаида Федоровна.

— Все перезабыл! — вздохнул Грузин.

Глядя на потолок и припоминая, он с чудесным выра-
жением и с теплотой сыграл две пьесы Чайковского: «Бар-
кароллу» и, кажется, «Подснежник».

- 19-20 визменной, нечистой / пошлой

- 21-22 Слов: на такую чистоту — нет.

- 32 и спросила / и спросила дрожащим голосом

- 40-41 Свободно следовать *с* людям счастье. / Свободная любовь
не дает хорошим людям счастья. Вы честны, благородны,
самоотверженны, но тем хуже для вас.

Стр. 186.

³ грубым / наглым, грубым

³⁻⁴ Слов: в своих стремлениях к свободе — нет.

⁶⁻⁷ Я так утомилась, что не пошевелю / Я так утомилась, что случись со мной несчастье, я, кажется, не пошевелю

⁹ Это он сказал шутя, но после / Я не понял, как это он сказал — шутя или серьезно, но заметил, что после

¹⁰⁻¹¹ После: заблестели слезы. — Оба вздохнули и помолчали.

²² Зинаида Федоровна / Я чувствовал себя бодро и ждал уже одного только хорошего, а Зинаида Федоровна

²⁶ тотчас уйти / тотчас же снять лакейский фрак и уйти

³⁵⁻³⁶ сидит уже давно и никогда не уйдет / сидел там целый год. Меня точно ядовитая муха укусила. «Зачем сюда ходит это ничтожество? — спрашивал я себя. — Что ему тут нужно?»

³⁹ После: она скучала с ним — и нарочно, чтобы сбросить свое настроение, не отходила от рояля и тихо подбирала пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин.

⁴¹ спросил меня, как / спросил меня, женат ли я и как

Стр. 186—187.

⁴³⁻² Но, я думаю ∞ Шалун! / Я бедный человек, но люблю себя побаловать, — сказал он. — Шалуны мы с тобой, Степан! — добавил он со вздохом. — Шалуны!

Стр. 187.

³ житейский опыт / громадный житейский опыт

⁵⁻⁶ Мне показалось / Мне почему-то вдруг показалось

⁷ как лакей / как хам

⁹⁻¹⁰ он бывает ∞ и просиживает / он часто бывает у нас по вечерам в отсутствие Орлова и иногда просиживает

¹² грозить мизинцем. / грозить мизинцем, — нельзя-де трогать чужих тайн!

¹⁸ овладела мной / овладела всем моим существом

²⁰⁻²¹ сильное желание / страстное желание

³²⁻³³ задыхаясь / задыхаясь и глядя с ненавистью на его недоумевающее лицо

³⁷ заслонил / инстинктивно заслонил

⁴¹ стало стыдно / стало гадко

Стр. 188.

³ тотчас же сбросил / тотчас же, не давая себе опомниться, сбросил

⁶ писать Орлову / быстро писать к Орлову письмо

⁸⁻⁹ прошу оставить ∞ петербургский чиновник! / и взамен уношу с собою образ фальшивого человека.

21-22 Это начало ∞ не всё ли равно? / Это начало мне не понравилось. Для чего я пишу? Какая надобность? Не есть ли это письмо выражение той же самой мелкой, грошовой ненависти, которая погнала меня на улицу за Кукушкиным? Когда человек уступает мелким чувствам, то это вернейший признак его душевного бессилия и упадка.

Я мучительно грыз себя, и мрачные мысли ленивоковыряли в моем мозгу.

20 ломили ноги... / ломилц ноги, и во всем теле была вялость.

31 движется ее тень / движется и ее тень

32 слаб, нравственно угнетен / слаб и нравственно угнетен

33 я не могу писать вам, как бы хотел / и не могу написать вам подробно и связно, как бы следовало

35 теперь мне не кажется / теперь уже мне не кажется

Стр. 188—189.

42-1 горят ∞ волнуясь / горят у меня, я почему-то продолжаю писать и с таким волнением

Стр. 189.

9-10 изнемог ∞ я заметил / изнемог и навеки простился со своею молодостью, заметил

19-31 и превратились в трусливое животное ∞ здоровый и нормальный человек. / и теперь, как трусливое животное, жметесь в овраге и питаетесь падалью? Отчего? Когда в первый день нашего знакомства я, вместе с Полей, прислуживал вам за кофе, то вы произвели на меня впечатление азиата, того самого, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Это первое впечатление не оставляло меня до сегодня. Какие бы вы книги ни читали и как бы ловко ни сидел на вас европейский фрак, я, приглядываясь к вам, всякий раз думал, что лучшей критики вы не могли бы написать на себя, как если бы завещали похоронить себя на татарском кладбище. Посудите сами: с какою нежною, чисто ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, — от всего, что может причинить вам боль и беспокойство! Перед действительною жизнью и природой, с которою борется всякий здоровый и нормальный человек, вы разыграли труса и с головою спрятались в халат.

34 стараетесь спрятаться / умеете прятаться

Стр. 189—190.

40-4 поставить ее в рамки ∞ заглушить стыд / набросить на нее халат, поставить в условные рамки; называется ли этот халат на вашем петербургском языке ироническим

отношением к жизни или как-нибудь иначе, но халат остается халатом, и сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей. А когда вы при мне глумились над идеями, которые якобы все вам известны, то я видел в вас дезертира, который позорно бежал с поля битвы, но, чтобы заглушить совесть

Стр. 190.

¹⁴ Кстати / Кстати, вспомните

³⁷ Но вот вопрос / Но вот огненный вопрос

⁴⁰ банкротами? Отчего один / банкротами, так что от нашей веры, страсти и отваги не остается даже пыли? Отчего в этом возрасте один из нас

⁴¹ пускает пулю в лоб / пускает себе пулю в лоб

⁴² в водке, картах / в водке и картах

Стр. 191.

³ После: отчего?

— А дальше, кажется, совсем бред:

⁸⁻⁹ если бы чудом / если бы каким-нибудь чудом

⁹ оказалось сном / оказалось только сном.

¹⁴ Будем жить! / Будем же жить!

²⁶ часы нежно пробили / часы проиграли свою короткую музыку и нежно пробили

Стр. 192.

¹² грубо вмешался / грубо, как ком грязи, влетел

²²⁻²⁵ У нее ранее была все-таки надежда ∞ не оставалось никаких сомнений / У нее все-таки была надежда, что лакей солгал, ошибся, сказал глупость, теперь же, после этого открытия, у нее насчет Орлова не оставалось никаких сомнений

²⁹ но я продолжал с увлечением / но все-таки я продолжал со странным, непонятным увлечением

³⁶⁻³⁷ издевались над вами ∞ ни одной минуты! / издевались здесь над вами и вашей любовью, и как они сплетали ваше имя со своими анекдотами, то вы бы умерли от унижения.

⁴¹ Глаза ее были полны слез, губы дрожали / Глаза ее, полные слез, глядели гордо, с презрением и ненавистью, не на меня, а через мое плечо; губы дрожали

⁴³ ложь Орлова возмущала ее / ложь Орлова, который прятался от нее, чтоб не говорить ей правды, возмущала ее

Стр. 193.

¹⁻² и мне не нравилась эта ее улыбка / и мне было жутко от ее улыбки

⁹ и только ждала / и ждала

¹⁰ *После:* окончательно объясниться.— Но не будем говорить об этом. Скажите мне, что же собственно побудило вас пойти в лакеи? Это делает честь вашей находчивости и смелости, но разве не было других ходов? Воображаю, сколько вы испортили себе крови! Даже невероятно как-то.

¹¹ Потом она села / Но вдруг глаза у нее стали большие, плечи беспомощно опустились, и уже казалось невероятным, что она только что глядела с ненавистью и презрением. Лицо ее теперь выражало одно только безнадежное, отчаянное горе. Она села

¹⁷ не истерическом, обыкновенном / не истерическом, а обыкновенном

²¹ отзывался эхом / отдавался эхом

²² про свою болезнь / про свою болезнь, свои мечты

²⁴ Что же это за жизнь?.. / Что же это за жизнь! Что они делают, боже мой? У них молодость, ум, здоровье, свобода, богатство, красота, любовь — одним словом всё, всё, что нужно для счастья, они же мешают всё это в какой-то хаос, в тьму...

²⁶ говорила она / проговорила она

²⁸ *Фразы:* О, какое унижение! — нет.

³¹⁻³⁵ любовь, и Тургенев, которого вы будто бы читали / любовь... и Тургенев, которого вы читали

⁴⁰ *После:* ни одной минуты.— Мне невыносимо тяжело!

И я сам заплакал от нервного напряжения.

— Вы всё знаете и слышали всё...— сказала она, вставая и подходя ко мне.— Я верю вам. Скажите же мне искренно, неужели я поступила дурно? Я не любила мужа и ушла от него к Георгию Ивановичу, которого люблю. Это дурно, смешно? Это ошибка? Скажите: я должна была поступить как-нибудь иначе?

— Да, надо было поступить иначе! Вы хотели порвать со средой, которая вам не нравилась, и начать новую жизнь, но вам только кажется, что вы это сделали,— сказал я с раздражением, и мне почему-то было приятно говорить таким тоном.— Вы были женой и, чтоб начать новую жизнь, сделались любовницей — только всего! Из спальни одного тунеядца и пошляка перешли в спальню другого такого же. Хорошо обновление!

— Но ведь я любила Георгия Ивановича! — сказала Зинаида Федоровна и умоляюще сложила на груди руки.

— Надо было пожертвовать этой любовью.

⁴¹ Она опять заплакала, а я отошел / Она опять заплакала, а я, чувствуя себя жестоким и неправым, отошел
Стр. 194.

² Зачем говорить так? Давайте-ка / Прошло в молчании несколько минут.

— Я поступила дурно,— проговорила она,— и теперь несу наказание. Мне захотелось новой жизни, личного счастья, а нужно было жертвовать, смириться. Я не должна была оставлять мужа.

— Полно, полно! — сказал я с мягкой укоризной.— Ведь вы не поедете к мужу и не станете каяться. Зачем же говорить так? Давайте

⁴ После: ехать отсюда? — Я подошел к ней и продолжал нежно, со слезами в голосе: — Доверьтесь мне, прошу вас. В Петербурге у вас нет ни одной родной души, но зато есть верный, преданный слуга. Ведь вы позволите мне так называть себя? Умоляю вас, не возвращайтесь к этим людям! Нехороший, гнилой здесь воздух! Этим истасканным джентльменам нужны вы только, когда они наиболее расположены к любовным излияниям и бывают в ударе,— это он сам говорил; тут нужны вы только когда бываете нарядны, остроумны, фальшивы и ловко обманываете вашего мужа, а порыв, чистота, ясный ум, честные взгляды — это тургеневщина, плохие повести, это скучно и мешает жить. Вы шли к Орлову и думали, что исполняете свой долг, а вас осмеяли и ошिकाки в первый же день; вы, в простоте сердечной, воображали, что вы идейный человек, а на самом деле вышло, что вы смешная, назойливая любовница, от которой ничем не отделаешься. Он — ваша жертва. Всему Петербургу уже известно, что у него, у бедняги, по вашей милости нет уже собственной квартиры; он везде жалуется и старается громче смеяться, потому что ему стыдно, стыдно, что он так глупо влетел, не предусмотрел скандала, то есть вашего переезда к нему. Жить с этими людьми, любить их, иметь с ними общее — значит играть жалкую, унижительную роль. Подальше от них! — продолжал я горячо, с вдохновением, какого у меня давно уже не было, и глубоко веря в то, что говорю и хочу сказать. — Оставьте этих несчастных, чуждых вам людей, и пойдите в иную среду. Там займете вы положение, достойное вас...

⁸ Это была Поля / Но это была Поля

¹³ спросила она тихо / спросила она

³¹⁻³² заговорила о том, как она мне благодарна / заговорила,

что она очень мне благодарна и не сомневается в моем доброжелательстве, но что ей стыдно, что я из-за нее беспокоюсь

33-35 Я не сомневаюсь ~~со~~ понимаю... / Я понимаю, понимаю... — бормотала она

Стр. 195.

24 вспомнилась мне почему-то мелодрама / вспомнил, как у Тургенева кто-то говорит: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» Вспомнилась мне также почему-то и мелодрама

34 говорила Зинаида Федоровна / опять забормотала Зинаида Федоровна

35-36 Куда мне идти, что делать / Куда мне сунуться и что делать

Стр. 196.

26 было другое / было другое, какое-то особенное

31-32 фигура у нее стала как будто мельче, / фигура ее стала как будто мельче, лицо меньше;

32 в ее лице / в мимике ее лица

33 излишнюю нервность/излишнюю порывистость, нервность

41 Извините, я / Извините, что я

Стр. 197.

19 взяла записку / взяла от меня записку

27 уеду с вами / еду с вами

35 После: «Теперь мы разделаемся!» — И уж разделаюсь

36-37 И, сказавши это ~~со~~ вздрогнула всем телом./ И, вздрогнув всем телом, с злорадством, которое так не шло к ней, она сказала:

— Хорошо!

40-41 Мы с вокзала плыли / мы плыли в гондоле с вокзала

Стр. 198.

4-5 которых мы много накупили / которые мы купили по пути

7-8 так что в сущности содержание всех их для меня / и содержание всех их

12-13 про Венецию или читала эти книги — и мне было хорошо / про Венецию и ласково журила, что я болен и не могу гулять с ней

19-20 делали со мной чудеса; я чувствовал на своих боках / делали со мной то, что я чувствовал на своих боках, вместо мушек

21 уносили меня / уносили меня в мечтах

22 сколько порой радости от мысли / сколько гордости в сознании

- 23 теперь идет рядом другая жизнь / идет рядом и неразлучно
другая жизнь
- 30 это плохой знак / плохой знак для больного
- 31 у меня стало на душе необыкновенно легко / едва сам не
заплакал от умиления
- 34 на давно знакомые гондолы / на давно знакомый Canal
Grande и на гондолы
- 36 чувствуют всю роскошь / чувствуют свою красоту, синее
небо и всю роскошь
- 38 на струнах / на гитаре
- 40 грубо бил / грубо хлестал
- 41 то видно взморье / Лидо, правее — пароходы, еще пра-
вее — грандиозная Maria la Salute, а за всем этим далеко
взморье

Стр. 199.

- 3 После: ходить, куда мне угодно. — Утром прогулки вместе
с ней и осмотр достопримечательностей.
- 4 сидеть на солнышке / сидеть в гондоле и на солнышке
- 10 с печального льва / с плачущего льва
- 30-11 меня всё манило к тому углу / пока она ходила по комна-
там, я все время стоял неподвижно на одном месте и гля-
дел в тот угол
- 13 думал я / думал я при этом
- 18 катались / катались по каналу
- 25-26 раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна / раздаются
в потемках и кажется, что вместе с теплым, влажным воз-
духом вдыхаешь в себя и эти звуки. Зинаида Федоровна
- 29 и не слышит меня. Лицо, поза / и так ушла в себя самос,
что не слышит моих вопросов и замечаний. Ее лицо, поза
- 32-33 гондолы, огни, музыка, песня с энергическим страстным
вскриком «Jam-mo!.. Jam-mo!..», — какие / bella (пре-
красная) Венеция, мандолины и песня с энергическим
вскриком: «Jam-mo! Jam-mo...», и мечты, мечты — какие
- 38 Оба мы / Оба мы — ложноклассические фигуры:

Стр. 200.

- 2 После: и разговаривали. — На то и другое уходило обык-
новенно часа два.
- 4 даже испытывал удовольствие / почему-то испытывал даже
некоторое удовольствие
- 5 о своей жизни у Орлова / о своей жизни у Орлова, описы-
вая в мельчайших подробностях все ужины и разговоры,
и когда делал характеристику Орлова и его приятелей,
более резко и немилостивую, чем в этом рассказе

- ⁷ *После:* от меня скрыты — так как в качестве домашнего человека я все видел и все слышал
- ⁸⁻⁹ Когда он капризничал / Когда он ломался, капризничал
- ⁹⁻¹⁰ то меня поражало / то я только руками разводил
- ¹¹ все так ясно. Целуете / все так ясно,— мало того, целуете
- ¹² *После:* льстите...— Воистину слепна любовь!
- ¹⁴ *После:* говорила она, краснея.— Не всякому дано свыше быть прозорливым. Не угадала человека — и все тут.
- ¹⁵ Неужели так трудно разгадать его? / Как же вы могли не угадать? — изумлялся я.— Раз вы знаете его среду и видите, что он доволен и не думает покидать ее, то где же тут загадка, скажите на милость?
- ¹⁷⁻¹⁹ храни бог, продолжал я с чужою душой / храни бог, разговор у нас принципиального свойства,—продолжал я, чувствуя, что в моей манере говорить нет светскости и что я совсем не умею нежно обращаться с чужою душой
- ²⁰ я не замечал / я никогда не замечал
- ²⁴ говорила она в сильном волнении / говорила она, расхаживая в сильном волнении по номеру
- ²⁹ я противоречу / я протестую
- ³⁰ я иначе смотрю на вещи / я хочу списхождения или иначе смотрю на вещи
- ³¹ просто оттого / просто с непривычки, оттого
- ³⁴ *После:* Какая это любовь? — Это эгоизм, грубый, пошлый эгоизм! — продолжала она, сверкая глазами.— Я любила Орлова, то есть, другими словами, хотела, чтоб он принадлежал только мне,— и в этом вся жизнь, все страдание!
- ³⁷ Смысл жизни только в одном — в борьбе. / В жизни или вовсе нет смысла, или же он только в одном — в борьбе. В борьбе не на жизнь, а на смерть!
- ³⁹⁻⁴⁰ *Фразы:* В этом одном, или же вовсе нет смысла.— нет.
- Стр. 201.*
- ¹ *После:* я не обмолвился ни одним словом.— Я хотел, чтоб она сама догадалась. Сидя с ней с глазу на глаз или оставаясь один, и по вечерам, когда было темно, я совсем не думал об этой перемене и вспоминал о ней равнодушно, днем же при встречах, особенно с русскими, я начинал с тревогой оглядываться, без толку суетиться, и было у меня такое чувство, как будто я прячусь. Но все-таки мне было хорошо. Эти короткие припадки беспокойства не мешали мне жить.
- ² слушала меня всякий раз / слушала мои истории

⁶ *После:* она не слушает меня.

— Не пора ли нам на боковую? — говорил я.

— Да, пора... — отвечала она вяло, осипшим голосом.

²⁵⁻²⁶ — Так, не знаю *о* Спокойной ночи. / Голову бы ей отрубила, — отвечала она со смехом. — Впрочем, я шучу, — продолжала она осипшим голосом, провожая меня до передней. — Это другие бы ей голову рубили, а я бы только тарцевала на белом коне перед толпой... со знаменем... И чтобы музыка гремела. Ну, там увидим, что будет, — говорила она живо, красиво встряхивая головой, — а пока спокойной ночи.

³⁰ закрыла взморье / закрыла церковь на Лидо

Стр. 202.

³ когда я зашел к ней в номер, / зайдя к ней в номер, я застал ее в таком положении:

⁶ закрыв лицо руками, и плакала / так что в первую минуту показалась мне не взрослою женщиной, а точно карлицей, и, закрыв лицо руками, плакала

⁸ только что видел, про которое хотел рассказать / только что наблюдал

⁹ сердце мое / мое сердце

¹⁰⁻¹¹ *После:* отняла одну руку от лица — которое на этот раз показалось мне болезненно серым и желтым

¹³ поцеловал у нее / поцеловал у ней

¹⁶ в страшном смущении / в страшном смущении и с болью в сердце

¹⁸⁻¹⁹ отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам / отравлены, и я в отчаянии схватил себя за голову. Сострадание, жалость, страстное желание пасть к ее ногам

²⁰ своим горем / своим горем; но этого мало: предчувствие новых слез, новых скорбей и потерь вдруг овладело мной

²² *Слов:* и я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери — нет.

²⁴ взгляд. / взгляд и холодея от ужаса. — Ведь прошлого не жаль, оно ненавистно, с ним уже покончено... Пугает ее будущее? Или, быть может, тут какие-нибудь особенные причины, от меня скрытые, которые навсегда останутся для меня тайной, так как я не знаю ни жизни, ни людей? Вразуми меня, господи!

²⁵⁻²⁶ Она старалась *о* и от себя самой / Беременность, очевидно, беспокоила и неприятно смущала ее, так как она ста-

ралась скрывать ее не только от людей, но даже от себя самой

³³ и не сказала ни слова / и заговорила о чем-то другом. Если в самом деле ее тревожит беременность, — думал я, — то тут я плохой утешитель и советчик. Тут я чужой человек

³⁴ потом вошел к ней / час спустя вошел к ней нерешительно

³⁶⁻³⁷ готова опять заплакать / держит платок наготове и скоро опять заплачет

³⁸ потолкуем / потолкуем о чем-нибудь

⁴² постучите в дверь / стучите в дверь

Стр. 203.

¹ Это «предварительно» / Это она проговорила сухо, подняв брови и не глядя на меня; и слово «предварительно»

¹ как-то особенно / как-то особенно черство

² Возвращалось / Холодные мурашки бегали у меня по спине, возвращалось

⁹⁻¹⁰ сильно пахнувших жепщин, и каждая / сильно пахнувших кокоток, но уже не как зритель, а с отвращением. В самом деле, они здесь отвратительные, с наглыми, коммерчески-равнодушными лицами, и каждая

¹⁵ После: путаница какая-то. — Слезы на глазах? Что за страдание!

Когда же перед вечером она встретилась мне на набережной и с доброю, кроткою улыбкой похвалила погоду и предложила пройтись с ней, радость волной хлынула мне в душу, и я забыл всё. Мы ходили по берегу и смотрели, как беднота ловит сетями и корзинами мелкую рыбешку, которая тучами ходит по поверхности моря. Уже садилось солнце.

— Простите меня, — сказала она тихо. — Я виновата.

И, чтоб я не увидел слез, которые заблестели на ее глазах, она быстро спустилась вниз к самой воде. Около корзин и сетей по мокрым камням прыгали рыбешки. Она собрала их полную горсть и бросила в волны.

Стр. 204.

¹ После: гарсоны во фраках... — Нехорошее предчувствие, по обыкновению, овладевает мной.

⁴ вероятно, фальшивую / фальшивую

⁸ хочется жить / страстно, мучительно хочется жить

⁸⁻⁹ чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо / чем некрасивее, желтее становится ее лицо, чем суше и черствее черты, чем меньше гибкости и стройности в ее теле

- 9-10 сильнее и больней / сильнее
- 12-13 тон, пусть что угодно *с* мое сокровище / тон, пусть даже она зло посмеется падо мной, пусть что угодно, но только не оставляла бы меня
- 23-26 она достает *с* и говорит / сказала она, садясь и быстро сбрасывая с себя перчатки и шляпку; она достала из кармана штук десять золотых монет и, позвякивая ими, сказала
- 27 *Фразы:* Это в рулетку.— *нет.*
- 28 играть / играть в рулетку
- 29 *После:* Я и завтра опять поеду.— Позвоните, однако, чтобы мне чаю дали. Я с утра ничего не ела.
- 30 Я воображал / Я вообразил
- 33-35 старух, которые жмутся у золота *с* уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня... / старух и всякой дряни, которая жмется у золота, как мухи у меда, и не скажу, чтоб эта картина подействовала на меня неприятно. Но вспомнил я, что она все эти дни уходила одна и не брала меня с собой, и мне стало обидно и горько.
- 36 сказал я однажды / сказал я
- 36-37 не поедете туда / не поедете в этот притон
- 38 *После:* Много я не могу проиграть.— Я ставлю только па дюжины и на *poir* (черное).

Стр. 205.

- 1-2 спросила она / спросила она и пожала одним плечом
- 5-6 *После:* что я буду делать? — Вы понимаете, что я хочу спросить...— добавила она тихо и с сожалением, как будто уже знала, что я ей отвечу.
- 10 лицо ее стало сердитым / лицо ее дрогнуло
- 13-14 отбивая такт / отмеривая такт
- 42-43 *После:* что мне делать? — Когда я мало-помалу убедилась, что вы не верите, то и у меня поколебалась вера, и я тоже... пала духом.

Стр. 206.

- 4 какую-то нелепую роль / жалкую, унижительную роль
- 8 подавая мне стакан / когда гарсон вышел
- 14 не в одном каком-нибудь поприще / не на одном каком-нибудь поприще
- 15 изверились в одном / изверились на одном
- 20 Она покраснела. / Она покраснела и пошла к столу наливать чай.
- 39 Я пожал плечами / Я покраснел и пожал плечами
- 42 бредили / бредили мной

Стр. 207.

⁸ пудной комедии / пудной комеди

⁹ Вы говорите таким тоном, как будто / Похоже на то, как будто вы

²⁸ *После:* подходя к ней.— Если Орлов и я обманули вас, то причём тут идеи? Чем они виноваты? Ведь не я и не Орлов их выдумали...

³³⁻³⁵ Я испытал на своем веку ∞ своей изболевшей душой / Я, чахоточный, испытанный на своем веку, кажется, всё, что только можно испытать человеку, крепко понял мозгом и своею болью

³⁶⁻³⁷ или только в одном / или же только в одном

³⁹ хотел говорить / хотел сказать

³⁹⁻⁴⁰ *После:* о всепрощении — о том, что можно служить истине независимо от принадлежности к той или другой категории или партии,

⁴⁰⁻⁴¹ и я смутился / я смутился и в отчаянии махнул рукой
⁴³ жить! / жить — и больше ничего!

⁴³ тишины, хочу тепла / тишины... я хочу тепла

Стр. 208.

¹⁻² *После:* внушить и вам эту страстную жажду жизни! — Она, быть может, болезнь, да, вероятно, и есть болезнь, но с ней хорошо. Как бы мы жили!

⁴⁻⁵ *После:* выражения лица...— Я бы служил вам, берег и, как говорится, лелеял бы вас... Вашего ребенка я любил бы как своего... и я уже люблю его.

¹⁷ Надоело... Будет. / Вот, если б, впрочем, я встретилась еще с третьим каким-нибудь идейным человеком, потом с четвертым, с пятым... быть может, вышло бы что-нибудь,— сказала она тихо себе самой, с насмешкой.— Но надоело... Будет!

²¹ *Перед:* На другой день утром — Я попрошу позволения не описывать того состояния души, какое у меня было в эту бессонную ночь и затем в последующие дни. Я плакал, смеялся над собой, молился, приходил к убеждению, что я с ума сошел, и радовался, что я сумасшедший...

²² сообщил с улыбкой / сообщил мне с улыбкой

²⁷ из комнаты / из комнатки

²⁸⁻²⁹ стон, и точно это ветер / стон. Только этого стоны еще не доставало мне, чтобы в одно мгновение увидеть всю горькую, жестокую правду от начала до конца и вновь пережить все прошлое. Точно ветер

³² *После:* «Нина! Нина!» — Я бросился назад.

Мне почему-то казалось, что нужно непременно посмать Орлову телеграмму. Я побежал на телеграф, схватил перо и написал: «Мы... погубили...» — и зачеркнул. «Мы обманули...» — зачеркнул. «Обманутая, оскорбленная...» — зачеркнул. Я написал, что она невыносимо страдает, погибла, но бросил и это. Испачкав и порвав несколько листов, я бросил чиновнику лиру и выбежал вон.

Когда я, собравшись с силами, опять пришел к ней, в номере были акушерка и дама из Харькова. Я поклонился им и остановился около двери с таким чувством, как будто в номере был покойник.

³⁴⁻³⁵ *Слов:* с таким чувством, как будто я был отцом ребенка — нет.

³⁶ худая / сильно похудевшая

⁴¹⁻⁴² *После:* смотрел на нее и ждал — когда она откроет глаза. Я решил, крепко решил, что, наконец, я оставлю этот вечный страх казаться чувствительным, упаду перед ней на колени и буду говорить всё, всё...

Стр. 208—209.

⁴³⁻¹ она открыла глаза / она стиснула зубы, вытянулась и простонала, стараясь сдержать себя. Потом она открыла глаза

Стр. 209.

⁶ Я постоял немного и вышел / Я вышел

⁸⁻¹³ в опасном положении; потом по коридору бегали *с* не хорошо ведут себя здесь русские! / в опасном положении: доктор подозревает, что она приняла яд.

²⁴ вскрикивал / истерически вскрикивал

²⁹ мне нужно / им нужно

²⁰ В ней / В ее жизни

³⁶ мою шею. / мою шею... Но «что уж тут», как говорила покойная в последние дни своей жизни, «ну, да уж ладно»... Пора перестать говорить о себе,

Стр. 210.

¹⁰ холеное / холеное, лощенное

¹⁷ моя тощая фигура / тощая фигура

³¹ Так-с. / Так-с,— пробормотал он, шурясь на свои ногти.

⁴⁰ *После:* он едва спасся.— Было ли что-нибудь подобное? Экий, прости господи, барабошка!

Стр. 211.

⁷⁻⁸ *После:* дочь покойной Зинаиды Федоровны...— то есть ваша дочь.

²⁰ Так. Это, конечно, не мопс, а человек... понятно, / Так...
Это не мопс, а человек...

⁸⁰⁻³¹ причем тут Красновский / причем тут г. Красновский
³⁵ он, быть может, обязан / он обязан

³⁶ *Слов:* я не знаю — нет.

³⁷ чтоб говорить о законах / чтоб толковать законы

³⁸ согласился он / заговорил он

⁴⁰ ко взаимному удовольствию / к взаимному удовольствию

Стр. 212.

²⁰ ни к чему / ни к черту

²⁵ *Перед:* Живой человек не может — Вы бросаете бумагу
в огонь и хотите, чтоб она не горела?

²⁶ погибает сам / сам погибает

Стр. 213.

² не творится так себе / не творится зря

³ необходимо / все необходимо

⁴ писать отчаянные письма / бить себя по персям

¹³ *После:* то было ничтожество — или то был ренегат

¹⁸ *После:* разговор наш уже кончен. — Нашему поколению —
крышка. С этим мириться нужно.

³¹ записку / письмо

⁴³ Я читал это письмо, а Соня / Пока я читал это письмо,
Соня

⁴⁵ *После:* решается ее участь. — Я беспомощно всхлипнул,
прижал ее к себе и забормотал:

— Ну, да уж ладно... Что уж тут... Ладно...

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

Варианты газеты «Русские ведомости» (РВ)

и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

Стр. 214.

³⁻⁴ Я сяду рядом с ямщиком! / Я сяду на козлы! (РВ)

²²⁻²³ по расчету и, как говорится, *par dépit* / по расчету и *par dépit*

Стр. 215.

² она также убедилась / также она убедилась

⁵ она еще вчера любила / она любила (РВ)

Стр. 215—216.

⁴³⁻¹ и, как говорят, пишет диссертацию / и пишет диссертацию (РВ)

Стр. 216.

¹² изменяли / изменили (РВ)

- 29-30 кроме Володи большого, Володи маленького / кроме Володи-большого и маленького (PB)
- 35 и на коленях / и коленях (PB)
- 39-41 *Фразы:* Дома она ∞ кушала мороженые яблоки.— нет. (PB)
- Стр. 217.*
- 21 и очевидно было / и очевидно (PB, ПуP₁)
- 26-27 сесть на козлы и кричать / сесть на козлы, кричать (PB)
- 42-43 ужас, если хотите / ужас
- Стр. 218.*
- 1 А мать умерла с горя / а мать, царство ей небесное, моя учительница музыки, умерла с горя (PB); а мать, царство ей небесное, умерла с горя (ПуP₁₋₂)
- 3 И хорошо сделала Оля / И хорошо сделала
- 13 густой / густой, бархатный (PB)
- 36-37 сердце у нее сжалось / сердце у нее сжалось от предчувствия (PB)
- Стр. 219.*
- 18 Владимира Никитича / Владимира Никитыча (PB, ПуP₁)
- 39-40 увидев монашенку / увидев монашку
- Стр. 220.*
- 6-22 *Текста:* И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила ∞ На колокольне уже перезванивали.— нет. (PB)
- 23 Спаси вас господи,— сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась / Спаси вас господь! — сказала Оля и низко поклонилась (PB)
- 31-33 *Слов:* то, что она заставила ∞ похожим на кощунство — нет. (PB)
- Стр. 221.*
- 20-23 Но неужели нет другого выхода ∞ погубить ее... / Ведь я верую? (PB)
- 25 спрятала голову под подушку / спрятала голову под подушку и шептала
- 26 Не надо об этом думать,— шептала она / Не надо об этом думать...
- 28-27 *После:* Не надо...— И как только в сознании появлялась мысль о боге, о смерти, об Оле, Софья Львовна старалась оттеснить ее назад другими мыслями и неслышно напевала марш, который слышала недавно в Пассаже, и мысленно отбивала такт.
- 36 Послышался звон / Послышался звон, густой, бархатный (PB)

Стр. 222.

³ и, как казалось ей, необыкновенному. / необыкновенно-му... (PB)

¹⁸ После: смотрит как хищник.— Как ты смел жениться на мне,— думала она, со злобой глядя на него,— если ты превосходно знаешь, что ты стар, старее моего отца? Где твое право? Где? Деньги? А-а-а?

Ей хотелось устроить что-нибудь раг dépit, что-нибудь ужасное, невероятное, чтобы досадить и себе, и мужу, и отцу, который позволил ей так бесчестно выйти замуж. Ей все равно, терять нечего: в бога она не верит, а до смерти еще далеко, а если бог есть, то ее ждут муки вечные, так как положение ее безнадежно, все равно как если бы она завязла по шею в болоте. Далее в *ПиР₁₋₂*: В монастырь же она не пойдет, потому что это скучно, и уж если отречься от жизни, то лучше убить себя, уничтожить в одну минуту ножом, ядом или веревкой, чем идти в монастырь.

³⁵⁻³⁶ Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли / В одно мгновение Софья Львовна забыла про раг dépit и про то, что у нее голова болит, и, пошатываясь от усталости

⁴² Володя маленький / Володя (PB)

Стр. 223.

⁷⁻⁹ Текста: по неужели, Володя ∞ смерть, а не жизнь.— нет. (PB)

Стр. 224.

³⁻⁷ Текста: А если бы вы знали ∞ иметь цель в жизни — нет. (PB)

⁹ сказал Володя / сказал он (PB)

³⁰ может осудить ее / осудит ее (PB)

³²⁻³³ Слов: получивший то, что ему нужно было — нет. (PB)

Стр. 225.

⁵ по покойнике / у покойника (PB)

¹²⁻¹⁷ Текста: И когда опять проезжали мимо монастыря ∞ идти в монастырь, убивать плоть...— нет. (PB)

²⁷⁻³² Заезжая почти каждый день ∞ бог простит. / И монашка Оля, которой она, заезжая каждый день в монастырь, жаловалась на свои невыносимые страдания, говорила ей, что все это ничего, все пройдет... (PB)

³⁰ входило что-то нечистое / вошло что-то нечистое (*ПиР₁₋₂*)

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

Варианты журнала «Артист» (А)
и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

Стр. 226.

³ Андрей Васильич / Андрей Васильевич

Стр. 227.

²⁷ Егора Семеныча / Егора Семеновича

³³ Егор Семеныч / Егор Семенович

³⁸⁻³⁹ Егору Семенычу / Егору Семеновичу

Стр. 228.

²³ умилила его / умилила его

Стр. 233.

²⁻³ до такой степени прекрасные и странные, что должна /
до такой степени странные и прекрасные, что она долж-
на (А)

Стр. 234.

⁴² худое лицо! / тощее лицо! (А)

Стр. 235.

⁷⁻⁸ лицо и глаза монаха / лицо и глаза (А)

¹⁵ танцевал мазурку / плясал мазурку (А)

²⁶ Егор Семеныч / Егор Семенович

Стр. 236.

²⁸ да в том чувстве / да вот в том чувстве (А)

³⁵ Нелзя / Нелзя сказать (А)

⁴¹ Егор Семеныч / Егор Семенович

Стр. 237.

^{5, 26, 40} Егор Семеныч / Егор Семенович

Стр. 238.

^{15, 42} Егора Семеныча / Егора Семеновича

²⁵ танцевал мазурку / плясал мазурку (А)

Стр. 239.

^{5, 9} Егор Семеныч / Егор Семенович

³¹ меня мучит / меня мучает (А, ПиР₁)

Стр. 240.

³⁰ бледная, слабая / тощая, слабая (А)

⁴⁰⁻⁴¹ Егор Семеныч / Егор Семенович

Стр. 241.

⁵⁻⁶ ложиться в саду / ложиться по саду

Стр. 242.

³³ самую жизнь / самое жизнь (А)

Стр. 244.

¹⁰ по десяти раз на день / по десяти раз в день

- ³⁰ Егор Семеныч / Егор Семенович
Стр. 245.
- ^{9, 16} Егор Семеныч / Егор Семенович
Стр. 246.
- ⁴ с Егором Семенычем / с Егором Семеновичем
^{8, 21, 30} Егор Семеныч / Егор Семенович
⁹ Ивана Карлыча / Ивана Карловича
¹¹ и другой / а другой (А)
Стр. 247.
- ⁹ с Егором Семенычем / с Егором Семеновичем
¹¹ Егор Семеныч / Егор Семенович
¹⁶ Егора Семеныча / Егора Семеновича
Стр. 249.
- ¹¹ уже было пусто / было уже пусто (А)
²⁸ Егор Семеныч / Егор Семенович
Стр. 250.
- ³¹ Егор Семеныч / Егор Семенович
Стр. 251.
- ¹⁴⁻¹⁵ Егор Семеныч / Егор Семенович
¹⁷ Егора Семеныча / Егора Семеновича
Стр. 252.
- ⁷ зелеными пятнами лежал / темными пятнами лежал
Стр. 254.
- ⁶⁻⁷ напилась чаю, легла / напилась чаю и легла
³⁶ Егор Семеныч / Егор Семенович
⁴⁰ вскрикнула раздирающим голосом / вскрикнула разди-
рающим душу голосом (А)
Стр. 255.
- ²⁸ кроме него / кроме его (А)
Стр. 256.
- ¹² После: болезнь — лечиться (А)

БАБЬЕ ЦАРСТВО

Варианты журнала «Русская мысль» (РМ),
сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)
и отдельного издания «Бабье царство» (Бц)

- Стр. 258.
- ²⁶ побьют кого / побьют кого, или убьют (РМ)
Стр. 259.
- ⁸ Акимом Иванычем / Акимом Ивановичем⁴

⁴ Далее так по всему тексту.

²⁶ Взгляд ее упал / Взгляд ее опять упал (РМ, ПиР₁, Бц)

²⁸ нельзя ничею давать рабочему даром / нельзя, не допустить Назарыч; по его мнению, рабочему нельзя ничего давать даром (РМ)

Стр. 261.

⁷ сырость, клопы, разврат, безначалие / сырость, безначалие (Бц)

Стр. 262.

²¹⁻²² Иван Иванович / Иван Иванович ¹

Стр. 263.

⁴¹ оставила ухват / отставила ухват (РМ, ПиР₁, Бц)

Стр. 264.

²¹ Он повернул к столу / Он вернулся к столу (РМ, ПиР₁, Бц)

Стр. 265.

²⁴ меж двух кроватей / между двух кроватей

³⁵ плоскозубцы / плоскогубцы (РМ, Бц)

Стр. 266.

¹⁷ брошено, а деньги пойдут / брошено, и деньги пойдут

³⁰⁻³¹ смотрят ей в руки / смотрят на ее руки

⁴³ давал ей объяснения / давал объяснения

Стр. 267.

¹ прямо с завода / прямо из завода (РМ)

Стр. 268.

²⁶ праздника встретить / праздник встретить

Стр. 270.

¹⁴ у себя в комнате / у себя в комнатке (РМ, ПиР₁)

Стр. 271.

⁸ и уже понесся / и уже пронесся (РМ, ПиР₁, Бц)

²⁶ Увидев Анну Акимовну / Увидав Анну Акимовну (РМ, ПиР₁, Бц)

³¹⁻³² не посмел войти / не смел войти (Бц)

Стр. 272.

²⁵ басовый кашель / басовой кашель (РМ)

Стр. 273.

³ бухгалтер и проч. / бухгалтер и т. п. (РМ)

Стр. 274.

²² талия высокая / талия высока (РМ)

²⁷ какой он был вчера / какой он вчера был

Стр. 275.

¹⁹ на ходу, пожимаясь от холода / на ходу

¹ Далее так по **всему** тексту.

- 28-29 так понимаю, бедные должны / так понимаю, что бедные
должны
- Стр. 276.
- 8-9 Слов: никому она не нужна — нет.
- 17 кажется, вы сами / кажется, что вы сами
- Стр. 277.
- 2 Фразы: Бедный студент! — нет (РМ, ПуР₁, Б₄)
- 5-6 спрашивала Анна Акимовна / спрашивала теперь Анна
Акимовна
- 35 то, что происходило теперь / то, что происходило (РМ,
ПуР₁₋₂)¹
- Стр. 279.
- 12 трюфели, тертую редьку / трюфели и тертую редьку (РМ,
ПуР₁, Б₄)
- 10 щелкнуть пальцами / щелкнет пальцами
- 10-20 старо, обыкновенно / старо, обыденно (РМ)
- 35 за которым он присылал / за которым присылал (Б₄)
- Стр. 280.
- 3 Виктор Николаич / Виктор Николаевич
- 12 с Анной Акимовной / с Анной Иакимовной (РМ, ПуР₁,
Б₄)
- 16 то кажется / то мне кажется (РМ, ПуР₁, Б₄)
- 19-20 Leconte de Lisle / Le conte Delisle
- Стр. 281.
- 1 кусочек семги / кусок семги
- 20 немножко развратна / немножечко развратна (РМ)
- 25-26 ешьте гашиш / ешьте гашиш, занимайтесь спиритизмом
(РМ)
- Стр. 284.
- 5 Виктор Николаич / Виктор Николаевич
- 19-20 Укронные уголки с фотографиями / Укронных уголков
с фотографиями (Б₄)
- 33-34 кофе и ликеры / кофе и ликер
- Стр. 287.
- 39-40 благотворительном учреждении / благотворительном об-
ществе
- Стр. 288.
- 1 Анна Акимовна / Анна Иакимовна (РМ, ПуР₁, Б₄)
- 1 сказал он Крылину / сказал он (РМ, ПуР₁, Б₄)

¹ В Б₄ опечатка: что, то происходило

Стр. 289.

¹¹ королевну глядеть / королеву глядеть (Бц)

³¹ поставила тоже / тоже поставила

⁴³ детей рожали и отправляли / детей рожали и отправляли их (РМ, ПуР₁, Бц)

Стр. 290.

¹⁸ волновала ее душу / взволновала ее душу

Стр. 291.

³⁵ словно монашенки / словно монашки (РМ)

³⁶ измучится вся / измучается вся (РМ, ПуР₁, Бц)

Стр. 292.

³⁷⁻³⁸ в старых девках оставаться / в старых девах оставаться (Бц)

Стр. 292—293.

¹³⁻¹ никто не может / никто не смеет (РМ, Бц)

Стр. 293.

²⁷ я бы за простого пошла / я бы и за простого пошла (РМ, ПуР₁, Бц)

²⁸⁻²⁹ какого бы ты тогда себе молодца выбрала / какого бы ты тогда могла себе молодца выбрать (РМ)

³⁴⁻³⁵ Хоть наших заводских взять / Взять хоть наших заводских (РМ)

³⁷⁻³⁸ за Лебединского Василия / за Лебединского Василья (РМ, ПуР₁, Бц)

Стр. 295.

³⁶⁻³⁷ вообразила Пименова обедающего / вообразила Пименова обедающим (РМ)

Стр. 296.

¹⁷ гребенкой об пол / гребенкой о пол (РМ)

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Варианты газеты «Русские ведомости» (РВ)

и сборника «Повести и рассказы» (ПуР₁₋₂)

Стр. 297.

²⁷ жиновский оркестр / еврейский оркестр (РВ)

²⁸ Моисей Ильич / Мойсей Ильич (РВ)

³⁷ тощий жид / тощий еврей (РВ)

Стр. 298.

¹ проклятый жид / проклятый еврей (РВ)

⁶⁻¹⁰ и Ротшильд обиделся ∞ Потом заплакал. / и Ротшильд плакал. (РВ)

⁹ в окошке / в окошко (ПуР₁₋₂)

15-16 в воскресенье и праздники / в воскресенье и в праздники
Стр. 299.

16 за всю жизнь / за всю свою жизнь

Стр. 300.

14 досвиданция, бонжур. / до свиданья...

22 Слова: Досвиданция. — нет.

35 Слова: Ддубина... — нет.

Стр. 301.

22 девочка / деточка

Стр. 302.

11 После: выражением. — Теперь бы он и не прочь был пожа-
леть, купить ей чего-нибудь, да уж поздно, не воротить...

25-31 крикнул Яков ∞ Житья нет от пархатых! / рассердился
Яков и бросился на него с кулаками. — Прочь с глаз
долой, харя, а то я из тебя поганую душу вышибу! Житья
нет от пархатых!

Он не побил его, но сильно испугал. (PB)

28 ви пожалуста потише, а то ви у меня / ви пожалуста по-
тише, а то вы у меня (ПиР₁₋₂)

31 После: кулаками: — Прочь, харя, а то я из тебя поганую
душу вышибу (ПиР₁₋₂)

37 с криками / с криком

Стр. 303.

28 не пустячная / не пустяшная

Стр. 304.

12 люди пмели бы / то люди имели бы

Стр. 305.

13-14 В среду швадьба... Да-а! / В среду свадьба... да-а!

15 целовека / человека

15 швадьба / свадьба

34 После: батюшка — липейка (PB)

СТУДЕНТ

Варианты газеты «Русские ведомости» (PB)

и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

Стр. 306.

8-9 ледяные иглы / льдяные иглы (PB)

Стр. 307.

10 а потом вяньках / а потом в няньках

27-28 Текста: Он посмотрел кругом ∞ и спросил: — нет. (PB)

Стр. 308.

18 Он третий раз / Он в третий раз (PB)

- ²⁴ едва слышатся / раздаются (РВ)
 Стр. 309.
⁶⁻¹⁰ и, вероятно, к этой пустынной деревне ∞ в душе Петра. / к этой пустыне, деревне, к нему самому, и если старуха заплакала, то не потому, что он умеет рассказывать... (РВ)
¹⁷ переправлялся / переправился (РВ)
²²⁻²⁴ продолжались непрерывно ∞ вообще на земле / продолжают до сего дня и составляют главное на земле (РВ)

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Варианты газеты «Новое время» (НВ)
 и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

- Стр. 310.
² Знака главы: I — нет. (НВ)
⁷ Шелестов / Шидловский ¹ (НВ)
¹⁰ Шелестова / Шидловская ¹ (НВ)
¹⁴ стали звать Марией Годфруа / стали звать еще и Марией Годфруа (НВ)
³² вовсе не шел / совсем не шел (НВ)
 Стр. 311.
⁴⁰⁻⁴¹ И он ревновал / И за это он ревновал
 Стр. 312.
¹⁸ но всё же / по все-таки (НВ)
²⁷⁻²⁸ танцевали / плясали (НВ)
³¹ Из сада / Из саду (НВ)
 Стр. 313.
⁷ сидел старик / сидел уж старик (НВ)
 Стр. 314.
⁹ После: выйдет замуж.— Мавурку плясала она изящно и солидно, как полька, романсы пела очень мило, на рояли играла недурно и общество ее было бы незаменимо, если бы была хоть какая-нибудь возможность говорить с нею. (НВ)
 Стр. 315.
⁴¹ танцевать вальс / плясать вальс (НВ)

¹ Далее так по всему тексту.

Стр. 316.

²⁷ до сих пор еще не читал / до сих пор не читал еще (НВ)

Стр. 317.

¹⁰ напоминало / напомнило

²² по колено / по колена (НВ)

Стр. 319.

⁸⁷⁻⁸⁸ в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. / в оде-
же спать нельзя. От этого одежа портится (НВ)

Стр. 320.

¹⁰ в одежде / в одеже (НВ)

³²⁻³³ и платил / платя

Стр. 321.

¹⁰ стучала ножницами / звякала ножпицами

Стр. 322.

²⁻⁶ на четырех десятинах / на двух десятинах

³ Много было и цветов / Много места было отдано и под
цветы. (НВ)

¹¹⁻¹² тюльпаны и ирисы / тюльпаны и петушки (НВ)

¹⁵ уже в сборе и танцевали мазурку / уже все в сборе и
плясали мазурку

Варианты газеты «Русские ведомости» (РВ)
и сборника «Повести и рассказы» (ПиР₁₋₂)

Стр. 324.

⁷ Знака главы: II — нет. (РВ)

⁹⁻¹⁰ Манюсю / Маню ¹ (РВ)

²² на Неглинном / на Неглинной ³

³⁰ Я вспомнил / Я вспоминал

Стр. 325.

⁷ Ипполитыч / Ипполитович ¹ (РВ)

³⁹ ложечкой / ложкой (РВ)

Стр. 327.

¹⁴ Фразы: Пошутил! — нет. (РВ)

Стр. 328.

¹⁹ с кладбища / из кладбища (РВ)

Стр. 328—329.

⁴¹⁻⁷ Текста: Только одно иногда волновало ∞ Ррр... нга-нга-
нга... — нет. (РВ)

¹ Далее так по всему тексту.

Стр. 330.

²⁶ в виде длинных теней / в виде длинных мопахншь (РВ, ПуР₁)

²⁹ спокойно / покойно (РВ)

³⁷⁻⁴¹ Текста: И в воображении вдруг ∞ как вы опустились! — нет. (РВ)

Стр. 331.

⁴⁻⁵ Текста: В ответ ему ∞ Рrrr... нга-нга-нга... — нет. (РВ)

¹⁵⁻¹⁶ Текста: И через минуту опять повторил: — Мило! — нет. (РВ)

²⁰ успокаивал / успокоивал

Стр. 332.

¹ уже начиналась / начиналась (РВ)

¹³⁻¹⁸ Текста: Варя была с заплаканными глазами ∞ милостивый государь! — нет. (РВ)

¹⁹ Никитин приятно улыбался / Он приятно улыбался (РВ)

В УСАДЬБЕ

Варианты газеты «Русские ведомости» (РВ)

и сборника «Повести и рассказы» (ПуР₁₋₂)

Стр. 334.

⁴ наплыв мыслей / наплыв мыслей и слов (РВ)

⁵⁻⁸ был ему симпатичен и вдохновлял его ∞ не любил / был ему симпатичен. Нравился ему в нем молодость, здоровье, прекрасные манеры, солидность, молчаливость, а главное — отношение этого молодого человека к нему и к его семье. Знакомые не любил (РВ)

¹⁶⁻¹⁷ Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком / Нравился он также как молодой человек (РВ)

³¹ то эти качества / то эти его качества (ПуР₁₋₂)

Стр. 335.

¹⁻² через упражнение / через упражнения (РВ)

²⁹ Тургенев, Гончаров, Толстой / Тургенев, Толстой

²⁹ не дьячковские дети-с / не дьячковские они дети-с (РВ)

³⁴ Что вы, например, скажете, сударь мой / Что вы, например, скажете (РВ)

Стр. 338.

⁶ как будто это они / как будто они это

Стр. 339.

¹⁰ тыча перед собой / тыча вперед себя

³⁵ поздно восходит / поздно выходит
Стр. 340.

¹⁴ бормотал / бормочет (РВ)

³¹ После: молодости...— Обе девушки были красивы и трогательны. Рашевичу хотелось постучаться к ним и сказать, что у него и в мыслях не было оскорблять бедного Мейера. Разве он мог предвидеть, что разговор окончится так неожиданно глупо? Ведь он отдал бы Женю за Мейера с радостью, несмотря на его мещанское происхождение, и сам он был женат на дочери разночинца, и если давеча завел речь о белой кости, то потому только, что думал, что его мысли новы и оригинальны, и потому, что хотелось угодить и понравиться тому же Мейеру. С каким удовольствием он догнал бы следователя и завел бы новый, длинный разговор, но уже об интеллигенции, вышедшей из народа, о свежих, обновляющих силах и проч. И уж как бы он продернул эту хваленую белую кость! (РВ)

³² Рашевич сел / он сел (РВ)

Стр. 341.

²¹ тыча перед собой / тыча вперед себя

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

*Варианты газеты «Русские ведомости» (РВ)
и сборника «На трудовом пути» (Сб. 1901)*

Стр. 343.

¹ между тем / а между тем (Сб. 1901)

³⁵ и не стесняться / не стесняясь (Сб. 1901)

Стр. 344.

¹⁴ Он знает всё / Он всё знает (Сб. 1901)

²¹⁻²³ звали к больному ∞ как бы высоки они ни были / звали к больному на горы, он забывал про себя и, задыхаясь, взбирался на высоту, и прежде чем приступить к больному, должен был выкашлянуть из своей груди куски запекшейся крови

²⁴⁻²⁵ Денег не брал, и, странное дело, когда / Денег не брал. Он был мудр и, конечно, знал лучше всех, что без смерти не может быть и жизни на земле, но, странное дело, когда

²⁸ ранее / раньше (Сб. 1901)

³² и в его окрестностях / и его окрестностях

Стр. 344—345.

⁴³⁻¹ не хочет ли он есть / не хочет ли он кушать (РВ)

Стр. 345.

⁴⁻⁵ далее, понятное дело, бабушка рассказывала / далее ба-
бушка рассказывала

¹⁸ мог убить / мог убить

²⁸⁻²⁹ низости и гнусности / жестокости и гнусности (Сб. 1901)

³⁰ Фразы: Не так ли? — нет.

³³ развратною жизнью / нехорошою жизнью (Сб. 1901)

Стр. 346.

⁷ а кончили / и кончили

²⁹ принесет / принес

³³ каждого человека / человека (Сб. 1901)

³³⁻³⁴ Фразы: Каждого! — нет.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

- ГБЛ** — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (Ленинград).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Рукописный отдел (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Печатные источники

В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма), том (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

- Вокруг Чехова* — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.
Записки ГБЛ — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ЛН — «Литературное наследство», т. 68. Чехов. М., Изд-во АН СССР, 1960.
Письма — Письма А. П. Чехова. М., издание М. П. Чеховой. Биографические очерки М. Чехова, т. 1—2, 1912; т. 3, 1913; т. 4, 1914; т. 5, 1915; т. 6, 1916.
Письма Ал. Чехова — Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступит. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939 (Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина).
ПССП — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XX. М., Гослитиздат, 1944—1951.
Слово, сб. 2 — «Слово», сборник второй. К десятилетию смерти А. П. Чехова. Под ред. М. П. Чеховой. М., 1914. Кн-во писателей в Москве.
Чехов — Антон Чехов. Рассказы. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., «Сочинения А. П. Чехова, т. V, VI, VIII, 1901».
Чехов в воспоминаниях — А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960.
Чехов и его среда — Чехов и его среда. Сб. под редакцией Н. Ф. Бельчикова. Academia, Л., 1930.

В восьмой том входят рассказы и повести Чехова 1892—1894 годов.

За исключением четырех юмористических «мелочей», написанных специально для «Осколков» («Отрывок», «История одного торгового предприятия», «Из записной книжки старого педагога», «Рыбья любовь»), все художественные сочинения этого времени вошли в издание А. Ф. Маркса.

В 1892—1894 годах существенно изменились литературно-издательские связи Чехова.

Прекратилось сотрудничество Чехова в «Северном вестнике», где раньше (в 1888—1889 годах) были напечатаны такие значительные вещи, как «Степь», «Скучная история», «Иванов». Последним произведением Чехова в этом журнале был рассказ «Жена», опубликованный в январской книжке 1892 года.

Почти семь лет (с 1886 г.) Чехов печатался в «Новом времени», опубликовав в этой газете несколько десятков рассказов, очерков, фельетонов. В 1892 г. в ней появился только один его рассказ («Страх»). С февраля 1893 года Чехов перестал сотрудничать в суворинской газете.

Началось сотрудничество в журнале «Русская мысль» и в газете «Русские ведомости». В «Русской мысли» Чехов опубликовал в 1892—1894 годах «Палату № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Бабье царство», «Остров Сахалин». В «Русских ведомостях» — рассказы «Володя большой и Володя маленький», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «В усадьбе», «Рассказ старшего садовника».

Высказывалось мнение, что редакция «Русской мысли» не сразу решилась пригласить Чехова. «Журнал был ярко либеральный, — писал в своих воспоминаниях Вл. И. Немирович-Данченко, — редактором был Гольцев, долгое время журнал относился к Чехову осторожно, как к писателю с репутацией безыдейного. Но любовь публики к Чехову так крепла и ширилась, что в конце концов „Русской мысли“ пришлось капитулировать и обратиться к нему с приглашением» (Вл. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. М., 1938, стр. 52). Это было не совсем так.

Еще в 1886 г. «Русская мысль» (одной из первых среди толстых журналов) поместила рецензию на «Пестрые рассказы» Чехова. Особенно отмечалась «честность мысли», что, как подчер-

кивалось в рецензии, делает «для нас г. Чехова особенно симпатичным писателем» (№ 7, стр. 10). В архиве Чехова хранится сделанная им выписка из этой рецензии (*ГБЛ*). Чехов следил за журналом.

Вскоре редакция пригласила Чехова сотрудничать в журнале. О приглашении и о своем желании написать в «Русскую мысль» рассказ Чехов сразу же сообщил Н. А. Лейкину (письмо от 30 июля; см. ему же, 20 августа). Намерение дать рассказ в журнал Чехов не осуществил. До 1890 г. «Русская мысль» не раз писала о нем (о повести «Степь», рассказе «Огни»). Чехов продолжал внимательно следить за журналом; в его письмах этих лет отзывы о «Русской мысли» встречаются неоднократно. Вопрос о привлечении Чехова к сотрудничеству в эти годы в редакции, несомненно, вставал. Н. С. Лесков впоследствии вспоминал: «Виктор Александрович (Гольцев) когда-то там говорил мне, что если бы мне довелось встретить даровитого работника, то чтобы я не упустил случая привлечь такого для „Русской мысли“. Я (. . .) на этом основании указывал на Чехова . . .» (письмо В. М. Лаврову от 11 сентября 1894 г. — *ГБЛ*).

В 1890 г. у Чехова с редакцией «Русской мысли» произошел конфликт. В третьей книжке журнала за 1890 г. в общем обзоре Чехов был назван, наряду с И. И. Ясинским, «жрецом беспринципного писания». Чехов обратился к Лаврову с большим письмом: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был. (. . .) Обвинение Ваше — клевета» (10 апреля 1890 г.). Всякие отношения с членами редакции («даже обыкновенное папочное знакомство») были прерваны более чем на два года. Инициатором примирения выступил П. М. Свободин, который в июне 1892 г. гостил то у Лаврова, то у Чехова (В. Л а в р о в. У безвременной могилы. — «Русские ведомости», 1904, № 202, 22 июля). «Ну, разумеется, „вся редакция“ в восторге, — писал Свободин Чехову 23 июня 1892 г. о результатах своих переговоров, — кланяются и благодарят. Вы получите письмо, которое послужит Вам документальным доказательством, что никто Вас кушать не хотел и все желают Вам здоровья и долголетия» (*ГБЛ*). Доказательство вскоре явилось; это было письмо Чехову Лаврова от того же 23 июня. Издатель «Русской мысли» выражал надежду, что «печальное недоразумение, возникшее между нами года два тому назад», будет покончено, и заверял: «Редактируемый мною журнал всегда с величайшим сочувствием следил за Вашею литературною деятельностью», «Ваше произведение найдет самый радужный прием на страницах „Русской мысли“» (*ГБЛ*). «У меня сенсационная новость, — сообщил Чехов Л. С. Мизиновой 28 июня, — „Русская мысль“ в лице Лаврова прислала мне письмо, полное деликатных чувств и уверений. Я растроган, и если б не моя подлая привычка не отвечать на письма, то я ответил бы, что недоразумение, бывшее у нас года два назад, считаю поконченным».

Сначала Чехов предназначал в «Русскую мысль» только «Рассказ неизвестного человека». Но когда решено было взять «Палату № 6» из «Русского обозрения», сотрудником которого Чехов так и не стал, она тоже была отдана «Русской мысли». В 1894 г. в журнале был опубликован рассказ «Бабье царство»; в 1893—1894 гг. печатался «Остров Сахалин».

Чехов был внимательным читателем газеты «Русские ведомости» задолго до того как стал ее сотрудником (см. письмо Лейкину от 16 февраля 1886 г. с рекомендацией прочесть опубликованный в газете «Праздный разговор» М. Е. Салтыкова-Щедрина). В Москве «есть единственная приличная и платящая газета — это „Русские ведомости“, — писал Чехов В. В. Билибину 28 февраля 1886 г., высказывая в этом же письме критические замечания по поводу «сухости» тона газеты и прочих ее недостатков (см. об этом также в письме Лейкину от 20 сентября 1886 г.). Чехов уже в 1888 г. состоял с редакцией «Русских ведомостей» в достаточно близких отношениях для того чтобы рекомендовать как постоянных сотрудников для газеты И. Л. Леонтьева (Щеглова) и К. С. Баранцевича (см. письма Чехова Леонтьеву (Щеглову) от 28 января 1888 г. и Баранцевичу от 4 февраля 1888 г.). Теснее сблизился Чехов с редакцией «Русских ведомостей» во время подготовки сборника «Помощь голодающим», изданного «Русскими ведомостями» в 1891 г. (см. письмо А. С. Суворину от 13 октября 1891 г.). Начиная с 1893 г. преимущественно в этой газете Чехов помещал небольшие свои рассказы.

Чехов постоянно получал приглашения все в новые и новые журналы — редакторы хорошо понимали притягательную силу его имени. Так, В. А. Тихонов, редактор «Севера» — журнала, в котором была в январе 1892 г. опубликована «Попрыгунья», — писал Чехову 12 сентября 1891 года: «„Север“ нужно поднять. Помогите мне в этом деле, помогите мне встать на ноги. Вы, конечно, несмотря на всю Вашу скромность к себе, отлично понимаете, какое громадное значение имеет Ваше участие в нашем журнале, а потому позвольте мне выставить Ваше имя в числе сотрудников „Севера“» (ГБЛ). «Непреренно хочу открыть будущий год А. Чеховым, — писал он два месяца спустя. — (. . .) Только тогда буду считать себя счастливым, когда в первом номере 1892 г. будет красоваться Ан. Чехов» (20 ноября 1891 г., там же).

Когда Чехов прислал в журнал «Всемирная иллюстрация» свой рассказ, там был дан анонс: «В ближайшем номере „Всемирной иллюстрации“ появится новое произведение нашего высокоталантливого беллетриста Антона Павловича Чехова „В ссылке. (Бытовой очерк)“» (1892, № 18, 25 апреля). Анонс был напечатан очень крупным шрифтом на первой странице, сразу под названием журнала; обычно на этом месте публиковались только редакционные извещения о подписке. Это вызвало недовольство Чехова. «Передайте редакции, — писал он П. В. Быкову 4 мая 1892 г., — что анонс, в котором она величает меня „высокоталантливым“ и заглавие моего рассказа печатает буквами вывесочного размера, — этот анонс произвел на меня самое неприятное впечатление (. . .) Я знаю цену рекламе и не против нее, но для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую лучшую и верную рекламу». Сотрудничество Чехова в журнале после опубликования рассказа «В ссылке» прекратилось.

Еще в 1889 г. редактор «Недели» П. А. Гайдебуров обращался к Чехову с предложением сотрудничать в журнале. В январе 1891 г. он снова написал: «Сегодня я случайно узнал, что у Вас есть две новые готовые вещи. Я был бы очень благодарен, если бы Вы дали что-нибудь из них для „Недели“, и мог бы напечатать в

мартовской книжке» (*ГБЛ*). Чехов на эти просьбы не откликнулся; сближение с редакцией «Недели» произошло позже, после знакомства с ее секретарем М. О. Меньшиковым. Рассказ Чехова («Соседи») был напечатан в «Книжках Недели» в июле 1892 г. После этого в течение длительного времени редакция вела переписку с Чеховым, напоминая про обещание дать новое произведение. Чехов прямо не отказывался, но в ближайшие годы так и не дал рассказа. Второй раз он выступил в этом журнале только в 1899 году.

В журнале «Артист», где в 1889—1890 годах были помещены драматические миниатюры Чехова «Калхас», «Медведь», «Трагик поповоле», «Предложение», после четырехлетнего перерыва был опубликован один его рассказ («Черный монах», 1894 г.). Редактор журнала Ф. А. Куманин имел намерение перепечатывать произведения Чехова, появившиеся в других изданиях. Очевидно, именно это привело к осложнению отношений. 21 ноября 1894 г. Чехов писал Лаврову о Куманине: «Так как эта трудолюбивая пчела намерена собирать мед упрощенным способом — не трогая цветов, брать его прямо из чужих ульев, то я ей ответил, что дать свое согласие на такой способ я могу не иначе, как только с разрешения тех, кто владеет этим ульем». Больше в журнале «Артист» Чехов не печатался.

Один рассказ («После театра») был опубликован в «Петербургской газете», где Чехов давно уж не печатался, и несколько мелочей — в журнале «Осколки», в котором Чехов тоже не выступал более пяти лет.

В 1893—1894 годах появилось несколько отдельных изданий чеховских рассказов в «Посреднике». Но это были старые вещи, отданные туда уже давно и не вышедшие ранее только из-за издательских задержек. Эти задержки вызвали обострение отношений с «Посредником» (см. комментарий к «Палате № 6» в наст. томе). И хотя все в конце концов уладилось, из новых произведений там были изданы только «Палата № 6» и «Бабье царство».

В 1894 г. вышел «Повести и рассказы» Чехова в издании И. Д. Сытина. В сборник вошли рассказы «Бабье царство», «Попрыгунья», «Черный монах», «В ссылке», «Скрипка Ротшильда», «Володя большой и Володя маленький», «Учитель словесности», «В усадьбе», «Отец», «Студент», «Соседи». За исключением рассказа «Отец» (1887) все остальные были написаны в 1892—1894 годах. Знакомство с издателем возникло в связи с сотрудничеством Чехова в «Посреднике» («Посредник» печатал свои издания в типографии Сытина). Возможно, что первый разговор об издании сборника рассказов произошел в конце октября или начале ноября 1893 г. (Иер. Я с и н с к и й. Роман моей жизни. М.— Л., 1926, стр. 267). Но договор был заключен позднее. 18 декабря 1893 г. Чехов писал Суворину: «На днях я был у Сытина и знакомился с его делом. Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика покупателя не толкают в шею». Контракт был заключен 16 декабря 1893 г. (хранится в *ГБЛ*). В нем предусматривалось, помимо выпуска десяти тысячным тиражом сборника, состоящего из двенадцати листов, отдельное издание двух рассказов — «Черный

монах» и «Бабы царство» (отдельное издание «Черного монаха» осуществлено не было).

Состав сборника определился не сразу. Первоначально он был меньше. Это не устраивало издателя. «К сожалению, нам нельзя кончать печатание, — писал Сытин Чехову 1 сентября 1894 г. — У нас вышло только 9 лист(ов) — вся книжка, а следовало 12. Я думаю, что Вы будете так добры, пришлете дополнительный рассказ, а иначе по цензурным условиям менее 10 лист(ов) мы не можем печатать без предварительной цензуры, благоволите пополнить» (ГБЛ). Очевидно, тогда же сборник и был дополнен до нужного объема (среди добавленного скорее всего были «Отец» и только что опубликованный рассказ «В усадьбе»). Корректуру сборника Чехов держал по возвращении из-за границы, в октябре 1894 г. (письма Суворину от 15 октября и И. И. Горбунову-Посадову от 24 октября). В первых числах ноября начал печататься тираж; в конце декабря Чехов получил авторские экземпляры (22 декабря 1894 г. датирована надпись на экземпляре, подаренном Н. М. Ежову; ПССП, т. XX, стр. 334). Основной тираж был отпечатан, как видно из письма Чехова Суворину от 21 января 1895 г., в этом месяце.

Переговоры о подготовке второго издания начались с Сытиным в сентябре 1897 г. (письмо Сытина Чехову от 22 сентября 1897 г. — ГБЛ; см. также письмо Чехова к П. А. Сергеенко от 20 января 1899 г.; письма Чехова Сытину этой поры неизвестны). «Книжку Вашу издам и печатать ее начнем около Нового года», — писал Сытин Чехову 7 октября 1897 г., высказывая далее свои соображения насчет тиража (5 тыс.) и гонорара за второе издание. Очевидно, издание задержалось, в связи с пребыванием Чехова за границей, до мая 1898 г. (в письме от 16 мая 1898 г. Сытин просил Чехова прислать для набора просмотренный экземпляр). Для второго издания Чехов перечитал тексты и внес поправки.

В 1893 г. в «Посреднике» был переиздан сборник «Палата № 6», только что вышедший у Суворина. В сборник, кроме «Палаты № 6», вошли еще три рассказа: «Бабы» (1891), «Страх» (1892) и «Гусев» (1890). У Суворина сборник переиздавался до 1899 года еще шесть раз; в «Посреднике» он был повторен в 1894 и 1899 годах.

Отдельным изданием в 1892 г. вышел рассказ «Каштанка» (изд. А. С. Суворина, СПб.); до 1894 г. было еще два издания.

В 1892—1894 годах вышли 3—5 изд. «Пестрых рассказов», 6 и 7 изд. сборника «В сумерках», 3—5 изд. «Хмурых людей», 6—8 изд. «Рассказов», 1—4 отдельные издания повести «Дуэль».

По-видимому, в конце 1894 г. у Чехова впервые явилась мысль о собрании сочинений; 2 ноября 1894 г. он писал Суворину: «Если в самом деле издавать мои произведения томиками...» (см. также письмо Суворину от 27 ноября 1894 г.).

Начиная с 1890-х годов, больше, чем за предшествующие годы, дошло документальных материалов о творческой работе Чехова — его писем, рукописей, воспоминаний современников,

дарительных надписей; 1891-м годом датирована первая известная нам его записная книжка. Все это дает возможность в большем объеме установить творческую историю произведений Чехова этого времени, их связь с реальными событиями; позволяет сделать вывод о значительнейшей, чем иногда считают, фактической основе чеховской прозы (см., например, комментарий к рассказу «В ссылке»).

Поездка на Сахалин уходила в прошлое. Наступило время осмысления путешествия и картин «каторжного острова». «Я умею писать только по воспоминаниям,— говорил он несколько лет спустя,— и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне пужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (письмо Ф. Д. Батюшкову 15 декабря 1897 г.). Впечатления сибирского пути легли в основу рассказа «В ссылке»; сахалинские размышления, несомненно, нашли отражение в «Палате № 6» и «Рассказе неизвестного человека».

В письмах Чехова этого времени сохранились упоминания о некоторых замыслах, которые не были осуществлены.

В начале 90-х годов Чехов задумывал «пьесу из сибирской жизни» (см. письмо Суворину от 28 июля 1893 г.). Слухи о ней даже проникли в печать. «Одесские новости» 16 июня 1893 г. (№ 2648) писали: «Известный беллетрист Антон Чехов только что окончил новую комедию, героем которой является один из сосланных в Сибирь известных петербургских дельцов». Но пьеса написана не была; заметку в газете Чехов опровергал, называя ее «чистой выдумкой» (письмо к Л. Я. Гуревич 28 июня 1893 г.).

4 июня 1892 г. Чехов сообщал Суворину о замысле комедии «Портсигар». 26 января 1892 г. он писал Е. П. Егорову о какой-то пьесе, которая «поставлена не будет».

В письме Суворину 16 февраля 1894 г. Чехов обрисовывал тип героя из пьесы, которую он собирался писать в Крыму. В этом же письме он подробно излагал сюжет какого-то рассказа.

Известно о замысле Чехова (из письма к нему Л. Б. Яворской) написать одноактную пьесу: «Сюжет Вы мне рассказали, он до того увлекателен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пьеса будет называться „Грезы“. Это отвечает заключительному слову графини: „Сон!“» (2 февраля 1894 г. — ГБЛ).

В 1894 г. Чехов неоднократно высказывал в письмах намерение издавать журнал. 6 октября 1894 г. он писал В. А. Гольцеву: «Хочу скопить тысячи 3—4 и начать издавать журнал». Это не было настроением минуты: 28 ноября 1894 г. он о том же писал Ежову; через год эта мысль повторяется в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) (5 октября 1895 г.).

В эти годы в своих высказываниях о литературе, в письмах начинающим авторам Чехов продолжает настойчиво говорить о принципе объективности изображения (ср. предисловие к комментариям VII тома Сочинений). «Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя,— советовал он Л. А. Авилевой 19 марта 1892 г.,— то старайтесь быть холоднее— это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее. А то у Вас и герои плачут и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны». «Как-то писал я Вам,— разъяснял он через

полтора месяца свою мысль, — что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать» (Авиловой, 29 апреля 1892 г.).

В собственной художественной практике Чехова объективная манера окончательно складывается и завершается. В эти годы даны такие ее образцы, как «Попрыгунья», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда». Но в одном произведении («Палата № 6») есть черты, не свойственные манере Чехова этого времени. Наряду с обычным для Чехова объективным повествователем в повести, написанной в целом в третьем лице, обнаруживается некий персонафицированный рассказчик, выступающий в первом лице. Он обращается к читателю, сообщает о своем знакомстве с персонажами, выступает с прямыми оценками. В поэтике Чехова зрели перемены.

3

В 1892—1894 годах Чехов — в центре внимания литературной критики. Почти каждое его напечатанное в журналах произведение (газетных рассказов критика по традиции почти не замечала) становилось литературным событием, вызывало долго не затихающую полемику.

Но старые оценки и репутации меняются медленно; одной из главных в критических статьях этих лет продолжала быть давнишняя мысль об отсутствии в творчестве Чехова «общей идеи», четкого мирозерцания, объединяющего начала. Наиболее последовательно эта точка зрения была сформулирована Н. К. Михайловским в статье «Об отцах и детях и о г. Чехове» («Русские ведомости», 1890, № 104, 18 апреля). Редкая общая статья о Чехове обходилась без цитирования его высказывания о том, как «Чехову все едино, — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца...» В новой статье о Чехове Михайловский подтвердил свой старый взгляд. По-прежнему из всего чеховского творчества им выделялась только «Скучная история», «едва ли не единственное сравнительно большое произведение г. Чехова, которое представляет собой не ряд прекрасно ограниченных бус, механически нанизанных на нитку, а цельный самородок. В „Палате № 6“ мы опять имеем бусы, да еще перепутанные» (Н. М и х а й л о в с к и й. Случайные заметки. «Палата № 6». — «Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря).

Высказывания Михайловского не только цитировались. Они обосновывались и развивались. «Отношение г. Чехова к своему творчеству напоминает приемы фотографа, — писал П. П. Перцов. — С одинаковым беспристрастием и увлечением снимает этот беллетристический аппарат и прелестный пейзаж (. . .) и задумчивое лицо молодой девушки, и взъерошенную фигуру русского интеллигента-неудачника, и оригинальный тип одинокого мечтателя, и тупоумного купца, и безобразные общественные порядки (. . .) Чехову как писателю, как однажды уже было замечено критикой, действительно все равно — колокольчики ли звенят,

человека ли убили, шампанское ли пьют...» (П. П е р ц о в. Изъяны творчества¹. — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 43—44). Эту позицию полностью разделял и М. А. Протопопов. По его мнению, суждения и картины Чехова, среди которых хотя и много «постоящих драгоценностей», тем не менее «представляются какою-то беспорядочною кучей материала»; «в чем состоит мирозерцание его — этого никто не скажет, потому что у г. Чехова его вовсе нет» («Жертва безвременья...» — «Русская мысль», 1892, № 6, стр. 112—113).

Но на подобных позициях стояли не только последователи и сторонники Михайловского. В той или иной мере эту точку зрения поддерживали критики самых разных направлений. «Во всех последних произведениях г. Чехова, — писал М. Южный (М. Г. Зельманов), — (...) прежде всего поражает совершенное отсутствие идеи, являющееся, без сомнения, последствием неопределенного, колеблющегося мирозерцания автора» («Гражданин», 1893, № 89, 2 апреля). Постоянный обозреватель одного из ведущих консервативных органов Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) утверждал, что «упрек в отсутствии тенденциозности, или, как теперь выражаются, „идейности“, стал обыкновенным прищевом всех либеральных критиков» («Московские ведомости», 1894, № 48, 17 февраля). Но и сам он говорил почти то же: «Чехов никак не может осмыслить своих собственных наблюдений, чувств и впечатлений» («Московские ведомости», 1892, № 335, 3 декабря). Так писали многие; здесь были солидарны «Русское обозрение» и «Северный вестник», «Наблюдатель» и «Новое слово», «Московские ведомости» и «Биржевые ведомости». Как констатировал один из критиков, Чехов «давно приобрел репутацию литератора, совершенно равнодушного к каким-либо идеям, своего рода чистого художника, непосредственно и бесцельно сообщаящего публике плоды своих наблюдений» (И. И в а н о в. Заметки читателя. — «Артист», 1894, № 1, стр. 103). О подобной репутации Чехова говорили и другие — А. М. Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля) и В. А. Гольцев («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 42).

Таковы были, по мнению критики, основные черты мировоззрения и мировосприятия Чехова. С ними тесно связывались особенности его поэтики. Так, Перцов прямо заявлял, что от непонимания Чеховым «общественного характера своих произведений» происходит их «неясность и отрывочность», «незаконченность», «обилие лишних фигур и эпизодов», «разбросанность изложения» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 52, 64). «У г. Чехова, — писал К. П. Медведский, — очевидно, нет художественного цемента, которым он мог бы соединить свои разрозненные наблюдения в одно целое. Причина этого, по Медведскому, в «отсутствии стройного мирозерцания» («Наблюдатель», 1892, № 9, стр. 193).

¹ Заглавие принадлежит Михайловскому. Автором статьи была названа «Беллетристическая nature morte» (см. А. В. Л и в р о в. Архив П. П. Перцова. — «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 год», Л., 1976, стр. 25).

Начиная с первой крупной вещи Чехова, повести «Степь», все его большие по объему произведения вызвали упреки в отсутствии четкости композиции, в загроможденности повествования случайными, не идущими к делу деталями. При появлении новых повестей обвинения повторились. В «Палате № 6» и «Рассказе неизвестного человека» нашли те же недостатки. Причину их критика видела в отсутствии «объединяющей идеи». Так, М. Южный писал: «Г. Чехов не раз пытался выйти из узкой сферы тех сценок и набросков, которые когда-то дали ему такой большой успех, но все попытки его были напрасны (...). Нет идеи, которой одухотворялась бы деятельность этого писателя, и все его средства остаются бесплодными» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября). «Он все свое внимание устремляет на подробности, оставляя сущность в стороне» (Ю. Николаев. Литературные заметки. — «Московские ведомости», 1893, № 83, 25 марта).

Повторялись уже не раз высказанные прежде упреки в «мозаичности» эпизодов, из которых невозможно «составить общую картину» (М. Полтавский (М. И. Дубинский). Литературные заметки. — «Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта).

Большие сомнения вызывали у критиков основные принципы построения чеховского сюжета: отсутствие обширных вступлений, «концов», детально разработанной предыстории героев, подробной мотивировки их действий и т. п. Критик «Русского обозрения» писал, что на него рассказ «Бабе царство» «производит впечатление начала обширной повести или даже романа (...) Коль скоро мы имеем перед собой „рассказ“, мы вправе требовать, чтобы он имел начало и конец» (W. Летопись современной беллетристики. — «Русское обозрение», 1894, № 10, стр. 898). В «отрывочности», «недоделанности» сюжета упрекал Чехова А. Л. Вольнский («Северный вестник», 1893, № 5, стр. 131). Обе эти статьи заканчивались серией недоуменных вопросов: «Зачем было „неизвестному человеку“ переодеваться в лакеи, если уже с первой страницы ясно, что мировоззрение его переменялось? (...) Какие психологические мотивы заставили его прибегнуть к лганью? (...) Кто такая Красновская?» («Северный вестник», 1893, № 5, стр. 141). «Почему же она никого другого не видит? Неизвестно. Почему она не живет в Москве или в Петербурге? Неизвестно» («Русское обозрение», 1894, № 10, стр. 899). Новые способы построения сюжета встречались настороженно.

Чеховские принципы изобразительности понимались как нарушение традиционных беллетристических канонов. В этом смысле его все чаще сопоставляли с новыми течениями в европейском искусстве, давшими новые формы; слово «импрессионист», которое так широко вошло в обиход литературы о Чехове в XX веке, уже было произнесено.

Постоянное внимание критиков привлекала чеховская объективная манера. Они не уставали отмечать отсутствие прямых авторских оценок, открыто явленной точки зрения автора на изображаемое. Рассматривая «Палату № 6», Скабичевский замечал, что автор «ни разу не промолвился, какая основная мысль рассказа и какого мнения он о своем герое» («Новости и бирже-

вая газета», 1892, № 334, 3 декабря). Это новое по сравнению с предшествующей традицией качество расценивалось как очевидный недостаток; нормою считалась литература, где «все ясно, точно, определено: цель автора, личность героя, наши отношения к нему» (Н. М и х а й л о в с к и й. Случайные заметки. «Палата № 6». — «Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря).

В другое время, когда поэтика Чехова оценивалась уже иначе, А. И. Богданович писал именно о такой точке зрения: «Критика доброго старого времени (. . .) приучила (. . .) требовать от художников, чтобы они всякий раз подчеркивали свое отношение, и писатель, предоставляющий самому читателю делать выводы из данной им картины, для них прямо непонятен. Литература представляется им чем-то вроде дореформенного учителя с указкой в руке, которою она руководит читателя в прямом смысле слова, и первый вопрос, с которым они обязательно обращаются к писателю, — „как веруешь?“ Правда ли данная им картина, это вопрос второстепенный, и потому такой огромный писатель, как Чехов, давший такую поразительную по пестроте и многообразию жизни картину, но не позаботившийся расписаться, как он сам к ней относится, конечно, человек безыдейный и к добру и злу постыдно равнодушный» («Мир божий», 1902, № 10, стр. 12).

Причины многих произвольных и неожиданных толкований коренились именно в необычности, новизне чеховской «объективной манеры». Уже тогда Скабичевский объяснял: «Вышеозначенное недоразумение, т. е. отрицание у г. Чехова идеалов, происходит между прочим и от той причины, что, как художник в истинном смысле этого слова, г. Чехов никогда не формулирует своих идеалов теоретически» («Новости и биржевая газета», 1893, № 87, 1 апреля). О мастерстве Чехова говорили во всех статьях середины 90-х годов. Но почти всегда оно отмечалось как бы отдельно, в глазах критики оно существовало вопреки основным принципам чеховской поэтики.

4

В это же самое время взгляд на Чехова как писателя, лишённого мирозерцания и «не подающего надежды» (Перцов) в большем понимании общественной жизни в будущем, начинает встречать сильную оппозицию. В последних произведениях Чехова — «Жена», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Остров Сахалин» — многие увидели существенно новое, некий перелом в творчестве.

Опровергая сложившуюся репутацию Чехова как писателя, «равнодушного к каким-либо идеям», Иванов категорически заявлял: «Последние произведения г. Чехова идут безусловно наперекор такому представлению о его таланте. Именно здесь подняты серьезнейшие вопросы общественного содержания, именно здесь с полной ясностью сказалось стремление литературы отдать отчет в знамениях времени!» («Артист», 1894, № 1, стр. 103—104).

В публичной лекции о Чехове, прочитанной 23 марта 1894 г. в Историческом музее, Гольцев говорил: «Не могу согласиться с

критиками Чехова, которые находят некоторую случайность в выборе им тем и бесполезную иногда трату большого дарования на воспроизведение ничтожных явлений. На это были свои условия, и надо надеяться, что художественное творчество Чехова вышло теперь на настоящую дорогу» (В. Г о л ь ц е в. А. П. Чехов... — «Русская мысль», 1894, № 5, стр. 42). В. Голосов в последних повестях Чехова видел признаки «нового удачного периода творчества с сильно общественно-прогрессивным направлением» («Новое слово», 1894, № 1, стр. 378). Полемизируя с Михайловским, Р. И. Сементковский замечал, что у Чехова «начинает все сильнее звучать» общественная нота (Р. С е м е н т к о в с к и й. Шестидесятые годы и современная беллетристика. — «Исторический вестник», 1892, № 4, стр. 197).

Переменил свой взгляд на Чехова и Скабичевский, постоянно упрекавший его в общественном индифферентизме. Уже после появления «Дуэли» и «Женъ» он писал: «До сих пор г. Чехов отличался полным отсутствием какой бы то ни было идейности в своих произведениях, всякой осмысленности (...) Но ныне и он, по-видимому, стремится отдать себе отчет в изображаемых явлениях жизни, осмысливать их, проливать на них высшие философские взгляды» («Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). После выхода в свет «Рассказа неизвестного человека» Скабичевский написал статью под названием «Есть ли у г. А. Чехова идеалы?» («Новости и биржевая газета», 1893, № 87, 94, 101; 1, 8, 15 апреля). На главный вопрос он отвечал положительно. Разобрав сцену объяснения героев в XVII главе «Рассказа неизвестного человека», Скабичевский заканчивал статью обращением «ко всем мало-мальски беспристрастным читателям»: «(...) неужели подобную сцену, которую можно смело поставить на одном ряду со всем, что только было лучшего в нашей литературе, мог создать писатель, не имеющий никаких идеалов?» (№ 101).

К числу критиков, признававших перемены, происшедшие в творчестве Чехова в 1892—1894 гг., присоединился — правда, значительно позже — и Михайловский. В статье «Кос-что о г. Чехове» он писал: «Как „Палата № 6“, так и „Черный монах“ знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как писателе; перелома в его отношениях к действительности» («Русское богатство», 1900, № 4, стр. 133).

По мнению некоторых критиков, этот перелом отразился и в чеховской поэтике. Так, Иванов считал, что в 1892—1893 гг. уже в самой манере Чехова явно стала опущаться «известная тенденция»: «Автор будто торопится высказать свой личный взгляд, представить читателям общие выводы. Герои нередко рассуждают, очевидно, за счет автора, и такие рассуждения — подчас настоящие публицистические речи» («Артист», 1894, № 1, стр. 103—104). Была высказана даже мысль, почти беспрецедентная в литературе о Чехове, — о преобладании в его последних произведениях «идейности над художественностью», о том, что у Чехова теперь «ясно сказывается» «желание поучать, но не трогать, действовать на ум, а не на сердце», что он «заговорил речью Толстого, Бьернсона и прочих моралистов-философов наших дней» (Р-ий. Смелый талант. — «Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля).

Общая оценка творчества Чехова в начале 90-х годов установилась. Талант его признан.

Даже очень скептически в целом относившиеся к Чехову критики — М. Южный, Ю. Николаев, Протопопов — снабжали свои статьи оговорками, иногда весьма существенными. «Значительный литературный талант г. Чехова не подлежит сомнению, — писал Протопопов в статье „Жертва безвременья“. — Г. Чехов одинаково силен и как пейзажист, и как бытописатель, и как психолог. Его описания природы блещут тургеневскою красотой и поэзией, его картины провинциальной жизни правдивы и широки, его психологический анализ тонок и отчетлив» («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 110). Перцов, посвятив свою статью доказательству тезиса об отсутствии у Чехова «ясного мирозерцания», при этом заявлял: Чехов «талант настолько сильный, что ему нет равного в действующей русской беллетристике; талант, в три-четыре года выбившийся из трущоб наших юмористических журналов на первый план, по обращавший на себя внимание еще в этих трущобах; талант, каждая новая вещь которого читается с жадностью, производит сильное впечатление и подымает массу разговоров, — одним словом, светлое и отрадное явление, еще раз доказывающее, что „не бедна еще природа, не погиб еще тот край...“» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 41).

И критики, и читатели теперь уже решительно выделяют Чехова среди его литературных сверстников; рядом с ним ставили только В. М. Гаршина и В. Г. Короленко. А. И. Эртель 14 декабря 1892 г. писал Лаврову: «Глубоко радуешься, когда на плоскостях современного „промысла“, который лишь с натяжкой можно именовать „искусством“, возрастают такие будущие вершины, как Чехов и Короленко» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 94).

«Из молодых беллетристов, выступивших на литературное поприще в восьмидесятых годах, — писал М. Белинский (И. И. Ясинский), — Антон Чехов, бесспорно, самый даровитый, и его ожидает блестящая литературная будущность» («Труд», 1892, № 2, стр. 479). Гольцев начинал свой «Опыт литературной характеристики» Чехова с утверждения: «Среди современных беллетристов, которые привлекают особенно сочувственное внимание читателей и с именами которых связаны большие надежды нашей литературы, одно из наиболее выдающихся мест занимает Антон Павлович Чехов» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 39). «Особенно пленяет в г. Чехове его самобытность и оригинальность. Он не похож ни на одного другого писателя (. . .) В русской литературе г. Чехов стоит совершенно особом», — замечал П. Н. Краснов (Пл. К р а с н о в. Осенние беллетристы. Ан. П. Чехов. — «Труд», 1895, № 1, стр. 210).

Высоко оценил Чехова Л. Толстой: «Какая хорошая вещь Чехова „Палата № 6“» (Горбунову-Посадову, 24 декабря 1892 г.). «Он очень даровит», — писал Толстой через три года (Л. Л. Толстому, 4 сентября 1895 г.) (Л. Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч. и писем в 90 тт. М., т. 66, стр. 288; т. 68, стр. 158).

В рецензии на сборник «Повести и рассказы» С. А. Андреевский отмечал, что в его авторе «все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей» («Новое время»,

1895, № 6784, 17 января). Против такой оценки Чехова на страницах той же газеты выступил В. П. Буренин: «Признаюсь откровенно, я должен себя выключить из этих *всех* (. . .) По-моему, г. Чехов до сих пор не создал еще ничего такого, что бы давало ему право на титул, любезно преподносимый г. Андреевским. Если под крупными писателями разумеет Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, то, я полагаю, сузить г. Чехову в будущем трон этих королей родной литературы немножечко рискованно» (В. Б у р е н и н. Критические очерки. — «Новое время», 1895, № 6794, 27 января).

Но этот фельетонист был уже одинок. Все чаще в критике, переписке, высказываниях современников Чехов ставился именно в этот литературный ряд — вместе с Гоголем, Тургеневым, Л. Толстым.

Тексты и варианты подготовили: *Т. И. Орнатская* («Попрыгунья», «После театра», «Отрывок», «История одного торгового предприятия», «Из записной книжки старого педагога», «В ссылке», «Рыбья любовь», «Соседи», «Палата № 6», «Страх», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «В усадьбе», «Рассказ старшего садовника»), *Е. М. Сахарова* («Рассказ неизвестного человека», «Володя большой и Володя маленький», «Черный монах», «Бабье царство»), *А. П. Чудаков* (беловой автограф «Попрыгуньи»).

Комментарии подготовили: *А. П. Чудаков* («Попрыгунья», «После театра», «Отрывок», «История одного торгового предприятия», «Из записной книжки старого педагога», «В ссылке», «Рыбья любовь», «Соседи», «Палата № 6», «Страх»), *Е. М. Сахарова* («Рассказ неизвестного человека», «Володя большой и Володя маленький», «Черный монах», «Бабье царство») и *Л. М. Дологова* («Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «В усадьбе», «Рассказ старшего садовника»).

Вступительная статья к примечаниям написана *А. П. Чудаковым*.

ПОПРЫГУНЬЯ

Впервые — журнал «Север», 1892, № 1, 5 января (ценз. разр. 4 января) и № 2, 12 января (ценз. разр. 10 января). Подпись: Антон Чехов.

Сохранился беловой автограф рассказа (ЦГАЛИ).

Вошло с исправлениями в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Включено в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 53—82, с исправлением:

Стр. 20, строка 28: В девять часов *вместо*: В десять часов (по беловой рукописи (ЦГАЛИ), текстам журнала «Север» и первого издания сборника «Повести и рассказы»).

1

Из всех произведений Чехова рассказ «Попрыгунья», быть может, наиболее близок к реальным жизненным фактам, положенным в его основу.

О фактической основе «Попрыгуньи» существует большая литература. Основными мемуарными источниками можно считать следующие: М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 51—55; *Вокруг Чехова*, стр. 161—164; Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Мои встречи с Чеховым и его современниками. — В сб.: А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Л., 1925, стр. 243—247; А. С. Лазарев (Грузинский). Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов, 1923. — ЦГАЛИ, ф. 549; он же. «Попрыгунья». — *ИРЛИ*, ф. 45, оп. 5, ед. хр. 49; С. Г. Кара-Мурза. «Попрыгунья» Чехова и салон С. П. Кувшинниковой. 1928. — ГБЛ, ф. 561 (Кара-Мурза беседовал со многими посетителями салона; некоторые по его просьбе изложили свои воспоминания письменно). Интересные материалы находим в альбоме Кувшинниковой — рисунки, стихи, двевниковые записи владелицы (1882—1899 гг.; ЦГАЛИ, ф. 1949, оп. 1, ед. хр. 6); любопытные сведения содержатся в письмах И. И. Левитана и С. П. Кувшинниковой к Чехову и другим лицам, в письмах и воспоминаниях художников М. В. Нестерова, А. Я. Головина, артиста Л. Д. Донского.

Накопилось и много работ исследовательского типа, анализирующих принципы творческой работы Чехова над фактическим материалом и также вводящих в научный оборот новые данные

(главные из них: А. И з м а й л о в. Чехов. М., 1916, стр. 384—385; Ю. С о б о л е в. Чехов. Статьи. Материалы. Библиография. М., 1930, стр. 132—157; Е. Д о б и н. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1956, стр. 213—214; Л. П. Г р о с с м а н. Чехов о подвиге русского врача. — «Советское здравоохранение», 1954, № 4, стр. 7—11).

Опираясь на реальные жизненные факты, Чехов, разумеется, использовал их лишь как материал. Герои «Попрыгуньи», конечно, «шире» этого материала, как сам рассказ шире реальной ситуации, нашедшей отражение в фабуле.

Прототипами героев рассказа, как отмечают мемуаристы, послужили С. П. Кувшинникова и в какой-то мере участники ее известного в Москве в конце 80-х — начале 90-х годов салона. В квартире у Кувшинниковых бывали художники А. С. Степанов, Н. В. Досекин, Ф. И. Рерберг, А. Л. Ржевская, Д. А. Щербиновский, М. О. Микешин; артисты Малого театра М. П. Ермолова, А. П. Ленский, Л. Н. Ленская, А. И. Южин, Е. Д. Турчанинова, К. С. Лошневский (Шиловский) и др., Большого театра — Л. Д. Донской, Погосова; композитор Ю. С. Сахновский, литераторы — Е. П. Гославский, С. С. Голоушев (Глаголь), Т. Л. Щепкина-Куперник, Мих. П. и А. П. Чеховы. Было много дам — Кувшинникова, не боясь соперничества, «любила окружать себя молодыми лицами» (Щепкина-Куперник). Героине «Попрыгуньи» была придана противоположная черта («Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми»), восходящая, возможно, к хозяйке другого известного литературного салона этого времени — З. Н. Гиппиус-Мережковской (Иер. Я с и н с к и й. Роман моей жизни. М. — Л., 1926, стр. 255).

Современники утверждали, что «певец из оперы» — это артист Большого театра Л. Д. Донской; «артист из драматического театра (. . .), отличный чтец» — актер Малого театра А. П. Ленский, известный и как чтец-декламатор. В литераторе «молодом, но уже известном» угадывали драматурга и беллетриста Е. П. Гославского. В барине, иллюстраторе и виньетисте Василии Васильиче легко узнавали москвича, дилетанта-рисовальщика и дилетанта-стихотворца графа Ф. Л. Соллогуба. Прототипом доктора Коростелева послужил художник-анималист и пейзажист А. С. Степанов, приятель и постоянный собеседник хозяина дома, не участвовавший в разговорах остальных гостей.

Тон и стиль журфиксов Кувшинниковой был близок к описанному в рассказе; совпадал в основных деталях, как вспоминали М. П. Чехов и Щепкина-Куперник, и сам их распорядок. Широко использованы в «Попрыгунье» реалии быта, обстановки квартиры Кувшинниковых (ср. стихи в альбоме Кувшинниковой: «Смотри, статуэтки, этюды, эскизы (. . .) Смотри же, как все здесь *художницей* дышит...»).

Но наиболее близко к своему прототипу Чехов подошел в героине рассказа — Ольге Ивановне.

Кувшинникова (Сафонова) происходила из артистической семьи. Она занималась музыкой, живописью, участвовала в любительских спектаклях; жрицей «душевного, умственного и художественного» наименовала она себя на титуле своего альбо-

ма. Экстравагантность, восторженность, своеобразные жесты, тип поведения в целом — все это было использовано в рассказе. Речь Ольги Ивановны явно восходит к любимым выражениям Кувшинниковой, запомнившимся мемуаристам, и даже — к сохранившимся образцам ее письменной речи: «Начинаю просто думать, что Вы, Чехов, страшно завидовали его успеху (. . .) Но Вы все-таки милый...» (приписка Кувшинниковой в письме Левитана к Чехову, июль 1891 г. — ГБЛ). Сходный стиль — в ее письме к актеру М. И. Писареву (без даты, *ИРЛИ*, ф. 324). Особенно выразительны параллели тексту рассказа — в дневниковых записях Кувшинниковой, находившихся в ее альбоме; их вместе с остальным его содержимым могли читать все посетители ее салона: «Бедный отец!» «А она? она стремится за 2000 верст разделить с человеком его участь... какая я гадкая!» «В 10 час. подали от него телеграмму: огорчен моей болезнью — бедный и добрый. А тут...»

Образ жизни, настроения героини рассказа («Счастью не будет конца!» «Мирная, счастливая жизнь без печалей и тревог») близки к общему мироощущению Кувшинниковой того времени, зафиксированному ею же в автобиографии: «Жизнь шла шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей». «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми (. . .) Жизнь моя была почти сплошным праздником» (С. П р о р о к о в а. Левитан. М., 1960, стр. 67).

При изображении художника Рябовского были использованы некоторые черты И. И. Левитана. По словам А. С. Лазарева (Грузинского), «серьезный и вдумчивый Левитан совершенно не походил на ничтожного Рябовского» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 176), но характерные черточки поведения Левитана нашли отражение в рассказе. Наиболее частый характеристический эпитет, применяемый к Рябовскому, — «томный». По именно этот эпитет отнесен к Левитану в письме Чехова близкого времени («томный Левитан» — Чеховым, 23 апреля 1890 г.). В другом письме, говоря о Левитане, Чехов прибегает к тем же словам, что и при изображении героя своего рассказа (А. С. Суворину, 8 апреля 1892 г.). В характере героя подчеркивались резкие перепады настроения, приступы хандры и тоски — свойственные Левитану и так хорошо знакомые Чехову и по личному общению, и по письмам Левитана (см. письма Чехова Н. А. Лейкину 9 мая 1885 г., М. В. Киселевой 21 сентября 1886 г.; письмо Левитана к Чехову 1887 г. — в кн.: С. Г л а г о л ь, И. Г р а б а р ь. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., 1912, стр. 43).

Еще более далек от своего прототипа — Д. П. Кувшинникова — другой герой «Попрыгуны», Осип Дымов. От Д. П. Кувшинникова взяты только некоторые черты поведения в сложившейся ситуации, одна-две характерные реплики. В остальном ординарный полицейский врач не имеет никакого сходства с талантливым молодым ученым, «будущим профессором» Дымовым. Л. П. Гроссман считал, что при создании образа Дымова Чехов использовал черты характера и биографии известного московского врача и общественного деятеля И. И. Дуброво, который погиб в 1883 г. при той же ситуации, что и герой Че-

хова, — высасывая дифтеритные пленки из гортани больного. Гроссман указывает, что, кроме самих качеств личности Дуброво и сходства с героем в биографии (незадолго до смерти Дуброво защитил диссертацию и обещал стать большим ученым), совпадают и некоторые другие детали. «Ближайшим товарищем доктора И. И. Дуброво был один из учредителей Московского хирургического общества С. И. Костарев (. . .) Не случайно Чехов называет в „Попрыгунье“ лучшего друга Осипа Дымова фамилией Коростелев» («Советское здравоохранение», 1954, № 4, стр. 10). Упоминающийся в рассказе Шрек, считает Гроссман, — измененная фамилия известного врача, профессора Штерка (там же).

В основу фабулы рассказа легли действительные факты: Левитан, как и Рябовский, давал Кувшинниковой уроки живописи; они вместе ездили на этюды на Волгу; наконец, у Кувшинниковой и Левитана был длительный роман. Характер взаимоотношений участников «треугольника» — поведение Д. П. Кувшинникова, который, как писала Кувшинникова в своем дневнике, «бескорыстно, отрешась от своего я умел любить меня» (альбом Кувшинниковой), «догадывался и молча переносил свои страдания» (*Вокруг Чехова*, стр. 163); новые увлечения Левитана и т. п. — все это также нашло отражение в рассказе. (Подробно о фактической основе рассказа «Попрыгунья» и ее художественном претворении см.: А. П. Ч у д а к о в. Поэтика и прототипы. — В сб.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974).

К тому времени, когда началась работа над рассказом, Чехов был знаком с Кувшинниковыми уже несколько лет. Еще в 1888 г. (а скорее всего и раньше ¹) он посещал журфиксы Софьи Петровны (письмо Чехова Кувшинниковой, 25 декабря 1888 г.). Рассказывалось ему и о летних поездках Кувшинниковой и Левитана — во всяком случае, он настолько хорошо представлял внешний вид и расположение их дома в Плесе, что узнал его, проплывая мимо по Волге на пароходе по пути на Сахалин (письма Чехова родным и Кувшинниковой от 23 апреля 1890 г.). Чехов сам увидел места реальных событий; здесь же происходит действие IV и V глав рассказа. В «Попрыгунье» художники также живут недалеко от Кинешмы; путь Ольги Ивановны домой занял двое с половиной суток — примерно столько же, сколько ехал дотуда Чехов. Места эти автор «Попрыгуньи» видел в плохую погоду (письмо Чеховым, 23 апреля 1890 г.). Рассказы Левитана о первой поездке на Волгу, когда его почти все время преследовало венастье, его письма, собственные впечатления Чехова — все это получило отражение в пятой главе рассказа с ее мрачным пейзажем и «тусклой и холодной» Волгой.

Мемуаристы единодушно уверяют, что Кувшинникова была гораздо глубже героини, прототипом которой она послужила: занятия ее музыкой были серьезны, а живописью еще более того — одно ее полотно было куплено П. М. Третьяковым (в 1888 г.), впоследствии была выставка ее работ и т. п. Но в глазах Чехова все это имело, видимо, меньшую цену. Он иронически относился и к самому этому типу жизненного поведения, и

¹ Две дарственные подписи Чехова Кувшинниковой датированы 7 апреля и 30 октября 1888 г. (см. *ПССП*, т. XX, стр. 330).

к декоративной обстановке, подобной той, какой окружала себя Кувшинникова. «Поставили в передней японское чучело, ткнули в угол китайский зонтик, повесили на перила лестницы ковер и думают, что это художественно, — описывал он свои впечатления от одного дома. — (. . .) Если художник в убранстве своей квартиры не идет дальше музейного чучела с алебардой, щитов и вееров на стенах, если все это не случайно, а прочувствовано и подчеркнуто, то это не художник, а священнодействующая обезьяна» (Суворова, 3 ноября 1888 г.).

Через два года после опубликования рассказа Чехов написал Щепкиной-Куперник: «Я прочел Ваше „Одиночество“ (. . .) Однако Вы не удержались и на странице 180 описали Софью Петровну» (24 декабря 1894 г.). Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях это отрицала. Но в данном случае важнее другое: что Чехов воспринимал как изображение С. П. Кувшинниковой. Вот этот портрет на указанной Чеховым странице: «Инна Павловна была молодая дама с удобным мужем, независимым характером и прелестною квартиркой, где по четвергам собиралось премилос общество. Гостиную ее называли маленьким отелем Рамбулье; у нее было можно найти последний модный роман, последнее научное сочинение и каждую новую знаменитость. В карты у нее не играли, и она этим очень гордилась (. . .) Она делала все — и не делала ничего, говорила обо всем — и не знала ничего. (. . .) Готова была бежать в бальных туфельках по снегу за доктором, если кто-нибудь заболест, и не способна была пожертвовать ему полчаса, чтобы тихо посидеть у постели» («Русская мысль», 1894, № 12, стр. 180—181).

В одном из писем Чехову Кувшинникова писала: «Чаще всего, послушная первому порыву, я и сейчас иду на риск — показаться Вам не по летам экзальтированной и смешной. Пусть так! Посмейтесь, милый Антон Павлович...» (15 февраля 1889 — *ГБЛ*). Ироническое отношение Чехова к художнице отмечается в мемуарах; следы его видны и в письмах (например, к Л. С. Мизиновой). «Я помню, — писал впоследствии М. П. Чехов, — как он вышучивал Софью Петровну, как называл ее „Сафо“, как смеялся и над Левитаном» («Антон Чехов и его сюжеты». М., 1923, стр. 54).

Внешние отношения между Чеховым и Кувшинниковой все годы знакомства были вполне приязненными. Но в конце 1891 г. что-то изменилось. На отдельном издании «Дуэли» Чехов сделал такую надпись: «Софье Петровне Кувшинниковой от опального, но неизменно преданного автора» (18 дек. 1891 г. — *ЛН*, стр. 276; см. илл. на стр. 229 наст. тома). За четыре дня до этого Чехов дал новое заглавие (взамен прежнего — «Великий человек») только что написанному рассказу: «Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно (. . .) Итак, значит „Попрыгунья“. Не забудьте переменить» (В. А. Тихонову, 14 декабря 1891 г.).

Впечатления, факты, легшие в основу рассказа, накапливались задолго до его написания. Но окончательно замысел сложился всего за несколько месяцев до начала непосредственной работы над рассказом.

18 августа 1891 г. Чехов писал поэту и беллетристу Ф. А. Червинскому, что у него есть «подходящий рассказик» для «Нивы», и просил узнать гонорарные условия. Червинский сообщил о рассказе В. А. Тихонову, недавно ставшему редактором журнала «Север». С этого времени судьба будущего рассказа оказалась связанной с этим журналом. Тихонов, высоко ценивший Чехова (см. вступит. статьи к комментариям т. VII Сочинений и наст. тома), просил его в письме от 12 сентября 1891 г.: «Если у Вас сейчас нет ничего готового, то, может быть, есть что-нибудь в проекте и потому сообщите мне хоть заглавие Вашего произведения, чтобы я мог напечатать в объявлении не только одно Ваше имя, но и название вещи, имеющей появиться в „Севере“» (ГБЛ). Судя по ответу Чехова, рассказ действительно был еще «в проекте»: «Рассказ я пришлю (. . .), но сказать, как он будет называться, я не могу. Назвать его теперь так же трудно, как определить цвет курицы, которая вылупится из яйца, которое еще не снесено» (14 сентября 1891 г.). Тихонов торопил. 10 октября он снова напоминал об обещанном рассказе. Но в конце сентября и начале октября Чехов был занят другими своими вещами (см. комментарий к рассказу «Жена» в т. VII Сочинений). К замыслу нового рассказа он вернулся только в десятых числах октября (письма Тихонову от 11 октября и А. С. Суворину от 16 октября). Но рассказ вряд ли продвинулся далеко; в это время автор готов дать ему самое общее заглавие: «Если уж так нужно, то назовите просто „Рассказ“ или же „Обыватели“. Оба названия подойдут» (Тихонову, 11 октября). «Так как мой рассказ нужен Вам для единого из первых номеров, то пришлю я его не раньше конца ноября, — сообщал Чехов в этом же письме. — Теперь занят по горло». Действительно, всю вторую половину октября и начало ноября Чехов усиленно работал над рассказом «Жена». 20 ноября он был отослан.

Как раз в этот день Тихонов опять пишет Чехову: «Не ленись ради всего святого! Пишите „Обывателей“! Всею душой желаю в первом моем номере будущего года поместить Ан. Чехова (. . .) Отвечайте — как „Обыватели“? Пол-„Севера“ за „Обывателей“!» (ГБЛ). «Я не ленюсь, сударь, а я болен, — отвечал Чехов 21 ноября. — (. . .) Тем не менее сегодня засяду писать для „Севера“». Чехов болел почти весь ноябрь; но как раз в это время здоровье его «пошло на поправку» (письма Чехова Суворину 22 ноября; А. С. Лазарева — Н. А. Лейкину 17 ноября; ГПБ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 32). Уже 27 ноября Чехов писал Суворину: «Завтра посылаю рассказ в „Север“». Чехов, как обычно, ошибся на несколько дней в сроках подготовки белой рукописи; она была отправлена Тихонову 30 ноября. «Посылаю Вам маленький, чувствительный роман для семейного чтения», — сообщал Чехов в сопроводительном письме и подтверждал, что это тот самый рассказ, о котором шла речь в его прежних письмах.

Около 11 декабря Чехов держал корректуру рассказа (письмо Тихонова от этого числа в ГБЛ). В корректуру, по сравнению с белой рукописью, были внесены некоторые изменения. Большинство дополнений явно имело своей целью изменить внешность героев по сравнению с их прототипами. Были введены указания на возраст Рябовского («лет 25»), выделены иные черты его внешности («краснощекий», «с голубыми глазами» — в проти-

вовес брюнету Левитану), дана другая квалификация его как живописца: в рукописи он был пейзажистом, теперь стал еще жанристом и анималистом. Точно так же в самом начале рассказа сделана вставка, указывающая, что у героини «льняные волосы» (Кувшинникова была, по свидетельству Щепкиной-Куперник, женщиной «с смуглым лицом мулатки и вьющимися темными волосами»). Подобная же вставка сделана и в пятой главе рассказа. В рукописи рассказ назывался «Великий человек». Письмом от 14 декабря к Тихонову это заглавие было изменено: «Великий человек» мне совсем не нравится (. . .) Назовите так — „Попрыгунья“.

Новые исправления были внесены в текст при включении рассказа в сборник «Повести и рассказы» (1894). Еще в журнальной корректуре было сделано исправление, касающееся доходов Дымова от частной практики (они были уменьшены с семисот до пятисот рублей в год); в этом же направлении было и изменение в сборнике. При включении в издание Маркса исправления были невелики.

3

Отклики на рассказ были не совсем литературного свойства.

Главные герои были наделены другими внешними данными; вся вторая часть рассказа не соответствовала действительным обстоятельствам (Д. П. Кувшинников был жив, а роман С. П. Кувшинниковой и Левитана далеко еще не окончился); по свойствам личности персонажи явно отличались от своих прототипов. Но черты сходства в глазах современников получили решительный перевес. К ним было приковано всеобщее внимание; их обсуждали, их ставили в упрек автору. Герои «узнали» себя. «Вчера я был в Москве, — писал Чехов Л. А. Авилевой 29 апреля 1892 г., — но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“ („Север“, № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». А. П. Ленский написал Чехову «убийственное» письмо, которое не нашлось в чеховском архиве» (А. А. Измайлов. Дела и люди. — ЦГАЛИ, ф. 227, оп. 1, ед. хр. 3, л. 56); Левитан хотел вызвать Чехова на дуэль и на несколько лет прервал с ним общение; Ленский не кланялся с Чеховым восемь лет (М. П. Чехова. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954, стр. 136); навсегда были порваны отношения и с С. П. Кувшинниковой.

Собственно критических отзывов «Попрыгунья» собрала немного; все они были положительными. Даже критик «Гражданина» М. Южный (М. Г. Зельманов), в эти годы почти все произведения Чехова оценивавший резко отрицательно, в статье, посвященной «Дуэли» и «Жене» (где он объявлял, что эти произведения вызывают «только одно недоумение»), отозвался о новом рассказе вполне благосклонно («Гражданин», 1892, № 21, 21 января). «„Попрыгунья“, несомненно, причислится к жемчужинам между нашими новеллами, — писал С. А. Андреевский. — Вы не найдете другого рассказа, где бы простота и терпимость благородного, поистине великого человека выступала бы так

победно, в таком живом ореоле над нервною ничтожностью его хорошенькой, грациозной и обожаемой им жены» (С. А н д р е е в с к и й. Новая книжка рассказов Чехова. — «Повое время», 1895, № 6784, 17 января). Об «очень сильном впечатлении», произведенном на него «Попрыгуньей», писал Чехову 9 июня 1897 г. Б. А. Лазаревский (ГБЛ).

20 октября 1892 г. к Чехову по поручению редактора «Оренбургского края» обратился В. Л. Кигн: «Я очень прошу Вас позволить перепечатать (...) Вашу чудесную „Попрыгунью“» (ГБЛ). Чехов позволил; рассказ был перепечатан в «Оренбургском крае» (1893, № 27, 28, 30, 33 от 28 февраля, 2, 7, 14 марта) с сопроводительной заметкой Кигна в № 27 о творчестве Чехова (см. т. VII Сочинений, стр. 623). «„Попрыгунья“, — говорилось в заметке, — ознакомит читателей с талантом ее автора лучше всяких критических разъяснений».

Специальные отзывы были посвящены Дымову (см., например: Г. П. З а д е р а. Медицинские деятели в произведениях А. П. Чехова. — «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“, 1903, № 10, стр. 322). А. Л. Липовский причислял этого персонажа вместе с Лихаревым, Лаевским, Рагиным к галерее чеховских русских «талантливых неудачников», «лишних людей», продолжающих «развитие знакомых нам типов Чацкого, Онегина, Печорина, Бельтова...» (А. Л. Л и п о в с к и й. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 25).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, венгерский, сербскохорватский, французский, чешский и шведский языки.

Стр. 12. *Счастью не будет конца!* — Возможная лексико-синтаксическая перекличка: «...царствию не будет конца!» (Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 33). О близости некоторых ритмико-мелодических фигур прозы Чехова к церковным текстам см.: А. Д е р м а н. Творческий портрет Чехова. М., 1929, стр. 250—252; он же: О мастерстве Чехова. М., 1959, стр. 123.

Стр. 22. *Укажи мне такую обитель...* — Отрывок из стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (у Н. А. Некрасова: «Пазови»); с шестидесятых годов XIX в. — популярная в среде демократической интеллигенции песня. По воспоминаниям М. П. Чехова, ее часто пели в кружке врачей Чикинской больницы, где А. П. Чехов в 1883 г. проходил врачебную практику (Вокруг Чехова, стр. 138).

Стр. 26. *...потом к Барнаю...* — Барнай Людвиг (1842—1924), знаменитый немецкий актер. Гастролировал в России в труппе мейнингенцев в 1890 году, вызывая энтузиазм и восторг публики, в который он приводил ее своей высокохудожественной игрой» («Петербургский листок», 1896, № 299, 29 октября).

...гоголевского Осипа — герой «Ревизора» Гоголя.

Стр. 351 (варианты). *...слушает Мазини в «Cavalleria rusticana...»* — «Cavalleria rusticana» — «Сельская честь» (1890), опера итальянского композитора Пьетро Масканьи (1863—1945). Анджело Мазини (1844—1926) в 1879—1903 гг. исполнял в ней партию Туридду в спектаклях Итальянской оперы в Петербурге.

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Впервые — «Петербургская газета», 1892, № 94, 7 апреля.
Заглавие: Радость. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. III, стр. 103—105.

Рассказ «После театра», возможно, первоначально входил в состав романа, над которым Чехов работал в конце 80-х годов. Роман писался в необычной жанровой форме — в виде «отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие» (Чехов — А. С. Суворину, 11 марта 1889 г.). Несколько таких рассказов Чехов написал, некоторые даже переписал набело (письмо А. М. Евреиновой, 10 марта 1889 г.), предполагая соединить их общей нумерацией (см. письмо Н. А. Лейкину от 22 мая 1889 г.). Следы этой нумерации сохранились на рукописях двух не опубликованных при жизни Чехова рассказов: «I. У Зелениных». «III. Письмо» (подробнее см. в т. VII Сочинений, а также: Д. М е д р и ш. Страницы ненаписанного романа. — «Русская литература», 1965, № 2). Рассказ «После театра» («Радость») близок к этим вещам своими жанровыми особенностями (во всех трех произведениях в центре находится письмо, вокруг которого и группируются остальные события), проблематикой (вопросы содержания и судеб искусства). Наконец, его героиня принадлежит к семье Зелениных — той самой, о которой повествуется в рассказе «I. У Зелениных» и упоминается в рассказе «III. Письмо».

В «Петербургской газете» Чехов не печатался с 1888 г. Во время пребывания Чехова в Петербурге в декабре 1891 — январе 1892 г. издатель газеты С. Н. Худков предложил ему возобновить сотрудничество. «Худков назначил мне 40 к. за строчку и дал 200 р. в счет будущего, хотя я не просил его об этом», — писал Чехов Н. М. Ежову 2 января, через два дня после визита редактора. В счет этого аванса Чеховым и был прислан в апреле в «Петербургскую газету» рассказ «Радость». Никаких упоминаний о работе над ним в письмах Чехова этого времени нет. Скорее всего, Чеховым и был использован написанный ранее рассказ, входивший в незаконченный роман. Возможно, поэтому в его бумагах и отсутствует рукопись под цифрой II, связанная сюжетно с семьей Зелениных.

При включении рассказа в издание А. Ф. Маркса он был значительно сокращен. Были исключены размышления Нади об «идее художественного произведения», сопоставительная характеристика Горного и Груздева. В результате сюжет в значительно большей степени сконцентрировался вокруг переживаний героини.

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский, чешский, словацкий и сербскохорватский языки.

ОТРЫВОК

Впервые — «Осколки», 1892, № 16, 18 апреля (ценз. разр. 17 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.

«Отрывок» — первый рассказ, напечатанный Чеховым в «Осколках» после пятилетнего перерыва. В течение этих лет Н. А. Лейкин неоднократно просил дать что-нибудь для журнала; Чехов обещал (например, в письме Лейкину от 27 марта 1889 г.).

31 марта 1892 г. Чехов сообщал Лейкину из Мелихова: «На лоне природы вспомнил я старицу и написал рассказ и две мелочишки в осколочном духе. Написал и бросил в стол. Как-нибудь соберусь с духом, напишу еще песколько штучек и привию оптом». Это и были «Отрывок», «Из записной книжки старого педагога» и «История одного торгового предприятия». Чехов переехал в Мелихово 4 марта; таким образом, юморески были написаны не ранее этого числа.

7 апреля все они были отосланы в «Осколки». Лейкин отвечал 12 апреля: «И рассказ и мелочишки прелестны. Поменцу их, разумеется, не сразу, а в трех номерах, на подкраску» (ГБЛ). В. В. Билибин сообщил Н. М. Ежову 16 апреля 1892 г. об отзыве редактора «Осколков»: «Лейкин хвалит его рассказы» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 2).

Стр. 35. ...*подражая отчасти Цинциннату*. — Цинциннат Луций Квинкий (р. около 519 г. до н. э.), римский полководец и государственный деятель; занимался земледельческим трудом на своем поле. 21 марта Чехов писал брату Александру Павловичу: «Мы живем в собственном имени. Как некий Цинциннатус, я провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица». Цинциннатус упоминается в письме В. А. Тихонова Чехову от 15 марта 1892 г.

...*отчасти же профессору Кайгородову с наблюдения над природой*. — Кайгородов Д. Н. (1846—1924), фенолог. В библиотеке Чехова была его книга: Д. Кайгородов. Собиратель грибов. Карманная книжка, содержащая в себе описание важнейших съедобных, ядовитых и сомнительных грибов, растущих в России. Изд. 2-е, СПб., изд. А. С. Суворина, 1891, 104 стр. (Чехов и его среда, стр. 347).

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Впервые — «Осколки», 1892, № 18, 2 мая (ценз. разр. 1 мая), стр. 4. Подпись: Грач.
Печатается по журнальному тексту.

Рассказ написан между 5 и 31 марта (см. комментарии к рассказу «Отрывок» в наст. томе).

Псевдонимом «Грач» Чехов ранее в «Осколках» не подписывался. «Чехонте уже упразднен мною, — мотивировал он в письме Н. А. Лейкину эту подпись, — а Чехова позвольте оставить для рассказов иного тона» (7 апреля 1892 г.).

4 мая 1892 г. А. С. Лазарев (Грузинский) писал Чехову:

«С величайшим удовольствием и даже трепетом увидел Ваши вещи в „Осколках“. Сколько лет Вы не писали туда...» (ГБЛ).

Стр. 37. ...*третий том Писарева*... — У героя рассказа был том из «Сочинений» Д. И. Писарева, ч. I—X, СПб., изд. Ф. Павленкова, 1866—1869.

Стр. 38. ...*сторую часть «Родного слова»* — школьная хрестоматия.

Стр. 39. ...и *девять томов Михайловского*... — К моменту написания рассказа вышло собр. соч. Н. К. Михайловского в 4-х томах, СПб., 1879—1885.

Стр. 40. ...*последнюю книжку «Вестника Европы»* — либеральный журнал, издававшийся в Петербурге с 1866 г.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТАРОГО ПЕДАГОГА

Впервые — «Осколки», 1892, № 21, 23 мая (ценз. разр. 22 мая), стр. 5. Заглавие: Из записной книжки отставного старого педагога. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту с исправлением заглавия.

Авторское заглавие рассказа восстанавливается по письму Н. А. Лейкина Чехову от 12 апреля 1892 г.: «Цензура не любит, когда мы трогаем педагогов, хотя и старых, потому, посылая в цензуру мелочишку, слово „старого“ заменил словом „отставного“. Суть не изменится, а цензура не так испугается» (ГБЛ). Однако при публикации рассказа Лейкин не заменил, а только добавил в заглавии слово «отставного».

В ССЫЛКЕ

Впервые — «Всемирная иллюстрация», 1892, т. XLVII, № 20, 9 мая (ценз. разр. 7 мая), стр. 354—355. Подзаголовок: Очерк Ант. П. Чехова. Подпись — факсимиле.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 212—222.

В рассказе нашли отражение сибирские впечатления Чехова и в первую очередь — два эпизода его путешествия. Первый — переправа на пароме через большую сибирскую реку (очевидно, Иртыш) около 4—5 мая 1890 г. и второй — когда 7 мая из-за плохой погоды Чехов не мог переправиться через Иртыш и провел ночь на берегу реки, в избе перевозчиков. Первый эпизод был зафиксирован Чеховым дважды — в письме к родным из Томска от 16 мая и в первом из очерков «По Сибири», писанном там же между 17 и 20 мая (при этом был использован краткий дневник, который Чехов вел в дороге). Второй — трижды: в письме к М. В. Киселевой, написанном в ту же ночь непосредственно на месте события — в избе перевозчиков; в письме к родным от 16 мая; в четвертом очерке «По Сибири».

Эти материалы позволяют установить, в какой степени описался Чехов в своем рассказе на действительные факты, как группировал детали реальной обстановки,

В рассказе были взяты, главным образом, реалии второго эпизода. Действие происходит на берегу реки, в избе и у избы перевозчиков холодной весенней ночью.

Полностью совпадает топография местности. Вот как она дана в письмах: «Подъезжаем к Иртышу... Тот берег крутой, а сей — отлогий. Сей изгрызен, скользок на вид, противен, растительности ни следа...» «Отлогий берег Иртыша (...) глинист, гол, изгрызен, склизок на вид (...) Белые волны хлещут по глине». «Перед очами моими расстилается громадное озеро, на котором кое-где (...) торчат кустики — это залитые луга». В рассказе этот берег тоже глинистый и отлогий, залитый водой (видны «кусты тальника на воде»; баржа поплыла меж кустов тальника), другой — высокий и обрывистый. Река не названа, но, как и в очерке, это большая, широкая река, в ней тоже водится «щука и пельма». И тут и там поздняя весна, голые, без зелени берега, лёд и холод. В описании местности одно отличие от реальной географии — деревня в рассказе на том же берегу реки, что и изба перевозчиков. На самом деле она находилась на другом берегу и от перевоза не была видна.

За день до иртышского эпизода Чехов наблюдал, как жгут траву; описание в очерке начиналось фразой: «По сторонам дороги и вдали на горизонте змеобразные огни: это горит прошлогодняя трава...» Сравнение было использовано в рассказе (см. стр. 42, строки 26—28). Редкое для жителей европейской части России явление — снег в мае — Чехов наблюдал в эти же дни (14 мая). Деталь также была включена в рассказ.

На пароме через Иртыш Чехов так и не переправился — на другой день его перевезли на лодке. В изображении обстановки, техники перевоза, вида баржи и т. п. — узнаются впечатления предыдущей персправы, описанной в письме и очерке; сохранено даже число гребцов (в рассказе кроме татарина и Семена — еще два перевозчика). Ссылных перевозчиков Чехов видел также на предыдущей переправе; перевоз же, на котором он ночевал, держала артель из местных хозяев-крестьян; ссылных среди них не было.

Факты двух реальных эпизодов были объединены и использованы для создания одного — художественного — эпизода.

Но совпадают не только реалии. Есть сходство и в общем настроении рассказа с теми чувствами, которые пережил тогда, два года назад, Чехов. «Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, утрюмый берег Иртыша...» «Чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю (...) как ревет ветер, и спрашиваю себя: „где я? зачем я здесь?“» (7 мая 1890 г., М. В. Киселевой). Во втором из очерков «По Сибири» Чехов описывает свой сон: «уж снится мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома...»

Подобные чувства в рассказе, мотивированные судьбой ссылного, испытывает главный герой, татарин: «зачем он здесь, в темноте и в сырости...» Ему тоже снится, что «он дома, в Симбирской губернии...» В соответствии с общими чеховскими художественными принципами этих лет изображение окружающего дано через восприятие центрального героя. Но в данном рассказе, очевидно, вследствие его близости к конкретным, реальным, уже не раз описанным эпизодам, сохранилась позиция рассказчика —

самостоятельного наблюдателя, например, в эпизоде отплытия паромом (см. стр. 48, строки 26—28). Это настроение рассказчика также находит соответствие в том же письме Чехова к Киселевой: «Вам снился часто Божаровский омут; так мне теперь будет сниться Иртыш».

В этих же письмах и очерках находим и людей, чьи черты увидим потом в рассказе «В ссылке» — ссыльных «озорных», бранчивых мужиков-перевозчиков, татар. На протяжении всего пути встречал Чехов и интеллигентных ссыльных, подобных третьему герою рассказа, барину Василию Сергеичу. Большой материал дал и Сахалин — среди ссыльных Чехов видел всех своих будущих героев — и татар, и чиновников, и дворян, и крестьян. Возможно, в образе Семена Толкового использованы некоторые черты старого сахалинского перевозчика — каторжного Красного («Остров Сахалин», гл. IV) с его философией полной удовлетворенности своим положением: «Жизнь, нечего бога гневить, хорошая. Слава тебе господи!» Как и Красивый, Толковый находится на каторге двадцать два года.

В рассказе много чисто словесных совпадений с очерками «По Сибири» и письмами. В первом очерке Чехов объяснял, что в «Сибири „ревет“ — значит „кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать“». «Давай, ваше благородие, реветь», — предлагает автору возница у перевоза. Ср. в рассказе: «Это на той стороне ревут, — сказал старик (...) — Скажи, ревут» (журнальный вариант). Воспроизводятся в рассказе приведенные в очерке ругательства перевозчиков («язви их душу»), некоторые эпитеты, сравнения (например, вёсел с рачьими клешнями).

Все это дает возможность заключить, что при писании рассказа Чехов основывался не только на воспоминаниях, но и широко привлекал записи, сделанные на месте событий или по свежим их следам. Эти записи помогли и в воспроизведении самого настроения, окрасившего весь рассказ. Чехов с самого начала придавал значение своим путевым заметкам. Родственников он просил не выбрасывать его письма; о том же писал он Суворину: «Вы не бросайте эти листки, я соберу их и по ним, как по нотам, буду рассказывать то, что не умею передать на бумаге» (27 июня 1890 г.).

Сведений о начале работы над рассказом «В ссылке» не сохранилось. Разговор о рассказе был во время пребывания Чехова в Петербурге в самых первых числах января 1892 г. (в ресторане «Медведь» — см. письмо Чехова И. И. Ясинскому от 12 марта 1892 г.). Второй разговор о рассказе и о гонораре (20 коп. за строчку) возник во время визита Чехова к Ясинскому 6 января (дата дарственной надписи Ясинского на своем романе «Вечный праздник», СПб., 1891. — *Чехов и его среда*, стр. 318; письмо Чехова от 12 марта). Был ли начат тогда рассказ — неизвестно. 12 марта 1892 г. он уже был отправлен в редакцию «Всемирной иллюстрации». 25 апреля в № 18 этого журнала был помещен анонс о рассказе, вызвавший недовольство Чехова (см. предисловие к комментариям наст. тома).

Рассказ вошел в состав сборника «Повести и рассказы». В письме от 24 февраля 1894 г. (ГБЛ) издатель особо спрашивал Чехова об этом рассказе; при включении его в сборник в текст были внесены изменения — очевидно, во второй половине

апреля 1894 г. Работу эту Чехов предполагал сделать в марте 1894 г. в Крыму — см. письмо с дороги от 2—4 марта к М. П. Чеховой с просьбой прислать текст рассказа из «Всемирной иллюстрации». Вероятно, М. П. Чехова обратилась по этому поводу к Сытину, который писал Чехову 11 апреля 1894 г.: «По желанию Вашему посылаю Вам рассказ в „Иллюстрации“ {...} Я не хотел рассказ посылать Вам в Ялту, чтобы не беспокоить мелкими делами» (ГБЛ). В новом варианте был исключен эпизод с побегом дочери; барина теперь покидает только жена. В речах Семена Толкового сокращены примеры, иллюстрирующие его философию; исключены бранные выражения.

По словам Ясинского, рассказ «очень хвалил» редактор «Всемирной иллюстрации» П. В. Быков (Ясинский — Чехову, 1892 г. — ГБЛ). Принципиальное значение рассказу придавал Е. А. Ляцкий. Подводя итоги творчества Чехова, он считал этот рассказ почти единственным проблеском среди «безысходно-мрачной» картины жизни, встающей со страниц чеховских произведений. «Чеховский татарин оказывается на стороне деятельной любви к жизни, верности нравственным устоям. И в пьесе М. Горького („На дне“) подобный же татарин является живым воплощением народного здравого смысла и здорового отношения к упорядоченной внутренним законом жизни. Это случайное совпадение довольно любопытно. От него один шаг к признанию этих черт в русском мужике, которому они более к лицу, при всем хаосе его понятий и бестолковости в жизненном укладе. В таинственной глубине темного народного чувства сверкают искры глубокой любви к жизни и вера в возможность ее совершенства» (Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы. Этюд. — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 159—160).

При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, немецкий, польский, сербскохорватский, японский и словацкий языки.

Стр. 46. ... а общество рассудило не по совести и составило приговор... — Сельские общества имели право выносить своим членам общественные приговоры, по которым эти лица передавались властям для водворения на жительство в Сибирь в административном порядке. Чехов писал о таких ссыльных в письме к родственникам 14 мая 1890 г.: «Перевозчики — народ озорной, все больше ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь».

РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ

Впервые — «Осколки», 1892, № 24, 13 июня (ценз. разр. 12 июня), стр. 4. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Рассказ был послан Чеховым 11 мая 1892 г. (письмо Н. А. Лейкина Чехову, 16 мая 1892 г. — ГБЛ). Но напечатан он был спустя месяц. О причинах задержки Лейкин писал Чехову 7 июня 1892 г.: «Господи! Что цензура делает! Уж чего, кажется, невиннее Вашего рассказа „Рыбья любовь“, но и он был задержан

в цензуре на две недели, рассматривался в общем собрании цензоров и хотя и дозволен к печати, но с пометками нескольких слов» (ГБЛ).

СОСЕДИ

Впервые — «Книжки Недели», 1892, № 7, стр. 88—114. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 193—215, с исправлением: стр. 64, строка 28: топорщится вместо: торопится (по «Книжкам Недели»).

Сюжет рассказа, как показывают материалы первой записной книжки, Чехов обдумывал во время своей заграничной поездки весной 1891 г. В пути Чехов работал. «Пробовал приспособление для писанья в вагоне, — отмечает он в записной книжке на другой день после отъезда из Петербурга. — Ничего, пишется, хотя и плохо» (18 марта). 18 или 19 апреля по пути из Ниццы в Париж (судя по почерку, в вагоне) в книжке сделана запись: «Тут мимо леса, где хорошая тяга, он ехал с Власовым и пел „не любить — погубить значит жизнь молодую“» (см. т. XVII Сочинений). Этот эпизод с небольшими изменениями вошел в рассказ (Власов стал Власичем); роль его в сюжете существенна — это воспоминание служит эмоциональным завершением размышлений героя о «свободной любви».

Осенью 1891 г. Чехов, как видно из его письма к А. С. Суворину от 16 октября, работал сразу, по меньшей мере, над тремя вещами. Возможно, что именно к будущему рассказу «Соседи» относятся слова из этого письма: «Ах, какой у меня сюжет для повести! Если б сносное настроение, то начал бы ее 1-го ноября и кончил бы к 1-му декабря. Листов на пять». Если исходить только из размера известных нам произведений Чехова, то речь идет о будущей «Палате № 6». Но вряд ли это может относиться к вещи, о которой автор писал, что «от нее воняет больницей и покойничкой» и что он «не охотник (...) до таких повестей» (В. М. Лаврову, 25 октября 1892 г.). Между тем именно «Соседи» — единственное произведение ближайшего времени, которое Чехов писал «с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма» (Суворину, 4 июня 1892 г.). Близок к указанному в письме от 16 октября и первоначальный предполагаемый объем «Соседей» — до четырех листов (письмо Чехова М. О. Меншикову, 19 мая 1892 г.).

7 января 1892 г. Чехов познакомился у И. Л. Леонтьева (Щеглова) с секретарем редакции «Недели» М. О. Меншиковым и обещал ему дать рассказ в журнал в апреле или мае. 4 марта 1892 г. Леонтьев (Щеглов) напомнил в письме Чехову о его обещании (ГБЛ). Чехов отвечал 9 марта: «Желание Ваше будет исполнено: я пошлю в „Неделю“ рассказ. И сделаю это тем более охотно, что сей журнал мне симпатичен». Дата присылки рассказа в этом письме указывается прежняя — «не позже апреля». Леонтьев (Щеглов) сообщил про обещание Меншикову и просил

Чехова написать «лично Гайдебурову», редактору «Недели» (Леонтьев (Щеглов) — Чехову, 19 марта 1892 г., ГБЛ). П. А. Гайдебурову Чехов не написал; 9 апреля Меньшиков напоминал Чехову о его обещании: «И. Л. Леонтьев показал мне Ваше письмо, где Вы подтверждаете обещание дать что-нибудь для „Недели“ — обещание, любезно выраженное Вами на именинах И(вана) Л(еонтьевича). Павел Александрович Гайдебуров напоминает, что он тоже обращался к Вам с просьбою писать в „Неделе“, и тем приятнее для него, что Вы собрались наконец это сделать (...) Спешу известить Вас, что Ваш рассказ (повесть или роман) редакция начнет печатанием в следующей же, майской „Книжке Недели“, ввиду чего благоволите прислать рукопись не позже 20 апреля, иначе не пришлось бы отложить до июньской книжки» (ГБЛ). Чехов отвечал 23 апреля, что «рассказ еще не готов» и что он постарается прислать его в мае. Очевидно, в это время Чехов вообще не работал над рассказом. «Хлопоты по хозяйству (...) и поездки в Москву по делам положительно мешают мне работать» (то же письмо Меньшикову). Кроме того, в эти дни он кончил «Палату № 6» (письмо к Л. А. Авилловой от 29 апреля).

13 или 14 мая Чехов сообщал Меньшикову: «Повесть для „Недели“ пишу; о том же 15 мая — Суворину. В редакции повесть Чехова очень ждали: «Я известил П. А. Гайдебурова, — отвечал Меньшиков после сообщения Чехова, — о близкой присылке Вашей повести и доставил ему этим большое удовольствие. (...) Не будете ли Вы столь любезны (...) сообщить хоть приблизительно, в каких числах следующего месяца ожидать Вашей повести и также сколько, примерно, оставить для нее места (чем больше, тем, само собой, лучше)». О том, что повесть ожидается «с нетерпением», Меньшиков снова писал 27 мая (ГБЛ).

Весь май Чехов работал над повестью для «Недели». 19 мая он писал Меньшикову: «Повесть я постараюсь прислать в конце этого месяца или же в начале июня. Мне кажется, что к этому времени она будет готова (...) Повесть будет содержать около трех листов обычного толстожурнального размера. Этак между 3 и 4 листами».

Из этого письма можно заключить, что работа над повестью подвинулась не очень далеко — именно на начальной стадии Чехов часто ошибался относительно объема будущей вещи (см. комментарий к «Дуэли» в т. VII Сочинений). В процессе работы замысел претерпел какие-то изменения, повесть вышла втрое короче. Речь же несомненно идет о «Соседях»: вряд ли Чехов хотел отдать в «Неделю» «Рассказ неизвестного человека», не подошедший по цензурным условиям «Северу» и отложенный печатанием даже в «Русской мысли». Сведений же о его работе над другими произведениями в это время не имеется.

В конце мая и в июне Чехов писал о том, что много работает (Суворину 28 мая и 4 июня, Н. А. Лейкину 8 июня). Из письма Суворину от 4 июня видно, что это работа над «Соседями»: «Я пишу повесть — маленькую любовную историю».

Но времени оставалось немного: для того, чтобы появиться в июльской книжке, рассказ должен был быть в редакции 15 июня (сроки называл Меньшиков). Эта причина тоже, возможно, повлияла на его объем. Отзвуки того, что рассказ мог быть иным

(с «началом» и «концом»), встречаются в письме Леонтьеву (Щеглову) от 24 октября 1892 г.: «Сунулся я было в „Неделю“ с рассказом („Соседи“), но вышло нечто такое, что не следовало бы печатать: ни начала, ни конца, а какая-то облезлая середка».

При подготовке сборника 1894 года в текст рассказа были внесены существенные изменения, касающиеся основных персонажей.

В журнальном варианте либерализм Власича осуждается Петром Михайлычем гораздо более категорично: о Власиче говорится, что «он страшно отстал в своих идеях». В тексте 1894 г. то, что у Власича есть и «хорошие, честные идеи», не отрицается, но акцент переносится на форму их выражения, на самую личность Власича: эти идеи «он умудряется выражать так, что они кажутся бабальными и отсталыми». В этом направлении сделан и ряд других исправлений. Сделана вставка, существенно меняющая отношение Петра Михайлыча к Власичу и его воззрениям. В тексте 1894 г. значительно ослаблено самоуничижение главного героя — снято два больших куска текста, где Петр Михайлыч осуждает робость в отстаивании своих мыслей, нерешительность. В этом же направлении пла и правка рассказа при включении его в издание А. Ф. Маркса — были исключены рассуждения героя о своем «мягком, ленивом сердце».

13 августа 1892 г. в тифлисском «Новом обозрении» (№ 2969) появилась статья Г. (Г. М. Туманова) «Новые течения в русской журналистике», в которой подробно рассматривались «Соседи» в связи с полемикой по поводу статей А. Л. Волынского в «Северном вестнике». Туманов считал, что в отношении к шестидесятиникам «несомненно более прав» Чехов, «обвиняющий их в незнании жизни и увлечении непрактичными идеями», чем Волынский, упрекающий их в «рьяном реализме». Но, изображая шестидесятника Власича, «Чехов не сумел удержаться на объективном изображении (...) а пустился в сатиру». По мнению Туманова, «у автора слишком сильно было желание своего героя, увлекавшегося Писаревым и Добролюбовым, выставить жалким и ни на что негодным тупицей, и художественное чутье изменило ему в данном случае настолько, что у него вместо живого и верного типа получилась уродливая карикатура». Заканчивалась статья упреками в том, что «момент для обличения представителей 60-х гг. выбран неудачно. Они почти отжили свой век, не пользуются ни в каких сферах каким бы то ни было влиянием».

По поводу сборника «Повести и рассказы», где «Соседи» были в конце книжки, И. Е. Репин писал Чехову 13 февраля 1895 г.: «... развернув Вашу книжку, я уже не мог оторваться от нее: я уже с грустью дочитывал последнюю повесть, последнюю страничку. Кончились эти полные жизни, полные глубокого смысла рассказы; действующие лица, как живые, проходят в моем воображении (...) А „Соседей“ жаль. Да, все эти люди сделались мне почему-то близки...» (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929. М., 1950, стр. 122).

С. А. Андреевский в «Соседях», вместе с «Володей большим и Володей маленьким», видел рассказы, которые «в новых, тонких варьянтах затрагивают амурные вопросы» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

В. Альбов связывал рассказ с одной из основных, с его точки зрения, тем в творчестве Чехова — неустойчивости «идеальной стороны человеческой жизни». «Как быстро и как бесследно гибнут все эти высокие, благородные порывы, гибнут среди окружающего мрака, животных интересов, обыденной пошлости (...) И как часто бессилён человек вызвать в себе какой-нибудь благородный порыв, какое-нибудь прекрасное чувство, а вызвав („Неприятность“, „Соседи“), как он бессилён удержать его, а тем более провести в жизнь» (В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 101).

Стр. 59. *«Не любить — погубить значит жизнь молодую...»* — Студенческая песня «Наша жизнь коротка» (см. «Русские песни XIX—XX вв.». Сост. проф. И. Н. Розанов. М., 1944, стр. 409).

Стр. 60. *Если тебе σ возьми ее.* — Прочитировано в пьесе Чехова «Чайка» (3-е действие). По воспоминаниям Л. А. Авилловой, на брелке, посланном ею (анонимно) Чехову в 1895 г., было вырезано: («Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова. Стран. 267, стр. 6 и 7»). Надпись указывала именно на эти слова в рассказе Чехова (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 234).

Стр. 67. *Хома Брут* — герой повести Н. В. Гоголя «Вий»,

ПАЛАТА № 6

Впервые — «Русская мысль», 1892, № 11, стр. 76—123. Подпись: Антон Чехов.

С исправлениями включено в сборник «Палата № 6», СПб., изд. А. С. Суворина, 1893, и с незначительными изменениями повторено во 2—7 изданиях того же сборника (1893—1899). Вышло в серии «Для интеллигентных читателей», изд. «Посредник», М., 1893 (изд. 2 и 3—1894 и 1899).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. VI, стр. 131—196, с исправлениями:

Стр. 72, строка 32: *их* — вместо: *их* (по всем другим источникам).

Стр. 98, строка 17: *схватил вместо: хватил* (по всем другим источникам).

Стр. 110, строка 21: *ты* — вместо: *ты* (по всем другим источникам).

1

Повесть вобрала в себя многие размышления и впечатления Чехова конца 80-х — начала 90-х гг. Врач П. А. Архангельский вспоминал, что Чехов очень заинтересовался его «Отчетом по осмотру русских психиатрических заведений» (М., 1887, 325 стр.), корректурные листы которого автор просматривал летом 1887 г. в Бабкине, — «пересмотрел его, тщательно прочел его заключительную часть». (В ней, в частности, говорилось, что

в «сумасшедших домах» больных «приводят к порядку силою кулака», что они часто папоминали «каземат», «тюрьму», что «врачи заходили (...) только мимоходом (...) больные находились в полном распоряжении зрителя...» — стр. 290—291.) Речь об этом отчете заходила еще несколько раз при встречах его автора с Чеховым — вплоть до отъезда Чехова на Сахалин (П. А. А р х а н г е л ь с к и й. Из воспоминаний о Чехове. — В кн.: Юрий С о б о л е в. Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 138—139). В рассуждениях Рагина о сказочных успехах медицины за последние двадцать пять лет — хирургии, открытиях Коха и т. п. — явно слышатся собственные мысли Чехова недавнего времени: «Все это, т. е. кохины, спермины и проч., кажется публике каким-то чудом (...) Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет. Изучающему теперь медицину время, бывшее 20 лет тому назад, представляется просто жалким» (письмо А. С. Суворину, 24 декабря 1890 г.).

В эти годы Чехов заинтересовался философией мыслителя позднеантичного стоицизма Марка Аврелия Антонина (121—180 гг. н. э.). Имя Аврелия упоминается в «Скучной истории» (писалась с марта по сентябрь 1889 г.) и дважды в письмах Чехова этого времени — А. П. Ленскому 9 апреля 1889 г. и Суворину 11 апреля 1889 г. Посылая Ленскому из своей библиотечки книгу «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя» (пер. кн. Л. Урусова, Тула, 1882), Чехов в сопроводительном письме дал ей высокую оценку: «На полях Вы увидите заметки карандашом — они не имеют никакого значения для читателя; читайте все подряд, ибо все одинаково хорошо».

Книга эта сохранилась (Дом-музей А. П. Чехова в Ялте): в ней действительно много чеховских пометок — подчеркнуты строки, одни параграфы (или их части) особо отмечены, другие зачеркнуты. Многие Чеховым озаглавлены: «убеждения», «как жить», «цель и смысл жизни», «обмен материи» (см. С. Б а л у х а т ы й. Библиотека Чехова. — *Чехов и его среда*, стр. 319—322; зарегистрированы не все пометы).

В «Палате № 6» философия Марка Аврелия отразилась в разных планах.

Несомненно сходство многих мыслей Рагина с афоризмами Аврелия. Андрей Ефимыч неоднократно высказывается на тему о ничтожности всего внешнего и противопоставлении ему внутреннего, «успокоения в самом себе, своем разуме. Эта мысль — одна из основных в философской доктрине Аврелия; в своих «Размышлениях» он вновь и вновь возвращается к ней: «В область духа не должно вторгаться внешнее и чувственное; для духа, сознающего свою силу, нет внешней власти, он не боится ни огня, ни железа, ни клеветы и ничего на свете» (стр. 120). Близки к мыслям Аврелия о том, что смерть — «непременный закон природы» (стр. 128) и поэтому «не есть зло» (стр. 134), рассуждения Рагина о смерти как «нормальном и законном конце»; к афоризмам о пользе бедствий для души человека — размышления доктора о том, что «страдания ведут к совершенству». С мыслями Аврелия о «единении с разумением общечеловеческим» (стр. 75) сходны высказывания Андрея Ефимыча об «обмене гордых, свободных идей» между мыслящими людьми. Централь-

ный пункт спора Громова и Рагина — должен ли человек «реагировать на раздражение». Позиция Рагина и здесь близка к Аврелию, который уподоблял человека, «гневно и ожесточенно» встречающего испытания, животному, тапцимому на бойню; отличительным же свойством «разумного существа» считал «свободное подчинение своей судьбе, а не постыдную борьбу с ней» (стр. 149). Программе Аврелия, который советовал, «беспрестанно сталкиваясь с людской ложью и несправедливостью, не уставать самому быть кротким», Рагин следовал и в своем жизненном поведении. Вместе с тем во взглядах героя повести и древнего мыслителя есть большие расхождения. Самое существенное из них — полное неприятие Рагиным нравственно-этических принципов учения Аврелия, призывающих к «помощи ближнему», к заботе об «общем благе» (см. об этом: А. С. К а ф т ы м о в. О повестях Чехова «Палата. № 6» и «Моя жизнь». — В его кн.: Нравственные искания русских писателей. М., 1972, стр. 381—386). Есть в рассуждениях Рагина и прямая полемика с Марком Аврелием.

Одна из любимых идей Аврелия, многожды варьируемая в его «Размышлениях», та, что смерть — не более чем перемена состояния. «Вот вышла лошадь, затем, когда она сгниет, из нес выйдет дерево, а потом человек» (стр. 95). «Только природа человека изменится, а он останется жив» (стр. 126) и т. д. Аврелий призывал «бодро встретить смерть как момент разложения плоти на те самые части, которые входят в состав каждого животного» (стр. 23). Против этих слов на полях книги рукой Чехова написано: «Обмен вещ(еств)». Именно с этих слов начинается в VII главе страстная филиппика Рагина: «Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! {...} Только трус {...} может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе...» (см. также варианты, стр. 362, строки 7—8). В сравнении обмена веществ с футляром — также явная полемика с Аврелием, использовавшим этот же образ в обратном смысле (стр. 95). В пылу спора Андрей Ефимыч начинает даже сожалеть «зачем человек не бессмертен», вступая тем самым в противоречие с собственными прежними утверждениями насчет «нормальности» и «законности» смерти. В полемике героя в какой-то степени нашли отражение собственные мысли Чехова об этом предмете. Рассказывая про свой разговор с Л. Толстым о бессмертии, Чехов писал: «Мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его» (М. О. Меньшикову, 16 апреля 1897 г.).

Аналогичные высказывания Чехова записал в своем дневнике (23 июля 1897 г.) Суворин: «Несколько мыслей Чехова: ...Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами (исправлено Н. А. Роскиной по автографу ЦГАЛИ; в кн.: «с вздохами и муками») в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю» (А. С. С у в о р и н. Дневник. М. — Пг., 1923, стр. 165; ср. полемику с Аврелием в письме к Суворину от 11 апреля 1889 г.). Аврелий считал, что все мироздание и человек в нем подчинены высокой цели, все полно глубокого смысла. Рагин полагает «смысл и цель своего существования» неизвестными, а самую жизнь — «ловушкой».

Высказывалось мнение о близости философии Рагина к Шопенгауэру с его пессимизмом, интеллектуальным гедонизмом и созерцательностью (см. А. Скафтымов, указ. соч., стр. 387—389). Выписку из Шопенгауэра находим в чеховской рукописи «Врачебное дело в России» (см. т. XV Сочинений); шопенгауэровские «Афоризмы и максимы» (пер. Ф. В. Черниговца, т. II, СПб., изд. А. С. Суворина, 1892, цензурное разрешение — 26 июля 1891 г.) вышли как раз накануне начала работы над «Палатой № 6»; книга эта была в библиотеке Чехова (*Чехов и его среда*, стр. 396). Совпадения действительно есть, хотя и не такие, как с Марком Аврелием. Но схождения с Аврелием есть и у самого Шопенгауэра (удовлетворение внутри своего «я», радость познания и т. п.).

Находили близость философии Рагина и с учением Л. Толстого (А. Дерман, Ю. Соболев). Но это могло быть также вследствие некоторой общности высказываний Шопенгауэра и Толстого. Все это не исключает возможности какого-то косвенного использования положений этих учений при создании образа Рагина. Чехов черпал из многих источников.

Важнейшее значение для создания повести имели сахалинские впечатления. А. Роскин считал, что «о „Палате № 6“ можно говорить как о повести, продиктованной Сахалином (...) Смотрителей Никит, людей за решеткой и многое другое Чехов видел прежде всего на Сахалине» (А. Р о с к и н, А. П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959, стр. 215—216). Гимназический товарищ Чехова писал: «„Палата № 6“ — это таганрогский сумасшедший дом» (Т а н (В. Г. Богораз). На родине Чехова. — «Современный мир», 1910, № 1, стр. 170). Вполне возможно; вместе с тем изображение палаты умалишенных в повести удивительно близко к описаниям сахалинских тюремных лазаретов («Остров Сахалин», гл. XXIII), которые не удовлетворяют элементарным медицинским и гигиеническим требованиям, где отсутствуют самые необходимые инструменты, где, как и в палате № 6, не переводится розка. (Интересно такое частное совпадение: в Александровском лазарете оказывается только два тупых скальпеля; в «Палате № 6» также «на всю больницу было два скальпеля».)

Память мемуариста донесла до нас любопытную чеховскую ассоциацию. Когда Чехов познакомился с «Отчетом по осмотру русских психиатрических заведений», его первый вопрос к автору был: «А ведь хорошо бы описать также тюрьмы, как Вы думаете?» (см. П. А. А р х а н г е л ь с к и й. Из воспоминаний о Чехове. — В кн.: Ю р и й С о б о л е в. Антон Чехов. Незданные страницы. М., 1916, стр. 134).

Центральная коллизия повести — споры героев, есть ли разница «между теплым, уютным кабинетом и этой палатой» и должен ли человек реагировать на «боль, подлость, мерзость» — разрешается для героя признанием правоты оппонента — того, что естественны «борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение», что именно в этом и заключается чувство самой жизни. В конце герой протестует против причиняемых ему страданий, против своего заключения в палату № 6. В сходном аспекте поставлена Чеховым подобная проблема в главе «Беглые на Сахалине», законченной в конце августа 1891 г.: «Причину, побуждающую преступника искать спасения в бегах, а не в труде и не

в покаянии, служит главным образом не засыпающее в нем сознание жизни. Если он не философ, которому везде и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен» (сб. «Помощь голодающим», М., 1892, стр. 228, дата предисл. — 14 декабря 1891 г.). Эта мысль — центральная в главе. Глава была для Чехова важной. «У меня вышла интересною и поучительною глава о беглых и бродягах», — писал он Суворину 30 августа 1891 г. Подобные самооценки у Чехова редки.

Современный критик считал, что смысл таких произведений Чехова, как «Палата № 6», «можно выразить (...) его собственными словами» именно из книги «Остров Сахалин»: «Вот что он говорит (...) об интеллигенции на каторге: „(...) порядочные (...) люди шли сюда по нужде и потом бросали службу при первой возможности или спивались, сходили с ума, убивали себя, или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь подобно спруту-осьминогу, и они тоже начинали красть, жестоко сечь“» (В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 94).

2

Первое упоминание о «Палате № 6» у Чехова встречается в его письме Суворину от 31 марта 1892 г.: «Пишу повесть. Прежде чем печатать, хотел бы прислать Вам ее для цензуры, ибо Ваше мнение для меня золото, но надо торопиться, так как нет денег». Но в марте он уже работает; замысел повести, как это всегда бывало у Чехова, сложился, несомненно, гораздо раньше. Возможно, это было в конце 1891 года, когда Чехов, усиленно трудясь над книгой о «каторжном острове», все лето и осень находился в кругу сахалинских впечатлений. Вряд ли он работал над повестью до марта — весь конец 1891 и начало 1892 года были заняты писанием других вещей (см. комментарий к рассказам «Жена» в VII т. Сочинений; «Попрыгунья», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека» — в наст. томе).

В начале апреля в работе был небольшой перерыв. «Рассказ еще не готов, — писал Чехов Суворину 8 апреля 1892 г. — С пятницы Страстной до сегодня у меня гости, гости, гости... и я не написал ни одной строки». Но, очевидно, вчерне повесть к этому времени была закончена — уже через неделю, 16 апреля, Чехов писал Ясинскому, что привез ее «теперь в Москву продавать в „Русское обозрение“». В письме к Л. Я. Гуревич от 22 мая 1893 г. Чехов говорил о том же примерно времени: «„Палата № 6“ была написана мною в марте прошлого года».

Но этот вариант был далеко не окончательным. «Месяц — два» Чехов хотел оставить себе «для поправок» (письмо Суворину от 31 марта). В середине апреля повесть была передана редакции журнала «Русское обозрение» (см. письмо И. И. Ясинскому от 16 апреля). Чехов продолжал работу над нею уже в корректуре (письмо Авиловой от 29 апреля 1892 г.). Так, только в начале мая он послал в редакцию конец (письмо Суворину 15 мая 1892 г.).

Повесть для самого Чехова была не совсем обычной,

В обеих своих, данных по свежим следам, оценках повести он особо подчеркивает, например, что в ней «отсутствует элемент любви» (письма Суворину от 31 марта и Авиловой от 29 апреля 1892 г.). Чехов отказывался здесь, таким образом, от «элемента», роль которого в сюжете, как известно по другим его высказываниям, считал весьма существенной. Но, очевидно, дело было не только в этой особенности. Дважды в письме к Суворину он выражает опасения, что сделает что-то не так, и высказывает желание поговорить о будущей вещи: «В повести много рассуждений (...) Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное (...) разрешите мне прислать Вам корректуру. По нынешним временам эта предосторожность необходима (...) Живя замкнуто в своей самолюбивой эгоистической скорлупе и участвуя в умственном движении только косвенно, рискуешь нагородить чёрта в ступе, не желая этого» (31 марта 1892 г.).

«Палата № 6» была не совсем обычна для Чехова начала 90-х годов и по типу повествования. Обращения к читателю, персонафицированный рассказчик («как я уже сказал»), прямые его оценки («нравится мне он сам») — черты, давно ушедшие из его прозы и в таком явном виде никогда больше не повторявшиеся.

Но автора не удовлетворял не только тот вариант, который был написан в марте 1892 г. Уже после чтения корректур и исправлений конца повести, буквально перед самым ее выходом в свет, Чехов не оставляет мыслей об ее переделке. «Я говорил Боборыкину, — писал он В. М. Лаврову 25 октября 1892 г., — что беру повесть от него только для того, чтобы поддержать ее у себя год и переделать. Я ему не врал (...) В самом деле, „Палату“ следовало бы перекрасить, а то от нее воняет больницей и покойницей. Не охотник я до таких повестей!..» (ср. письмо Н. М. Боборыкину от 20 сентября 1892 г.). В письмах Чехова этого времени повесть постоянно называется «скверной», «непервостатейных достоинств» и т. п. (письма к Гуревич 10 сентября 1892 г., Суворину 10 октября 1892 г., И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 24 октября 1892 г., И. Е. Репину 23 января 1893 г.),

3

Повесть в «Русском обозрении», в которое она первоначально предназначалась, опубликована не была. Сначала трения возникли по вопросу оговоре — редакция не выполняла данных обязательств. «Порядки в московских редакциях изумительны, — писал Чехов брату И. П. Чехову около 12 мая. — Когда будешь в пятницу в „Обозрении“ и тебе не выдадут корректуры, то скажи, чтобы тебе немедленно возвратили рукопись и что я к подобному отношению к себе не привык (...). В редакции скажи, что я беру назад рукопись потому, что князь не сдержал обещание, которое дал мне». 12 мая редактор Д. Н. Цертелев написал Чехову извинительное письмо. 20 мая Чехов был в редакции и получил аванс.

Однако это не уладило конфликт окончательно; причины его, видимо, лежали глубже. А. А. Измайлов считал, что консервативной редакции «очевидно, идейно не правился рассказ»,

но она «не имела мужества заявить это прямо» (А. И з м а й л о в. Чехов. М., 1916, стр. 383—384).

Книжки журнала задерживались (так, июньская книжка ожидалась только в августе — см. письмо П. М. Свободина от 19 августа 1892 г. — *ГБЛ*). Выход повести в свет все время откладывался. Это волновало Чехова. Он пишет в начале августа письмо Цертелеву, в котором, очевидно, снова подымает вопрос о возврате рукописи. Одновременно он просит Свободина зайти в редакцию «Русского обозрения» и узнать о состоянии дел. И Цертелев, который в это время уже вышел из редакции, и Свободин советовали взять рукопись из «Русского обозрения» (письма Цертелсва от 17 августа и Свободина от 19 и 24 августа 1892 г. — *ГБЛ*). Это и было сделано (см. письма Чехова Боборыкину от 20 сентября 1892 г., А. А. Александрову и Лаврову от 22 октября).

В это самое время Чехов сблизился с журналом «Русская мысль». Туда он и отдал свою повесть.

«Русское обозрение» возвратило рукопись не сразу, то обещая, то настаивая на своих правах (письма Свободина Чехову в сентябре 1892 г. — *Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 230; Лаврова — Чехову, октябрь 1892 г. — *ГБЛ*; Чехова — Лаврову от 22 октября 1892 г.). В конце октября все наконец устроилось. 25 октября Лавров писал: «Ура! Дело с „Русским обозрением“ окончилось самым лучшим образом: рукопись Вашу и расписку в получении Вами 500 рублей отобрали обратно. Все это теперь находится в наших руках» (*ГБЛ*). В этом же письме Лавров просил разрешения по цензурным соображениям печатать «Палату № 6» «раньше „Рассказа моего пациента“, т. е. в ноябре (...) Если мы получим Ваше согласие, то велим тотчас же набирать „Палату № 6“ и немедленно вышлем Вам корректуру» (*ГБЛ*). Чехов разрешил. «Палата № 6» была напечатана в ноябрьской книжке «Русской мысли».

Вскоре после того Чехов исправил текст «Палаты № 6» для сборника под тем же заглавием (над корректурой сборника Чехов работал во время своего приезда в Петербург в декабре 1892 — январе 1893 г.). При включении повести в сборник было изменено деление ее текста на главы. В журнальном варианте вся история Ивана Дмитрича Громова составляла одну главу. В сборнике каждый существенный период его жизни (детство и юность, начало болезни, жизнь в палате № 6) выделен в самостоятельные главы. То же сделано и с жизнеописанием доктора Рагина. Без изменения оставлены только III и заключительная, VI (они стали соответственно IX и XIX главами) главы, имеющие особое значение в развитии сюжета (III гл. — знакомство доктора Рагина с Грозовым, VI гл. — смерть Рагина). В результате вместо шести глав стало девятнадцать; в последующих изданиях сборника и в издании А. Ф. Маркса количество глав не менялось. Как видно из письма И. И. Горбунову-Посадову от 23 марта 1893 г., новому разделению на главы Чехов придавал большое значение. «Как жаль, — писал он, — что я не догадался посоветовать Вам набирать с суворинского издания! Там много перемен. Деление на главы совсем иное, и есть прибавки. Прибавки были небольшими. Так, в финале восстановлена фраза, мотивирующая предсмертное видение доктора (стадо эвтилоп, «о которых он чи-

тал вчера»). Эта фраза была пропущена Чеховым при переписке рукописи набело (письмо Горбунову-Посадову, 23 марта 1893 г.). При включении повести в издание Маркса исправления тоже были невелики. Текст повести почти полностью сложился сразу и, кроме изменений в делении на главы, существенной переработке при переизданиях не подвергался.

4

11-я книжка «Русской мысли» вышла в 20-х числах ноября (первая газетная рецензия появилась 24 ноября). В. Г. Чертков, внимательно следивший в это время за новыми вещами Чехова и находившийся с ним в переписке по поводу издания «Именин» и «Жены» в серии «Посредника» «для интеллигентных читателей», сразу же прочел «Палату № 6» и уже 26 ноября 1892 г. обратился к Чехову с просьбой разрешить издать повесть в этой же серии: «Не знаю, как выразить Вам то радостное и благое впечатление, какое чтение этого потрясающего по своей глубине и правде рассказа вызвало во мне и моих товарищах. Благодарю Вас от души за все хорошее, которое мы вынесли и несомненно вынесут все читатели от этой вещи. Радуюсь за Вас за ту высоту, на которой Вы находились, за ширину Вашего кругозора и глубину взгляда, когда писали это истинно художественное произведение (...) Спешу обратиться к Вам с просьбою разрешить мне издать эту повесть в моей серии „для интеллигентных читателей“, на тех же основаниях, как и „Именины“ и „Жену“ (...) 50 руб. с листа за каждые 5 т(ысяч) выпускаемых экземпляров (...) Судя по тону Ваших писем ко мне, я вижу, что Вы не придаете преобладающего значения размеру гонорара» (ГБЛ).

Этот отзыв и вся дальнейшая история печатания «Палаты № 6» в «Посреднике» свидетельствуют о крайней заинтересованности Черткова и других сотрудников издательства в этой повести. Письма Черткова и других сотрудников «Посредника» — первые по времени и наиболее развернутые эпистолярные отзывы о новом произведении Чехова. Одновременно с письмом к Чехову Чертков послал повесть Горбунову-Посадову. Тот столь же быстро прочел ее. «Вчера дочитал Чехова „№ 6“, — пишет он Черткову 2 декабря, — и возвращаю; действительно превосходно, — все самобытно, свежо и оригинально» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 879).

Чехов на письмо Черткова не ответил. Обеспокоенный Чертков, до которого, возможно, дошли слухи о предполагавшейся посздке Чехова в Петербург, запрашивает его адрес у В. А. Гольцева и сообщает его петербургскому агенту «Посредника» А. М. Хирьякову, поручив ему переговорить с Чеховым. 3 января 1893 г. Хирьяков просил Чехова о свидании (письмо Хирьякова от этого числа — ГБЛ). Свидание состоялось 5 или 6 января 1893 г.

Чехов был раздосадован задержками в печатании «Посредником» своих рассказов «Припадок», «Бабы», «Жена», «Именины» (рассказ «Бабы» лежал уже полтора года), и договориться об издании «Палаты № 6» не удалось. «Я очень долго выслушивал его укоризны, — писал после свидания Хирьяков Черткову, — и объяснял различные причины замедлений, указывая на то, что

с „Палатой № 6“ этого, по всей вероятности, не будет, но хотя Чехов в конце концов и укротился, однако сказал, что относительно „Палаты № 6“ ответа не дает до появления „Жены“ и „Имени“, а там еще поговорим» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740).

Получив это сообщение, Чертков написал (15 января 1893 г.) большое письмо Чехову. Извиняясь за издательские задержки (см. комментарии к рассказам «Жена» и «Бабы» в т. VII Сочинений), он снова возвращается к вопросу о «Палате № 6»: «Ради бога, Антон Павлович, не казните нас отказом (...) Позвольте же нам принять участие в содействии тому широкому распространению этого произведения, на какое оно напрашивается ввиду общечеловечности, важности и современности его идеи (...) Сегодня же я послал телеграмму в нашу типографию для того, чтобы узнать, в какой кратчайший срок она возьмется выпустить в свет повесть такого размера. Вас же умоляю сжалиться над нами, главное — над нашим делом, и обрадовать нас этим разрешением, которое никому другому не нужно и не дорого в такой степени, как нам, горячим и искренним почитателям того, что в Вашем дару наиболее свято и высоко» (*ГБЛ*). В письме от 20 января он еще раз просит дать повесть, снова мотивируя свою просьбу тем, что «Палата № 6» «по содержанию своему как бы прямо напрашивается именно в наши издания, и было бы слишком больно, если бы вы отказали нам в счастье издания того, что нам так дорого по своему духу и так близко к сердцу» (*ГБЛ*). Свой отказ дать «Палату № 6» в «Посредник» Чехов подтвердил и во второй беседе с Хирьяковым 14 или 15 января (Хирьяков — Черткову, 15 января. — *ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740). Отвечая на письмо Черткова от 15 января, Чехов мотивировал отказ тем, что «Палата № 6» входит в сборник, издаваемый Сувориным. «Уступить Вам этот рассказ значило бы остаться без сборника, который дает мне по меньшей мере тысячу рублей. Деньги же мне теперь адски нужны, так как пишу я мало, а живу одной только литературой. Простите мне этот расчет» (20 января).

После этого письма и трех безуспешных разговоров петербургского агента «Посредника» с Чеховым Чертков поручает продолжение переговоров Горбунову-Посадову. Горбунов-Посадов встретился с Чеховым между 21 и 25 января. Результаты переговоров на этот раз оказались благоприятными для «Посредника», хотя, по-видимому, во многом неожиданными для самого Чехова — на это отчасти указывает его позднейшее письмо. «Черткову я отдал „Палату № 6“ потому, — писал Чехов Суворину 18 августа, — что перед весной и весной я находился в таком настроении, что мне было всё равно. Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виллицу, то я пошел бы».

Горбунов-Посадов сразу же телеграфировал Черткову об успехе, а 29 января подробно писал о содержании беседы, подчеркивая некоторую неожиданность результата: «Как только я после болезни вышел первый раз из дому, я отправился к нему. Не знаю, больной ли, утомленный мой вид или просто добрые чувства, какие он ощутил ко мне, но у нас не было неприятных разговоров и все быстро уладилось (...) О „Палате № 6“: на него отрицательным образом действовали 1) очевидно некоторое неудовольствие (мне уже этого он не высказывал), а 2) практи-

ческое то, что Суворин выпускает его новую книгу, в ней будет много нового и „Палата № 6“ займет доминирующее место. (Чуть ли (не) даже, по словам А(лександра) М(одестовича) Хирьякова), заголовком сей книги будет „Палата № 6“). Но мы в конце концов договорились, что одно издание не будет мешать другому, и он разрешил издавать и „Палату“, так что ее надо теперь представить в цензуру» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

Это письмо Чертков получил 2 февраля. 3 февраля он послал в Петербург Хирьякову отклик повести для представления в цензуру (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 110). 4 февраля он писал Чехову: «Большое спасибо Вам за разрешение издать „Палату № 6“. Я уже сделал распоряжение о ее представлении в цензуру; а по разрешении ее мы будем елико возможно торопить печатание» (ГБЛ). Действительно, в этот же день он пишет И. Д. Сытину, в типографии которого печатались издания «Посредника»: «Вам Иван Иванович расскажет, какая история у нас вышла с Чеховым из-за нашей медлительности: мы чуть с ним не поссорились. Но в конце концов он смягчился и даже разрешил нам издать свою только что прогремевшую на всю Россию повесть „Палата № 6“, несмотря на то, что ее сейчас Суворин печатает. В благодарность Чехову и для того, чтобы совсем устранить прошлое дурное впечатление, нам нужно постараться удивить его быстротою выпуска этой книги» (ЦГАЛИ). «Палата № 6» действительно проходила быстро — как ни одна вещь Чехова. 16 февраля отклик повести был представлен в С.-Петербургский цензурный комитет; 18 февраля цензурное разрешение было дано (с выпуском слов: «Правда, он служил не честно...» и далее, включая фразу: «Почему же он один должен составлять исключение?» — см. стр. 115 наст. тома). 28 февраля отклик был получен Чертковым от Хирьякова «в разрешенном виде» (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10, л. 151).

После письма Сытину Чертков снова запрашивает своих сотрудников о сроках, в которые может быть напечатана повесть. 1 марта 1893 г. Горбунов-Посадов, отвечая ему, обещал, что «Палата № 6», «если выйдет из цензуры, будет, конечно, набрана и отпечатана в самое минимальное время» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880). И верю: отклик был отослан Чертковым в Москву 2 марта (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10), а уже 6 марта Горбунов-Посадов сообщал Черткову, что «„Палата № 6“ набирается на курьерских» (ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880). Одновременно Чертковым предпринимались и другие шаги. Вопреки своему предупреждению о том, что гонорар за «интеллигентную серию» не будет выплачиваться вперед, а «лишь по мере поступления (. . .) первой чистой выручки» (Чехову, 6 июля 1892 г. — ГБЛ), Чертков 4 марта выслал Чехову деньги за первые 5 тысяч экземпляров еще до того, как была готова корректура издания: «Послано автору 150 руб. за первые 5 т(ысяч) и обещана ему же вся чистая прибыль» («Тетрадь с записью движения книг, намеченных для издания», запись 5 марта. — ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10). Об этом же Чертков писал Чехову в сопроводительном письме от 4 марта (ГБЛ).

Горбунов-Посадов торопится выслать Чехову «по 25 (экземпляров) „Именин“ и „Женщ“ и по 1 экз(емп)ляру) всех интеллигентных) изданий, чтобы поскорее показать ему дело» (Горбунов-Посадов — Черткову, 13 марта. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед.

хр. 880). Стоило Чехову выразить сожаление, что набор осуществлялся не по изданию Суворина, где «много перемен» (письмо Горбунову-Посадову от 28 марта 1893 г.), Горбунов-Посадов немедленно «выправил корректуру по суворинскому изданию, чтобы он видел наше внимательное отношение» (Черткову, 15 апреля. — *ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

Набор был закончен менее чем в десять дней. 13 марта корректура повести и цензурный оттиск были высланы Чехову. «Посылаю Вам корректуру „Палаты № 6“ (на Серпухов), — писал Горбунов-Посадов. — Там есть маленькая цензурная пометка. Место очень тонкое и хорошее, но что ж делать? И то к „Палате“ они (для предварительной) были деликатнее других оригиналов. Может, Вы пожелаете вставить там точки? Получив Вашу корректуру, мы немедленно отпечатаем (...) Задержек не будет» (*ГБЛ*). Ответное письмо Чехова до нас не дошло.

28 марта Чехов отослал Горбунову-Посадову цензурный оттиск. 8 апреля Горбунов-Посадов сообщил Черткову: «„Палата“ завтра окончится печатаньем». 15 апреля он пишет Черткову о выходе ее в свет (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

5

«Палата № 6», по свидетельству современников, — «самое счастливое произведение Чехова по тем похвалам, которые оно доставило своему автору» (П. П е р ц о в. Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова. — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 63). За исключением отрицательного отзыва В. П. Буренина, назвавшего повесть «тягуче-скучной» и писавшего, что «не люди хмуры, не современная русская действительность в общем носит это качество — хмур сам Чехов», «не зная из-за чего и на что» («Новое время», 1895, № 6794, 27 января), статьи М. Южного (М. Г. Зельманова), озаглавленной «Скучная история» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября), и рецензии Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока) в «Московских ведомостях» (1892, № 335, 3 декабря) — во всех прочих отзывах отмечались выдающиеся достоинства нового произведения.

Велик был и читательский резонанс. «Сегодня читаю „Палату № 6“, — писал Чехову 1 декабря Вл. И. Немирович-Данченко, — о которой в Москве говорят во всех углах» (*ГБЛ*; «Ежегодник Московского Художественного театра», 1944, т. 1. М., 1946, стр. 98). «„Палата № 6“ имеет успех огромный, какого у Вас еще не было, — утверждал он в другом письме. — Да Вы видите ли газеты? Только о ней и речь» (там же, стр. 99). После выхода сборника (в изд. Суворина) в начале 1893 г., где повесть была заглавной, успех укрепился. «Ваша „Палата № 6“ выставлена всюду, — сообщал Чехову Н. М. Ежов. — Даже у нас на Плющихе и на Арбате в писчебумажных магазинах есть. Вот как Вас расхватывают» (10 марта 1893 г. — *ГБЛ*). «Насколько мне известно, — писал Чехову 17 января 1893 г. врач И. И. Островский, товарищ Чехова по гимназии, — „Палата № 6“ имела крупный успех в среде читающей публики Тифлиса и известных мне захолустях Кавказа» (*ГБЛ*). Всего через год после появления повести современный критик говорил о ней как о «произведении, известном уже всей читающей публике» (В. Г о л о с о в. Незыб-

лемые основы. По поводу последних произведений А. П. Чехова. — «Новое слово», 1894, № 1, стр. 358). Высоко оценил «Палату № 6» Свободин (письмо Чехову 23 июня 1892 г. — ГБЛ). Сразу после выхода 11-й книжки «Русской мысли» А. И. Эртель писал Гольцеву: «Какая мастерская и глубокая вещь „Палата № 6“! Хотя и не без ущерба в смысле лущинской ясности и трезвости. Это не сама жизнь, но беллетристическое размышление о жизни, — тем не менее талант смахивает на таланты „плеяды“» (14 декабря 1892 г. — ГБЛ, ф. 349, 5.19). Н. С. Лесков вскоре после выхода «Палаты № 6» говорил А. И. Фаресову, тогда же записавшему разговор, что рассказ этот «за границей (...) стал бы выше мопаассановских. Он делает честь любой литературе» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1947, стр. 316).

Восторженный отзыв о повести дал в письме к Чехову И. Е. Репин: «...Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа, вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества. (...) Я поражен, очарован (...) Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!..» (Апрель, 1893 г. — ГБЛ; И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929. М., 1950, стр. 102). «Какая хорошая вещь Чехова „Палата № 6“», — отозвался о повести Л. Толстой (письмо Горбунову-Посадову, 24 декабря 1892 г. — Полн. собр. соч., т. 66, стр. 287). «Нам со всех сторон указывают на эту вещь, — писал Чертков Чехову 20 января 1893 г. — Еще недавно мы получили самый сочувственный о ней отзыв от Л. Н. Толстого» (ГБЛ). С. Л. Толстой вспоминал, что «Палата № 6» и «Черный мопах» произвели на Л. Н. Толстого сильное впечатление (С. Л. Толстой. Воспоминания об А. П. Чехове. — «Октябрь», 1944, № 7-8, стр. 145).

Повесть единодушно признавалась лучшим из всего прежде написанного Чеховым. «Перед нами одно из лучших произведений г. Чехова. Давно уже не писал он ничего подобного», — так начинал свою очередную статью в «Литературной хронике» не отличавшийся снисходительностью к творчеству Чехова А. М. Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). «„Палата № 6“ — это, может быть, самая удачная вещь Чехова, — писал Меньшиков, — это горькая драма, заслуживающая не только прочтения, но глубокого, внимательного изучения» («Книжки Недели», 1893, № 1, стр. 204). «Лучшим из последних чеховских произведений, — утверждал А. Огнев, — должно считать „Палату № 6“» («Колосья», 1893, № 11, стр. 237).

Подчеркивались высокие художественные достоинства повести — правдивость психологического изображения, естественность; тонкость и изящество манеры, языка. Выделяя повесть «среди бесцветных беллетристических произведений наших дней» и считая ее лучшим произведением Чехова после «Скучной истории», А. Л. Волынский писал: «Г. Чехов ничего не преувеличивает, и, не прибегая к утрировке ради каких-нибудь посторонних, публицистических целей, ведет свой рассказ с искусством и простотою настоящего артиста. (...) Повсюду, в мельчайших подробностях — печать ума простого, ясного, презирающего ходульные эффекты, неестественную, риториче-

скую декламацию (...) Ни у одного из других наших молодых писателей мы не встретим такого великолепного сочетания резких красок и художественной простоты, такого тонкого психологического анализа, таких потрясающих драматических подробностей» («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1893, № 5, стр. 130). В статье «Невыблемые основы», посвященной последним произведениям Чехова, В. Голосов замечал: «Ни в одном из прежних произведений автор не поднимался еще на такую высоту художественной красоты и серьезной, глубокой и ясной мысли, как в рассказе „Палата № 6“. Простота, изящество и сила речи, яркость и живость красок, соблюдение строгой причинности событий, глубокий реализм психологии героев и соразмерность, гармония конструкции частей, выдержанность внутренней перспективы, или, как сказал бы Белинский, внутреннее единство произведения, выдвигают его не только из массы написанного автором, но и из всех лучших произведений русской текущей беллетристики» («Новое слово», 1894, № 1, стр. 358).

Отмечалось «бесспорное общественное» и «общественно-воспитательное» значение повести (Перцов, Меньшиков, Голосов), «широкая общественно-прогрессивная идея», лежащая в ее основе, верность ее типов, встречающихся «во всех сферах русской жизни» (Меньшиков), существенность вопросов современной жизни, затронутых в повести (Скабичевский). Журналистка С. И. Смирнова-Сазонова в письме к Суворину в декабре 1892 г. писала о «Палате № 6» и ее авторе: «Да прежде всего он хочет, чтобы вот такие же несчастные, как я, не спали ночь от его произведений, чтобы яркостью красок, глубиной мысли осветить темные углы нашей жизни. Островский нашел такие углы на Таганке, Достоевский на каторге, Чехов пошел дальше, он спустился еще несколько ступеней, до палаты умалишенных, до самого страшного предела, куда мы неохотно заглядываем (...) Я удивляюсь, как Вы, такой нервный, чуткий человек не оценили чеховского рассказа¹. В нем каждая строка бьет по нервам (...) той внутренней борьбой человеческого духа, когда он то поднимается на страшную высоту, то падает в пропасть» (полностью письмо см. в т. V Писем, стр. 429). Обобщенно-символический характер повести подчеркнут в отзыве Лескова: «В „Палате № 6“ в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это — Россия... Чехов сам не думал того, что написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата его — это Русь!» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М., 1947, стр. 316).

Характерно, что во многих отзывах подчеркивалась именно сила непосредственного эмоционального эффекта, производимого повестью. «Последние шесть страниц рассказа написаны с поражающей силой, — отмечал Волынский. — (...) Все дышит талантом, творческим вдохновением и производит ошеломляющее впечатление» («Северный вестник», 1893, № 5, стр. 136). О силе впечатления писал Н. К. Михайловский («Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря); с сообщения о чувствах, испытанных при

¹ Ср. запись в дневнике С. И. Смирновой-Сазоновой от 20 ноября 1892 г.: «Суворину не понравилась „Палата № 6“, он ему и гриннул резкое письмо» (ИРЛИ, ф. 285).

чтении, начал свою статью Скабичевский: «Я {...}, прочтя повесть утром, весь день и всю ночь находился под обаянием ее; она не выходила у меня из головы; ночью я грезил ею». Повесть, по его словам, «производит на читателя потрясающее, неотразимое впечатление» («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). «Ах, Антон Павлович, как хороша Ваша „Палата № 6“, — писал Чехову А. С. Лазарев (Грузинский). — Какое потрясающее впечатление она произвела на меня. Я всю ночь трясся» (8 декабря 1892 г. — ГБЛ). «Рассказ Чехова мне очень нравится, — писал В. В. Библибин Лазареву (Грузинскому) 7 декабря 1892 г. — Лейкин говорит, что племянница Худекова, прочтя этот рассказ, упала в обморок» (ГБЛ, ф. 82, XXVIIa, 2). В уже упоминавшемся письме Репин также говорит о силе непосредственного воздействия повести.

Однако не все похвалы были безоговорочными. Как писал критик, сделавший краткий обзор мнений о повести, многие положительные отзывы были «несколько двусмысленного свойства, и их точнее всего можно характеризовать выражением „начали за здоровье, а свели за упокой“» (П. Перцов. Изъяны творчества... — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 63). В повести увидели множество недостатков. Некоторые приписывались Чехову искони (объективизм, неумение справиться с большой формой; находили и новые. Если оставить в стороне упреки «Гражданина» в очернении Чеховым российской действительности («Откуда автор взял этот мертвый город?..»), то главное обвинение, которое было предъявлено автору, состояло в том, что в его повести нет осмысления им самим же нарисованных картин, нет ясной, четко и однозначно выраженной авторской идеи. Автор, считал Скабичевский, «слишком объективировался {...}, предоставляя читателям самим прийти к заключениям, какие явствуют из повести» («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). Приблизительно эту же точку зрения высказывал и Михайловский. По его словам, Чехов предоставляет читателям комбинировать «полученные при чтении впечатления на свой собственный страх и с риском ошибиться относительно целей и намерений самого автора, относительно того — в чем сам он видит интерес рассказа» («Случайные заметки». — «Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря). Михайловский противопоставлял повести Чехова рассказ В. М. Гаршина «Красный цветок», в котором «все ясно, определено». Совершенно присоединялся к позиции своего идейного руководителя сотрудник «Русского богатства» Перцов: «Смысл произведения страдает неясностью и не поддается определенному истолкованию» (1893, № 1, стр. 64).

Высказывание критика «Нового слова» Голосова, что «у Чехова, несмотря на всю его, в общем, большую объективность и бесстрашие, можно все же указать его авторское отношение к событиям и героям» (стр. 375), осталось одиноким.

Мнение о «Палате № 6» как произведении, не содержащем единой и четкой авторской мысли, распространилось; хулители сошлись здесь с хвалителями, лагеря смешались: «Гражданин» и «Московские ведомости» в этом были заодно с «Русским богатством», «Новостями» и «Русскими ведомостями». В этом плане критиковал «Палату № 6» и Суворин (см. письмо Чехова Суворину от 25 ноября 1892 г.).

В повести старались обнаружить прямые оценки самого автора, центральных героев пытались разделить на тех, кто высказывает его идеи, и других, кого автор безусловно осуждает. Невозможность сделать это ощущалась как очевидный недостаток. Скабичевский замечал, что автор «ни разу не промолвился, какая основная мысль рассказа и какого мнения он о своем герое» («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 3 декабря). Михайловский также отмечал «иронические нотки», мешающие читателю «обнять душой» «настоящих страдальцев». Приведа рассказ Рагина о себе, М. Южный недоумевал: «Самое странное во всем этом бесспорно то, что никак не уловишь, что все это означает: есть ли это со стороны автора тонкая, ядовитая ирония над современным Кифой Мокиевичем (. . .) или же автор и впрямь принимает своего героя за гордого страдальца (. . .), которому мировая скорбь терзает сердце? (. . .) Автор себе самому не уяснил этого вопроса, и оттого это колеблющееся отношение к своему герою: то он будто возводит его на пьедестал мученика, то будто посмеивается над ним. И чем дальше подвигается рассказ, тем эта двойственность в отношении автора к изображаемому им лицу выступает резче и резче» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября).

Сложность, необычность авторской позиции по отношению к героям («то будто возводит на пьедестал, то будто посмеивается») в сравнении с предшествующей литературной традицией была замечена большинством критиков повести. Но как новое литературное качество это не расценивалось.

М. А. Куплетский утверждал, что в основе повести лежит «ложная мысль»: «умственно здоровых людей и сумасшедших различить почти невозможно и что все люди в некотором роде сумасшедшие» (М. К - с к и й. Журнальная хроника. — «Сын отечества», 1892, № 337, 10 декабря).

Скабичевский значительную часть своих двух фельетонов о «Палате № 6» («Новости и биржевая газета», 1892, № 334, 341, 3 и 10 декабря) посвятил раскрытию основной идеи повести, заключающейся, по его мнению, в том, «что десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе потому, что наше невежество не способно отличить их от здоровых (. . .) Вы положительно теряете сознание, кого в этой среде можно считать здоровыми, кого душевнобольными людьми, где кончается палата № 6 и начинается область якобы здравого смысла?..» (№ 341). Такое изображение было оценено им высоко, но два года спустя Скабичевский эти же самые черты повести оценивал уже иначе, считая их «обещанием будущего декадентства» («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1895, № 274, 5 октября).

Михайловский, считая, что сказать, который из героев «доктор и который сумасшедший, довольно (. . .) трудно», в целом в понимании повести оказался близок Скабичевскому: «Может быть, значит, сумасшедший Иван Дмитрич прав, когда изумляется, почему он в больнице, а другие, в том числе и доктор, гуляют на свободе? Может быть, и доктор прав, отвечая, что тут нет логики, а одна только пустая случайность? Может быть, здесь именно лежит центр всего рассказа г. Чехова» («Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря).

Многие видели в повести критику философии равнодушия, непротивления — «крушение философии квиетизма» (Перцов),

осуждение пассивности и созерцательности (Ю. Николаев), ведущих «к гибели самого философа» и увеличивающих страдания «окружающих его» (Голосов). Наиболее подробно эта мысль развивалась в большой статье Меньшикова «Без воли и совести» («Книжки Недели», 1893, № 1). По мнению Меньшикова, Андрей Ефимыч, представляющий собой «в нравственном смысле дальнейшую, несравненно более низкую стадию вырождения» обломовского типа, уже не угрызающегося совестью, «просто не хочет помочь несчастным (. . .) Это болезнь не воли, а (. . .) болезнь совести» (стр. 212).

Меньшиков впервые высказал мысль, получившую столь широкое распространение в позднейшей (посмертной) чеховской критике, — о направленности повести против принципа «непротивления злу». Но, в отличие от последующих авторов, он считал, что доктор Рагин — носитель лишь «ходячего», упрощенного понимания непротивления, «в котором Лев Толстой (. . .) неповинен. Знаменитая формула имеет другой, глубокий смысл» — «нравственную борьбу со злом». Андрей Ефимыч и ему подобные «только мнимые непротивленцы злу. На самом деле это пособники злу» (стр. 224).

Вокруг повести сталкивались литературные мнения; толкования были различны. Особенно это выявилось, например, когда повесть была втянута в орбиту полемики, связанной с начинающимся русским декадентством.

Если Скабичевский считал, что в повести есть «сигнал к психиатрической беллетристике», «обещание будущего декадентства», то Волынский (признавая в целом достоинства повести), напротив, провозгласил ее апофеозом умеренности и здравого смысла: Чехов, внушая читателям, что психически здоровый Громов — сумасшедший, поддается «мнению большинства читателей», «ненавидящих (. . .) свистящие удары безумной критики», держащихся «во всем середины», боящихся всякого стремления «к правде безусловной, окончательной», к «последним, крайним выводам» и считающих это сумасшествием. Эта же мысль усматривалась критиком и в изображении второго центрального персонажа — Андрея Ефимыча. «...он сумасшедший! Кто всю жизнь философствует и разум ставит выше всего на свете, не может быть назван нормальным человеком! (. . .) Г. Чехов ударил по открытому, совершенно незащитному нерву русской жизни, и тихий, осторожный смех его над собственным философствующим героем сольется с громким, раскатистым хохотом над философствующими людьми всей разнузданной интеллигентной черни» («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1893, № 5, стр. 137). В связи со всем этим идея «Палаты № 6» представлялась Волынскому «узкою и фальшивою».

«Литературные заметки» (и не только в части, касающейся Чехова) были встречены в штыки. «Г. Волынский находит узкую тенденцию, — писал в «Новом слове» (1894, № 1) Голосов. — Я не усматриваю ровно никакой тенденции, а вижу прекрасную идею» (стр. 360). Меньшиков, найдя у Волынского «все внутренние признаки декаданса», резко критиковал его выводы. «Ненависть к нормальному, здравому смыслу, это приписывание только расстроенному уму стремления к правде — характерная черта декадентов» («Критический декаданс», — «Книжки

Недели», 1893, № 7, стр. 224). Меньшиков оспаривал вывод Волынского, будто Чехов считает выражение протеста, высказывание правды прерогативой душевнобольных.

Позднейшая критика во многом повторяла мнения первых рецензентов «Палаты № 6». Об осуждении в повести пассивности, пессимизма, равнодушия («формализма») писали в своих книгах С. Столяров («Новейшие русские новеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький». Киев, 1901, стр. 53—57), Вс. Чепихин («Современное общество в произведениях Боборыкина и Чехова». Одесса, 1899, стр. 43). О разоблачении несостоятельности квиетизма (хотя и с оговоркой, что это — не основная идея повести) писал Альбов («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк». — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 93). О холодности, отсутствии определенного авторского отношения писал в большой статье, посвященной Чехову, Е. А. Ляцкий («А. П. Чехов и его рассказы. Этюды». — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 133). Отголосками рассуждений Волынского выглядят утверждения Г. Качереца: «Он смотрит на людей, рвущихся к идеалу (...) как на больных душою» (Г. К а ч е р е ц. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 71).

Но были и новые толкования, рассматривающие повесть в иных ракурсах. Е. В. Аничков видел в повести изображение потребности, права личности «реагировать» («Литературные образы и мнения». — «Научное обозрение», 1903, № 5, стр. 158). Иначе, чем в предшествующей критике, расценивались центральные персонажи; иной, в связи с этим, виделась основная мысль повести. «Двойной ужас испытываешь при чтении превосходнейшего психологически-психиатрического этюда „Палата № 6“, — замечал С. А. Венгеров. — Сначала при виде тех чудовищных беспорядков, которые в земской больнице допускает герой рассказа — бесспорно лучший человек во всем городе (...) а затем, когда оказывается, что единственный человек с ясно сознанными общественными идеалами — это содержащийся в палате № 6 сумасшедший Иван Дмитриевич» («Антон Чехов. Литературный портрет». — «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 33, стлб. 1371). Альбов одну из главных мыслей повести видел в том, что общество выделяющихся из него людей или сводит с ума, как Громова, или «зачисляет в число сумасшедших» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 94).

В 1896 г. один читатель в письме Чехову подписался так: «глубоко Вас уважающий за „Сахалин“, „Палату № 6“» (П. Лабунский — ГВЛ). Для многих читателей Чехов на долгие годы остался в первую очередь автором «Палаты № 6». С самого момента ее опубликования и до конца жизни Чехова эта повесть непременно входила в список самых известных его произведений во всех обзорных статьях о его творческом пути в журналах, газетах, календарях, листовках, энциклопедиях, курсах по истории новейшей русской литературы (см., например: И. П. Мерца л о в. Главные представители современной русской беллетристики. — «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1898, № 8—9, стлб. 183; И. И г н а т о в. Галерея русских писателей. М., изд. С. Скирмунта, 1901, стр. 489; Несколько слов об Антоне Павловиче Чехове. Листовка. М., изд. Московского об-ва народных развлечений, дозв. ценз. 18 июля 1901; Ф. Б а т ю ш-

ков. О Чехове. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1903, № 26, 27 января; Н. Георгиевич. Жизнь Антона Чехова и его произведения. Одесса, книгоиздательство М. С. Козмана, 1903, стр. 6, и др.).

Об оценке повести молодым В. И. Лениным вспоминала его сестра: «Говоря о талантливости этого рассказа, — писала А. И. Ульянова-Елизарова, — о сильном впечатлении, произведенном им, — Володя вообще любил Чехова — он определил всего лучше это впечатление следующими словами: „Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6“» («В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1976, стр. 609).

В архиве Чехова сохранились письма к нему переводчиков «Палаты № 6».

При жизни Чехова «Палата № 6» была переведена на английский, болгарский, венгерский, датский, немецкий, норвежский, сербскохорватский, финский, французский, чешский, шведский и польский языки.

Стр. 87. ...по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. — На последних страницах еженедельной медицинской газеты «Врач» (издавалась с 1880 г.) помещался раздел «Хроника и мелкие известия», печатались сведения о перемещении врачей по службе, некрологи, сообщения о редких медицинских случаях и т. п.

...вам не пора пиво пить? — По свидетельству А. И. Куприна, эту фразу произносила сожительница Л. И. Пальмина. «Как же, отлично помню, — говорил А. П., весело улыбаясь, — в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: „Людодор Иванович, а Людодор Иванович, а что, вам не пора пиво пить?“ Я тогда же неосторожно сказал: „Ах, так вот откуда это у вас в „Палате № 6“? — „Ну да, оттуда“, — ответил А. П. с неудовольствием» (Чехов в воспоминаниях, стр. 559). Тот же источник этой фразы называет и М. П. Чехов (Вокруг Чехова, стр. 109).

Стр. 92. Пирогов Н. И. (1810—1881), врач, основатель русской военно-полевой хирургии.

Пастер Луи (1822—1895), французский естествоиспытатель и бактериолог, основоположник учения о заразных болезнях и микробиологии.

Кох Роберт (1843—1910), немецкий бактериолог, открыл возбудителей туберкулеза, холеры, сибирской язвы.

Психиатрия с ее теперешнею со горячных рубаш, — Новейшие методы диагностики психических заболеваний и их лечения, устройства лечебниц излагались в книге С. С. Корсакова «Курс психиатрии» (М., 1893), находившейся в библиотеке Чехова (Чехов и его среда, стр. 351). Корсаков выступал, в частности, против горячечных рубаш (стр. 259).

Стр. 97. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит со выдумали бы люди. — «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать» (Вольтер, «Послание к автору новой книги о трех самозванцах»). Слова Вольтера процитированы в «Братьях Карамазовых» Достоевского (книга пятая, гл. 3),

Диоген жил в бочке...— Диоген из Синона — ученик Анти-сфена, принадлежал к школе циников. В учении о личной жизни доводил до крайности аскетические принципы своей школы.

Стр. 100. *«Боль есть живое и боль исчезнет».*— Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя. Пер. кн. Л. Урусова. Тула, 1882, стр. 36—37.

Стр. 102. *...молился в саду Гефсиманском и чаша сия.*— Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 39.

СТРАХ

Впервые — «Новое время», 1892, № 6045, 25 декабря. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сб. «Палата № 6», СПб., изд. А. С. Суворина, 1893, и почти без изменений повторено во 2—7 изданиях того же сборника (1893—1899).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 229—243, с исправлением: стр. 133, строка 13: *ты* — *место: ты* (по всем другим источникам).

Рассказ был закончен 24 декабря 1892 г. во время пребывания Чехова в Петербурге. «Вчера я целый день выматывал из души рождественский рассказ», — писал он Н. М. Ежову 25 декабря.

В прозвище персонажа рассказа Гаврилы Северова — «Сорок Мучеников», возможно, использовано прозвище какого-то реального лица (письмо Ал. П. Чехова к Чехову от 1 марта 1893 г. — *Письма Ал. Чехова*, стр. 266).

Почти сразу после выхода рассказа на него обратил внимание В. Г. Чертков. Он поручил переговорить с Чеховым об издании рассказа своему петербургскому агенту А. М. Хирьякову (письмо Хирьякова Чехову от 3 января 1893 г. — *ГБЛ*; запись Чертова 5 января 1893 г. — «Тетрадь с алфавитным списком писателей — сотрудников „Посредника“ с записью движения книг, намеченных для издания». — *ЦГАЛИ*, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 10). Но беседа с Чеховым (5 или 6 января) приняла иное направление, чем предполагали ее устроители (см. об этом в комментариях к рассказу «Жена» в т. VII Сочинений), и Хирьяков не смог поговорить с Чеховым о новом рассказе.

4 февраля 1893 г. к Чехову обратился сам Чертков «с просьбой разрешить (. . .) воспользоваться для одного сборника (. . .) серии „для интеллигентных читателей“ (. . .) рассказом „Страх“» (*ГБЛ*). Чехов на это письмо не ответил. 11 февраля о просьбе Чертова Чехову напоминал Хирьяков (*ГБЛ*). 8 марта Чертков писал И. И. Горбунову-Посадову, что в своих письмах просил Чехова разрешить издать «Страх», «но ответа от него (. . .) не получил. Теперь прошу его разрешения издать эти рассказы в виде отдельного сборника» (*ЦГАЛИ*, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480). По просьбе Чертова Горбунов-Посадов тоже написал об этом Чехову. Чехов, соглашаясь с предложением печатать свои рассказы, особо выделил из них «Страх»: «Мне не кажется, что „Страх“ годится для „Посредника“» (28 марта 1893 г.).

Горбунов-Посадов отзывался о рассказе как производящем «впечатление весьма неопределенное и ничего не говорящее» (Черткову, 15 апреля 1893 г. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880) и считал, что для «Посредника» «больше идет, чем „Страх“, рассказ Чехова „Дома“» (Черткову, 20 апреля 1893 г., там же). «За „Страх“ я стою, — возражал Чертков и Чехову, и Горбунову-Посадову. — Это, по моему мнению, прекрасная по своей правдивости и верноному освещению вещь. С „Очнулась“ она действительно не может выдержать сравнения и вообще не заслуживает отдельного издания; но в сборнике с другими произведениями она желательна» (Горбунову-Посадову, 6 мая 1893 г. — ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480). Чертков предложил другой проект сборника, в который опять входил «Страх» (Горбунову-Посадову, 11 апреля 1893 г.). Горбунов-Посадов сообщил об этом Чехову (16 мая 1893 г. — ГБЛ). Чехов высказался «решительно против нового сборника» (Горбунову-Посадову, 20 мая 1893 г.). Ввиду этого издатели «Посредника» решили не настаивать больше на издании новых сборников Чехова (письма Горбунова-Посадова Черткову от 23 и 27 мая 1893 г. — ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

В сборник «Палата № 6» рассказ вошел почти без изменений. В текст 5-го издания (1897 г.) вставлены слова «мне кажется» (в рассуждении героя о равнодушии к нему жены), подчеркивающие общую его неуверенность и страх перед жизнью. В этом же направлении сделано и несколько небольших исправлений для издания Маркса: «должно быть», «я не знаю наверное».

Н. А. Лейкин записал 25 декабря 1892 г. в своем дневнике: «В рассказе Чехова в „Новом времени“ виден хороший мастер. Рассказ называется „Страх“, но название это, по моему, совсем тут ни при чем. Хорошо, впрочем, выведен несколькими удачными штрихами тип пропойцы по деревенскому прозванию „Сорок мучеников“» (ЛН, стр. 501).

М. О. Меньшиков писал, что в рассказе «Страх», как и в других своих вещах близкого времени — «Скучной истории», «Дуэли», «Жене», «Соседях», «талантливый художник выводит на подбор слабых и дряблых русских людей, новейших Обломовых, решительно не умеющих жить, не умеющих устраивать ни своего, ни чужого счастья при самых прекрасных внешних обстоятельствах» (М. О. Меньшиков. Без воли и совести. — «Книжки Недели», 1893, № 1, стр. 204).

Близкую точку зрения высказал Р. И. Сементковский. Он писал, что в типах, выведенных в рассказах «Палата № 6», «Страх», «заключается глубокая жизненная правда, а правда эта состоит в том, что склонность философствовать, увлекаться общими идеями в русском интеллигентном человеке решительно преобладает над умением найти в окружающей нас действительности и служить ей умело для осуществления воодушевляющих нас в университете общих идеалов» (Р. И. Сементковский. Что нового в литературе. Критические очерки. — «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1903, № 6, стлб. 302—303). П. И. Краснов, сравнивая Чехова с Мопассапом и отдавая предпочтение отечественному писателю за то, что он «видит людей, а не животных», в качестве одного из примеров приводит рассказ «Страх», где «героиня падает так мотивированно,

так неизбежно, что она не вызывает никакого нравственного негодования в читателе» (Пл. К р а с н о в. Осенние беллетристы, Ан. П. Чехов. — «Труд», 1895, № 1, стр. 205).

Волижский (А. С. Глинка) считал рассказ «Страх» одним из самых характерных для Чехова. «Этот мир обыденной жизни, мир житейской бессмыслицы, нескладицы и бестолковщины для героя (...) представляется не менее страшным, чем „мир привидений и загробных теней“». Волижский сближает точку зрения героя рассказа Силина с позицией самого автора (В о л ж с к и й, Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 65). Позиции автора и его героя сближал и А. Л. Липовский, писавший, что сам автор порой ненавидит жизнь, «боится ее обыденщины, где перепутана правда и ложь» (А. Л. Л и п о в с к и й. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 8).

При жизни Чехова рассказ был переведен на норвежский, венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий, французский языки.

Стр. 136—137. ...из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье! — Цитата из «Венецианского купца» (д. 5, сц. 1) в переводе П. И. Вейнберга.

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые — «Русская мысль», 1893, № 2, стр. 153—186; № 3, стр. 8—129. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 244—335, с исправлением: стр. 167, строка 38: *вы* — *место*: *вы* (по «Русской мысли»),

1

В письме к Л. Я. Гуревич от 22 мая 1893 г. Чехов сообщал, что «Рассказ неизвестного человека» он «начал писать в 1887—88 г., не имея намерения печатать его где-либо, потом бросил; в прошлом году (...) переделал его, в этом же кончил...». Таким образом, между началом работы и окончанием ее произошли события, чрезвычайно значительные в творческой биографии Чехова, в частности, поездка на Сахалин.

Повесть была задумана во второй половине 80-х годов и посвящалась людям 80-х годов (одно из предполагаемых заглавий — «В восьмидесятые годы»). В то время замысел произведения, героем которого был террорист, имел особенно злободневное значение. В 80-е годы деятельность «Народной воли», несмотря на разгром ядра организации в 1881 г., после покушения 1 марта, еще продолжалась. Так, именно в 1887 г., в апреле месяце шел процесс над А. И. Ульяновым и его товарищами, казненными в мае того же года. В июне 1887 г. состоялся процесс над народовольцами Г. А. Лопатиным и поэтом П. Ф. Якубовичем, приговоренными к смертной казни, замененной каторгой.

И в то же время, особенно в конце 80-х годов, наблюдался отход от идей революционного народничества. Различные отклики в обществе вызвало ренегатство Л. А. Тихомирова, одного из руководителей «Народной воли», перешедшего в лагерь реакции,

Чехов знал историю Тихомирова, слышал о его исповеди «Почему я перестал быть революционером» (вышла за границей в 1888 г.). 30 декабря 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Социализм — один из видов возбуждения. Где же он? Он в письме Тихомирова к царю. Социалисты поженились и критикуют земство». В письме к А. Н. Плещеву 11 февраля 1889 г. Чехов передавал суть разговора, который был у него с П. Н. Островским: «Спорили между прочим о социализме. Он хвалит брошюру Тихомирова „Отчего я перестал быть социалистом“, но не прощает автору его неискренности. Ему не нравится, что Тихомиров свое прошлое называет „логической ошибкой“, а не грехом, не преступлением. Я же доказывал, что нет там греха и преступления, где нет злой воли, где деятельность, добрая или злая — это все равно, является результатом глубокого убеждения и веры. Оба мы друг друга не убедили и остались каждый при своем...»

Очевидно, тогда же возник разговор о повести, героями которой могли бы стать народовольцы. П. Н. Островский, будучи значительно старше Чехова, являлся очевидцем всех этапов народнического движения и мог быть интересен Чехову своими воспоминаниями (см. его письмо И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 1 марта 1892 г. в сборнике, посвященном А. Н. Островскому. — Островский. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Л., 1924, стр. 274). В письме к Леонтьеву (Щеглову), написанном 13 марта 1893 г. по прочтении «Рассказа неизвестного человека», П. Н. Островский указывал на то, что он давно советовал Чехову «взяться за тип русского революционера» (там же, стр. 286).

В творческом замысле «Рассказа неизвестного человека» могли своеобразно преломиться и жизненные судьбы тех участников революционного движения, с которыми Чехов был знаком.

В самом начале повести ее герой, «неизвестный человек», говорит, что в прошлом он был лейтенантом флота. Для современников Чехова это упоминание значило многое: в 80-е годы проходил ряд процессов над революционерами, в том числе — над группой военных, разделявших программу «Народной воли». Среди морских офицеров, членов военно-революционной организации, особый интерес в связи с творческой историей «Рассказа неизвестного человека» представляет личность И. П. Ювачева. В Николаеве, а затем в Морской академии Петербурга мичман Ювачев проявил себя как талантливый пропагандист и организатор подпольных кружков морских офицеров. 13 августа 1883 г. он был арестован, судим по «процессу 14-ти», или «процессу В. Н. Фигнер», и приговорен к смертной казни через повешение, которая затем, после его ходатайства к царю, была заменена ссылкой в каторжные работы сроком на 15 лет. По словам Фигнер, находившейся в Шлиссельбургской крепости одновременно с Ювачевым, «политические убеждения Ювачева за год заточения совершенно изменились: из борца, завоевателя свободы насильственным путем, он превратился в миролюбца в духе Толстого» (В. Н. Ф и г н е р. Полн. собр. соч., т. 2, ч. 2. М., 1929, стр. 120). В это же время Ювачев пережил и увлечение религией, что хотело использовать тюремное начальство, предлагая ему постричься в монахи (ср. в повести: «То мне хотелось уйти в монастырь...»; о близости героя идеям Толстого см. на стр. 476—477).

В 1887 г. Ювачев был отправлен на Сахалин в селение Ры-

ковское, где заведовал метеостанцией, занимался обследованием берегов Татарского пролива, составил морскую карту западного берега Сахалина. Чехов, находясь в Рыковском, не только встретился с Ювачевым, но и имел возможность довольно хорошо узнать его. В книге «Остров Сахалин» (гл. X) Чехов писал: «В Рыковском есть (...) метеорологическая станция (...) которую неофициально заведует привилегированный ссыльный, бывший мячман, человек замечательно трудолюбивый и добрый; он исправляет еще также должность церковного старосты». О Ювачеве упоминает Чехов в письме к М. О. Меньшикову 4 августа 1895 г.; в библиотеке Чехова сохранилась подаренная ему автором книга: И. Ю в а ч е в. Свод метеорологических наблюдений в сел. Рыковском на о. Сахалине [без титула]. 1894 (см. *Чехов и его среда*, стр. 397). В 1895 г. Ювачев был освобожден. Он совершенно отошел от революционной деятельности и занялся литературным трудом, взяв псевдоним «И. П. Миролюбов». В советские годы печатались воспоминания Ювачева о периоде его революционной деятельности (см. И. П. Ю в а ч е в. Из воспоминаний старого моряка. — «Морской сборник», 1927, № 10).

Для автора «Рассказа неизвестного человека» могли иметь значение и встречи с другими политическими ссыльными на Сахалине (см.: М. Т е п л и н с к и й. Новые материалы о сахалинском путешествии А. П. Чехова. — В кн.: Антон Павлович Чехов. Сб. статей. Южно-Сахалинск, 1959; И. А. С е н ч е н к о. Революционеры России на Сахалинской каторге. Южно-Сахалинск, 1963; М. Л. С е м а н о в а. Чехов-художник. М., 1976, стр. 111—119).

К творческой истории повести имеет отношение и судьба И. Я. Павловского, на что впервые указала М. Л. Семанова в статье «Тургенев и Чехов» («Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та. Кафедра русской литературы», № 134, 1957, стр. 191). Павловский, уроженец Таганрога, с 14 лет и до окончания гимназии — с 1869 по 1871 г. — жил в семье Чеховых в Таганроге. «Этот Павловский, — вспоминал М. П. Чехов, — уехал затем в Петербург, где поступил в Медицинскую академию, но вскоре же был арестован, судим по известному процессу 193-х и заключен в Петропавловскую крепость. При депортации в Сибирь он бежал в Америку (...) Из Америки Павловский переселился в Париж, где (...) напечатал статью о своем пребывании в Петропавловской крепости. Статья эта обратила на себя внимание жившего тогда в Париже Тургенева, который и принял Павловского под свое покровительство. С его легкой руки Павловский стал писать и на французском и на русском языках и скоро сделался видным литератором. Писал он под псевдонимом „И. Яковлев“ и был деятельным сотрудником „Нового времени“» (*Вокруг Чехова*, стр. 50).

Павловский был арестован за то, что организовал в 1874 г. народнический кружок революционной молодежи в Таганроге. Очерк Павловского «В одиночном заключении...» (у М. П. Чехова — «статья») — появился в парижской газете «Le Temps» с сопроводительным письмом Тургенева (И. С. Т у р г е н е в. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, т. XV, М. — Л., 1968, стр. 116—117). Этот очерк был опубликован в 1890 г. в книге Павловского «Маленькие люди с боль-

пним горем», вышедшей в издании Суворина. Герой его заболевает в тюрьме туберкулезом, а получив освобождение и попадая в ту среду, где он находился до ареста, чувствует себя чужим: он не может забыть о своих страданиях, его не трогают рассказы старых друзей «про новые, светлые горизонты, про борьбу за счастье...»

Вскоре после выхода этой книги Чехов встретился с Павловским в Париже весной 1891 г., т. е. как раз в то время, когда возвращался к работе над «Рассказом неизвестного человека» (об этой встрече Чехов писал 21 апреля 1891 г. родным). Возможно, особый интерес для Чехова представляла связь истории Павловского с именем Тургенева, писателя, о значении которого так много говорят герои повести, а также обстоятельства, касающиеся самого Павловского и группы русских эмигрантов, в прошлом — участников революционного движения. Вслед за Тихомировым, получившим амнистию в 1888 г., были удовлетворены ходатайства нескольких политических эмигрантов, в том числе и Павловского, обратившихся к правительству с просьбой — разрешить им вернуться в Россию «для мирных и законных занятий» (см. «Хронику социалистического движения в России. 1878—1887 гг. Официальный отчет». М., Изд. В. М. Саблина, 1907, стр. 325). (Ср. в повести: стр. 209, строки 17—19).

Могла заинтересовать Чехова и судьба таганрогского врача П. М. Шедеви. Свободомыслящий земский врач, тесно связанный с южным центром «Земли и воли», Шедеви после разгрома таганрогского отделения организации и наступивших репрессий в конце 70-х годов бросил работу в земстве, переехал в Таганрог, приобрел значительную практику, выстроил особняк и, как вполне добропорядочный обыватель, был избран членом городской управы (В. С е д е в о в. Чехов и Таганрог. — В кн.: Великий художник. Сб. статей. Ростов н/Д., 1959, стр. 364).

Вероятно, Чехов в работе над повестью опирался и на другие личные воспоминания, связанные с Таганрогом, тем более, что в 1887 г., тогда, когда был начат «Рассказ неизвестного человека», он посетил родной город и мог узнать о судьбе своих бывших гимназических товарищей — в их числе тех, которые не были в стороне от идей революционного народничества. И. Я. Шамкович, учившийся с Чеховым в восьмом классе, в воспоминаниях «А. П. Чехов-гимназист» (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 370) пишет, что многие таганрогские гимназисты в 70-е годы были членами революционных кружков и зачитывались Чернышевским и Бакуниным. В. В. Зелененко, поступивший в таганрогскую гимназию в 1874 г., вспоминал, в частности, об учившемся с Чеховым Всеволоде Гончарове, который, «поступив в Харьковский университет», «занял руководящее место и принял деятельное участие во всех делах и предприятиях местной центральной группы» (В. В. З е л е н е н к о. Таганрогская гимназия во II-й половине 70-х и I-й 80-х годов. — ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 332, л. 56). Писатель и ученый В. Богораз (Тав), учившийся в гимназии одновременно с Чеховым, в 1886—89 гг. принадлежал к организации революционного народничества, был участником Южнорусского съезда — последнего съезда в истории «Народной воли». В 1889 г. Богораз (Тав) был осужден, заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан на Север.

В прошлом таганрогским гимназистом был и В. Осинский, «один из самых деятельных и известных социалистов-революционеров в России», казненный в 1879 г. (см. «Процесс социалистов Валериана Осинского, Софии Лешерн фон Герцфельд и Варфоломея Волошенко. Краткий отчет 3 заседаний Киевского военно-окружного суда 5 мая 1879 г.». «Земля и воля», Женева, 1879). 6 июня 1879 г., когда Чехов находился в Таганроге, там был арестован террорист Л. Ф. Мирский, известный своими покушениями на шефа жандармов А. Р. Дрентельна («Хроника социалистического движения в России», стр. 43—44). Политический заключенный Боголюбов (А. Е. Емельянов), издевательства над которым вызвали выстрел В. И. Засулич в петербургского градоначальника Трепова, до ареста в 1876 г. был в Таганроге, где быстро сплотил вокруг себя революционно настроенную молодежь (см.: «Процесс Веры Засулич». СПб., Тип. С. Муллер, б/г, стр. 123—124).

Позже, в Москве, Чехов, по свидетельству его университетского товарища Г. И. Россолимо, «бывал на сходках (...) в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 661).

Сама жизненная ситуация, положенная в основу сюжета повести, была в известной мере типической: С. Н. Халтурин, произведший взрыв в Зимнем дворце в феврале 1880 г., под именем Степана Батышкова поступил во дворец столовым-краснодеревщиком; М. В. Грязнова, одна из участниц первой народовольческой типографии в Петербурге, служила в 1879 г. в целях конспирации кухаркой; М. В. Тетерко, участник покушений на царя в 1879 и 1880 годах, был кучером; Л. Д. Терентьева по окончании гимназии в 1879 г. жила в Херсоне на положении горничной для того, чтобы помочь революционной организации похитить деньги из казначейства. Во всяком случае, когда в апреле 1897 г. группа студентов посетила Чехова в Мелихове, то на их вопрос: «Есть что-нибудь реальное в фабуле „Рассказа неизвестного человека“?», Чехов ответил: «Да, кое-что, кажется, есть» («У А. П. Чехова в Мелихове». — «Русские ведомости», 1909, № 150, 2 июля).

В повести отразились также впечатления, полученные Чеховым во время его путешествий в 1890 и 1891 годах. Возвращаясь с Сахалина через Гонконг, Сингапур, Цейлон, Чехов плыл и через Бенгальский залив. По возвращении в Москву он писал Суворину 17 декабря 1890 г.: «Если в царстве небесном солнце заходит так же хорошо, как в Бенгальском заливе, то, смею Вас уверить, царство небесное очень хорошая штука». (Ср. в повести: стр. 140, строки 13—17.)

«Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция», — писал Чехов родным 15 апреля 1891 г. В Венеции проводит самые светлые дни своей жизни также и герой повести; его восприятие этого города во многом близко Чехову. (Ср. описание вечера в Венеции в письме к родным от 25 марта 1891 г. и на стр. 199 повести.) Можно привести еще несколько примеров близости чеховских писем и записных книжек тексту повести. «Вообще говоря, нет местечка, которое не возбуждало бы воспоминаний и не было бы трогательно. Например, домик, где жила Дездемона, производит впечатление, от которого трудно отделаться» (из письма родным от 25 марта

1891 г.). (Ср. в повести: стр. 199, строки 5—9.) «...В одной из знаменитейших церквей у усыпальницы скульптора Кановы лежит просто чудо: лев положил голову на вытянутые передние лапы, и у него такое грустное, печальное, человеческое выражение, какого нельзя передать на словах» (из письма М. Е. Чехову от 25 марта 1891 г.). (Ср. в повести: стр. 199, строки 9—10.)

В своей записной книжке Чехов 22 и 23 марта 1891 г. оставил следующие записи: «22-го вечером приехали в Венецию. Hotel Bauer»; «23-го. Собор св. Марка. Дворец дожей. Дом Дездемоны. Квартал Гвидекка. Усыпальница Кановы и Тициана» (№ I, стр. 4). (Ср. в повести: стр. 197, строки 40—41, и стр. 199, строки 9—12.) Судьба Марино Фальери, о котором упоминается в повести, волновала и самого Чехова: он предполагал написать драму из жизни мятежного венецианского дожа (письмо Д. С. Мережковского Чехову от 14 сентября 1891 г. — *ГБЛ*). В главе XVII повести есть описание игры в рулетку в Монте-Карло. В апреле 1891 г., находясь в Ницце, Чехов вместе с И. Н. Потапенко несколько раз ездил в Монте-Карло и играл в рулетку, о чем есть упоминание в его записной книжке (№ I, стр. 8) 13 апреля 1891 г., в письмах родным 12, 13 и 15 апреля 1891 г. и в воспоминаниях Потапенко (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 328—329).

К творческой истории повести имеет отношение и присланное Чехову Суворинным письмом гимназистки, содержание которого видно из письма Чехова к Суворину от 18 мая 1891 г.: «Гимназистку надо в сумасшедший дом, а офицерику, который отдал ее, в крепость на четыре года без лишения чинов. (...) она стала приставать к первому встречному (...) потом едва волокла ноги и написала циническое письмо...» (Ср. в повести: стр. 149, строки 31—37). Суворин увидел в этом свидетельство общего разложения и цинизма. Чехов в письме от 27 мая 1891 г. возражал ему: «Вы пишете, что в последнее время „девочки стали столь откровенно развратны“. Ах, не будьте Жителем! Если они и развратны, то время тут положительно ни при чем (...) И не столько уж у Вас случаев, чтобы делать обобщения». Материалы о создании повести см. в статье: Е. М. Сахарова. Страницы творческой истории «Рассказа неизвестного человека». — В кн.: Чеховские чтения в Ялте. М., 1973, с. 57—71.

2

В письме к Гуревич от 22 мая 1893 г. Чехов назвал 1892 год — годом возвращения к повести после перерыва. Однако из писем к М. Н. Альбову можно заключить, что уже в 1891 г. Чехов занимался «Рассказом неизвестного человека». 14 августа 1891 г. он писал: «Я непременно пришлю Вам рассказ или небольшую повесть, но не раньше осени, когда вернусь в Москву». 30 сентября 1891 г., в ответ на просьбу Альбова — прислать что-нибудь для «Северного вестника» — Чехов сообщал: «{. . .} у меня почти готова для Вас маленькая повесть: набросана, но не отделана и не переписана начисто. Работы осталось на 1—2 недели, не больше. Называется она так: „Рассказ моего пациента“».

Летом 1892 г. в Мелихове гостил артист П. М. Свободин. М. П. Чехов вспоминает: «...В один из приездов Свободина в Мелихово брат Антон написал свою повесть, вышедшую потом в

свет под заглавием „Рассказ неизвестного человека“. Он долго не решался посылать ее в печать и сделал это только после того, как прочитал ее вслух Павлу Матвеевичу. Я помню, как это чтение происходило в саду, днем, причем у Свободина было очень серьезное лицо. Он вставлял свои замечания. Первоначально эта повесть была озаглавлена так: „Рассказ моего пациента...“» (*Вокруг Чехова*, стр. 185). Свободин, находившийся в дружеских отношениях с редакцией «Русской мысли», в частности, с редактором журнала В. М. Лавровым, убеждал Чехова передать повесть в «Русскую мысль». Чехов после письма Лаврова дал на это согласие, о чем сообщал Л. С. Мизиновой 28 июня 1892 г. («ту либеральную повесть, которую начал при Вас, дитя мое, я посылаю в „Русскую мысль“») и Суворину 3 июля 1892 г. Но и после этого работа над повестью продолжалась. Лавров просил Свободина (20 сентября 1892 г.) поторопить Чехова: «Ради бога, напиши Чехову, попроси его от своего имени дать нам поскорее обещанное. Я сам писал вчера» (*ЦГАЛИ*, ф. 640, оп. 1, ед. хр. 15). В сентябре 1892 г. Свободин писал Чехову: «Вы вон пишете, что деньги нужны. Хоть бы Вы дострочили, милый, поскорей Сицилиста-то, или даже и другое что-нибудь для „Русск(ой) мысли“» (*Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 230). А 23 сентября 1892 г. он спрашивал Чехова: «Что ж Вы мне ничего не написали о сношениях с „Русской мыслью“? Дописали Вы ингилиста (так в автографе) или нет? Я еще раз прошу Вас, если это не нарушит Ваших видов и дипломатических соображений, напишите Лаврову...» (там же, стр. 232).

17 октября повесть была передана «Русской мысли» (см. письмо Суворину 18 октября 1892 г.). Чехов сообщал о двух повестях, отданных в журнал. Очевидно, в это время была отдана лишь рукопись «Рассказа неизвестного человека», так как «Палата № 6», обещанная «Русской мысли», находилась еще в «Русском обозрении» (см. примечания к «Палате № 6» в наст. томе).

В октябре 1892 г. Чехов читал корректуру, присланную из «Русской мысли» (письмо Лаврову 22 октября 1892 г.). Однако редакция предложила отложить печатание повести до марта из опасений цензурного характера. Лавров писал Чехову 25 октября: «Я вполне уверен, что в будущем году „Рассказ моего пациента“ пройдет без всяких затруднений, а теперь, когда цензура насторожилась и смотрит на вас взором аспиды и василиска, я опасаясь, как бы не вышла какая-нибудь пакость. К моей просьбе присоединяются также Гольцев и Ремизов» (*ГБЛ*).

Чехов, дав согласие, продолжал работу над текстом. Он писал В. А. Гольцеву 20 декабря 1892 г.: «Я понемножку стригу ее (повесть) и подновляю». Это письмо Чехова разошлось с письмом к нему Гольцева от 18 декабря 1892 г., в котором Гольцев писал: «Мы хотим напечатать Ваш новый рассказ в феврале: этот месяц для нас казовый. Вашим „Рассказом пациента“ мы очень дорожим...» (*ГБЛ*). Получив письмо от Чехова, Гольцев повторил свою просьбу в письме от 22 декабря (*ГБЛ*).

Корректуру «Рассказа неизвестного человека» Чехов послал 27 октября 1892 г. для чтения Суворину: «Он („Рассказ“) пойдет в мартовской книжке (печатать до подписки бояться — цензура), а мне невтерпех, хочется Вас угостить поскорее».

Очевидно, повесть была послана не полностью. Чехов писал Суворину 22 ноября 1892 г.: «Передайте Анне Ивановне, что не прислал я ей до сих пор своей новой повести, потому что не отдавал еще в набор последней главы, которую исправляю. Повесть, или, как выражается Анна Ивановна, „труд“, выйдет в свет в марте».

Находясь в Петербурге в конце декабря 1892 г. — начале 1893 г., Чехов правил корректуру повести, внося в нее значительные сокращения и поправки. 5 января 1893 г. С. А. Андреевский, которому Чехов дал прочесть текст после исправлений, оставил писателю записку следующего содержания: «Заходил к Вам, а Вы уже гуляете! Рассказ очень хорош, и я непременно желаю получить продолжение. Боюсь, что Вы мудрите с поправками: многие Ваши зачеркивания нашли неудачными. Кажется, Вы в неблагоприятном настроении для хорошей переделки. Лучше оставьте, как оно есть, и пригласите мне все остальное сегодня. Я прочту на ночь и завтра утром» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 30—31).

В письмах от 18 и 22 декабря Гольцев просил Чехова переменить заглавие повести (*ГБЛ*, ф. 77, оп. 1, ед. хр. 36). Чехов ответил 30 декабря 1892 г.: «Повесть пришлю к концу января, как Вы желаете, и постараюсь переменить название. Я сильно постриг ее».

В Москве в январе 1893 г. продолжалась работа над корректурой; условия для работы оказались неблагоприятными — в связи с болезнью отца Чехову пришлось срочно выехать в Медихово (см. его письмо к Н. А. Лейкину от 28 января).

Название повести было изменено уже в то время, когда готовилась к выпуску февральская книжка «Русской мысли», после телеграммы Лаврова. Чехов писал Лаврову 9 февраля 1893 г.: «Рассказ моего пациента» — не годится безусловно: пахнет больницей. „Лакей“ — тоже не годится: не отвечает содержанию и грубо. Что же придумать?

1) В Петербурге. 2) Рассказ моего знакомого. Первое — скучно, а второе — как будто длинно. Можно просто „Рассказ знакомого“. Но дальше: 3) В восьмидесятые годы. Это претенциозно. 4) Без заглавия. 5) Повесть без названия. 6) „Рассказ неизвестного человека“.

Последнее, кажется, подходит. Хотите? Если хотите, то ладно».

Корректуру для мартовской книжки Чехов послал 27 февраля 1893 г. с письмом Гольцеву.

Особое внимание уделял Чехов финалу повести. Он писал Суворину 24 февраля 1893 г.: «Окончание Вам не понравится, ибо я его скомкал. Надо бы подлиннее. Но длинно писать было бы тоже опасно, ибо героев мало, а когда, на протяжении 2—3 листов, мелькают все те же два лица, то становится скучно, и эти два лица расплываются». 4 марта 1893 г. Чехов сообщал тому же адресату: «Хотел я дать маленький эпилог от себя, с объяснением, как попала ко мне рукопись неизвестного человека, и написал этот эпилог, но отложил до книжки, т. е. до того времени, когда эта повесть выйдет отдельной книжкой».

Суворин предполагал выпустить повесть отдельным изданием — это видно из письма Чехова Суворину от 4 марта 1893 г.:

«А печатать книжку можно уж в апреле. В повести больше 5 листов, т. е. почти вдвое, чем в „Палате № 6“. Стало быть, книга выйдет толстая, и не придется обманывать публику». Это издание осуществлено не было, и, таким образом, не увидел света написанный Чеховым эпилог. Не появился эпилог и в издании А. Ф. Маркса.

На всем протяжении работы над повестью Чехов высказывал опасения, что цензура не пропустит ее. Он начал писать повесть в 1887—88 г., «не имея намерения печатать». Вернувшись к повести в 1891 г., он надеялся ее опубликовать, но боялся, что это может вызвать затруднения. Чехов писал Альбову 30 сентября 1891 г.: «...Меня обуревают сомнения весьма серьезного свойства: пропустит ли ее цензура? Ведь „Северн(ый) вестн(ик)“ подцензурное издание (. . .) Как социалист, так и сын товарища министра у меня парни тихие и политикой в рассказе не занимаются, по все-таки я боюсь, или, по крайней мере, считаю преждевременным, объявлять об этом рассказе публике. Я пришлю рассказ, Вы прочтете его и решите, как быть. Если он, по Вашему мнению, будет пропущен цензурой, то посылайте его в набор и объявляйте о нем, если же Вы, прочитав, найдете мое сомнение основательным, то благоволите мне возвратить его обратно, не отдавая в набор и на прочтение цензору, потому что если цензор не разрешит его, то мне неудобно будет посылать его в бесцензурное издание: узнав, что рассказ уже не пропущен, здесь побоятся печатать его». 22 октября 1891 г. Чехов опять делился с Альбовым своими опасениями. «Несцензурность ее (повести) не подлежит теперь никакому сомнению, и посылать ее Вам значило бы только тратить попусту время...».

Спустя почти год (10 сентября 1892 г.) он писал Гуревич, что повесть не годится для «Северного вестника» «по цензурным условиям», а 22 мая 1893 г. объяснял ей, что не отдал повесть в «Северный вестник» именно по этой причине. Передав «Рассказ неизвестного человека» в «Русскую мысль», Чехов продолжал опасаться цензурных вмешательств (см. его письма Лейкину и Лаврову от 7 и 9 февраля 1893 г.).

В том, что Чехов так долго занимался повестью, «стриг и подновлял», вероятно, прежде всего сказались опасения цензурного свойства.

Не увидело света и задуманное отдельное издание повести. Суворин и ранее высказывал сомнение в возможности публикации повести. 22 октября 1891 г. Чехов писал Альбову: «В Москве недавно был Суворин и, когда я прочел ему первые 20 строк повести и рассказал сюжет, то он сказал: „Я бы не решился это напечатать“». Чехов также сомневался в возможности появления отдельного издания «Рассказа неизвестного человека» (см. письмо Суворину 4 марта 1893 г.). Однако в «Русской мысли», несмотря на опасения автора и редакции, повесть прошла без цензурных затруднений.

О. К. Куманина, издательница журналов «Читатель» и «Театр» и серии «Театральная библиотека», обратилась 19 ноября 1896 г. к Чехову с просьбой — позволить ей перепечатать «Рассказ неизвестного человека» в журнале «Читатель» (ГБЛ). Повесть была перепечатана в журнале «Читатель» за 1897 г., № 1, заняв собой почти целый номер.

При включении повести в собрание сочинений Чехов значительно переработал весь текст. При этом были учтены — в разных аспектах — высказанные в письмах корреспондентов Чехова и появившиеся в печати отзывы.

Значительной переработке подверглись образы героев повести — «неизвестного человека», Орлова, Зинаиды Федоровны. При редактировании Чехов снял ряд фраз, в которых образ «неизвестного» представлял несколько сниженным, приземленно-бытовым. Зачеркнуты слова «неизвестного человека», содержащие намек на то, что пребывание в доме Орлова имело для него и некоторый практический смысл (см. стр. 384, строки 22—31). Чехов снял и ряд мест, в которых отмечалась близость «неизвестного человека» с Орловым. Так, в окончательном варианте отсутствует сообщение о телеграмме, которую хотел послать «неизвестный человек» Орлову из Ниццы: «„Мы погубили“ — и зачеркнул; „Мы обманули...“ — зачеркнул». В собрании сочинений сняты слова «неизвестного человека», обличающие Зинаиду Федоровну и в какой-то мере близкие по тону высказываниям Орлова (см. стр. 389, строки 37—40). Сняты также отдельные слова и фразы, характеризующие «неизвестного человека» излишне чувствительным, сентиментальным, жалким, в частности, в конце повести (см. стр. 399, строки 24—26).

Значительно более развернуто были представлены в тексте «Русской мысли» взаимоотношения «неизвестного человека» с Полей. Вначале он надеялся «спасти эту девушку, зажечь в ней потухшее или никогда не горевшее человеческое чувство», «длинно» беседовал с ней о том, «как грешно воровать и оскорблять», и только после многих безуспешных попыток наставить Полю «на путь истинный» убеждался в ее безнадежной испорченности, приходя к мысли — «убить эту девку».

Таким образом, в правке, касающейся характеристики «неизвестного человека», видна определенная тенденция — сокращение тех мест, которые содержали элементы отрицательного, критического отношения автора к этому герою.

Изменения, внесенные в обрисовку Орлова и его кружка, носили иной, противоположный характер. Сокращены, в частности, в X главе критические высказывания Орлова об окружающей среде (стр. 382, строки 15—18). Чехов снял и слова Орлова во время последнего свидания с «неизвестным человеком»: «Нашему поколению — крышка. С этим мириться нужно». В тексте «Русской мысли» это категорическое высказывание Орлова как бы подводило черту в его последнем споре с Владимиром Ивановичем и было ошибочно воспринято критикой (И. Иванов и др.) и некоторыми читателями как идейный итог повести.

Чехов внес существенные изменения и в характер Зинаиды Федоровны. Сняв налет некоторой романтической окрашенности образа, серьезной увлеченности Зинаиды Федоровны высокими идеями, писатель подчеркнул, наоборот, ее женственность, мягкость, незащищенность.

Многочисленны изменения и сокращения, касающиеся второстепенных персонажей — Поли, Грузина, эпизодических лиц.

Сохранились три черновых автографа (см. т. XVII Сочинений), которые можно отнести к первоначальным наброскам повести. Обоснованием является тематическая близость «Расска-

зу неизвестного человека». Отрывок «Внутреннее содержание этих женщин...» можно отнести к III главе, стр. 149, строка 31 (см. З. С. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 298—299).

3

В повести нашел отражение интерес Чехова к произведениям ряда крупнейших русских писателей, к тем проблемам их творчества, которые возбуждали живейшее внимание современников, вызывали споры. Здесь прежде всего следует назвать Тургенева. На его романы ссылаются неоднократно герои повести, соглашаясь с писателем или опровергая его взгляды, сочувствуя тургеневским героям или пронизируя над ними (см. об этом в статьях М. Л. Семановой «Тургенев и Чехов» и «Рассказ неизвестного человека» А. П. Чехова (К вопросу о тургеневских традициях в творчестве Чехова)). — «Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та». Кафедра русской литературы, т. 137, 1957 и т. 170, 1958).

В повести Чехова видны следы творческого преломления произведений Л. Н. Толстого. Известно, с каким интересом читал Чехов «Крейцерову сонату» в 1890 г., отзываясь о ней вначале восторженно, а по возвращении с Сахалина критически.

Своеобразную перекличку с Толстым можно усмотреть в судьбе Зинаиды Федоровны, в описании ее несчастного замужества и трагедии ее любви. В журнальной редакции повести содержался ряд прямых указаний на автора «Крейцеровой сонаты» (см. стр. 373, строки 13—15). В повести были и другие ссылки на Толстого, в частности упоминалось об отношении к теории непритввления злу.

Идеи, близкие воззрениям автора «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?», высказывает Владимир Иванович, стремясь убедить Зинаиду Федоровну, что «назначение человека или ни в чем, или только в одном — в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!» В последней фразе можно даже усмотреть прямой ответ на вопросы, поставленные в заглавиях религиозно-философских трактатов Толстого. Книга «В чем моя вера?» была в библиотеке Чехова (жениевское издание 1888 г.). На ней имеется чеховская пометка — на стр. 150 подчеркнута фраза: «Люди, получив счастье, требуют еще чего-то» (Дом-музей А. П. Чехова в Ялте). Имелся в библиотеке Чехова и 12-й том собр. соч. Толстого 1886 г., где с сокращениями опубликован трактат «Так что же нам делать?» (С. Балухатый. Библиотека Чехова. — *Чехов и его среда*, стр. 301—302, 388). Критическое отношение к философским трактатам Толстого выражено в признании Владимира Ивановича, следующем за приведенными выше словами («...Я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился»).

В то же время в повести можно увидеть влияние идейной направленности Толстого — художника и обличителя, а также самой «толстовской манеры выражаться» (из письма Чехова Суворину 27 марта 1894 г.). Чехов поставил своего героя в положение лакея, который особенно остро поэтому ощущает несправед-

ливость существующих общественных отношений, логическую их несообразность. Среди наиболее «толстовских» мест повести можно назвать, например, описания завтрака Орлова (см. стр. 139, строки 24—29) и нового платья Зинаиды Федоровны (см. стр. 169, строки 27—36) — ср. с описанием обеда и бального платья в трактате «Так что же нам делать?» (Л. Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч. Т. 25. М., 1937, стр. 190, 304).

Представляет интерес также следующее: Ювачев явился одним из прототипов не только «неизвестного человека», но и главного героя рассказа Толстого «Божеское и человеческое» (см.: Е. М. С а х а р о в а. Судьба революционера и ее отражение в творчестве Льва Толстого и Чехова.— В кн: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974).

Что касается темы повести, то она получила в современной Чехову литературе достаточно широкое распространение. В 80—90-е годы на страницах журналов в большом количестве появлялись рассказы и повести о бывших участниках революционного движения. Но, как правило, это был сломленный, сбитый с толку, капитулирующий перед жизнью человек, нервный, размагниченный, оплевывающий свое прошлое. Таковы герой рассказа М. Н. Альбова «О том, как горели дрова» («Русская мысль», 1887, № 12), герой рассказа Я. Абрамова «Гамлеты — пара на грош» («Устои», 1882, № 12). Герой повести Юрко (Ю. Н. Говорухи-Отрока) «Эпизод из ненаписанного романа» («Слово», 1880, № 11) абсолютно счастливым почувствовал себя лишь тогда, когда поставил крест на своем прошлом. Герой другого рассказа Говорухи-Отрока — «Развязка» («Вестник Европы», 1882, № 10) — тоже социалист, нигилист, изверившийся в прошлых идеалах. В русле этой традиции воспринял «Рассказ неизвестного человека» Лейкин: «Не понимаю, почему Вы опасались, что его вырежут из книжки „Русской мысли“. Там ведь только намеки на социалиста, да притом и на социалиста раскаявшегося, а такие вещи у нас проходят» (Чехову от 27 марта 1893 г.— ГБЛ).

Однако повесть Чехова кардинально отличалась от упомянутых произведений Альбова, Абрамова и др. Герой ее, мучительно переживая перемену в своем мировоззрении, отказываясь от тех конкретных форм борьбы, в которые выливалась его деятельность, страдает от утраты идеи общественного служения.

Показательна разница в отношении к повести редакции «Русской мысли» до знакомства с нею и после прочтения. Свободин писал Чехову 23 июня 1892 г. о своем разговоре в редакции «Русской мысли»: «Всем очень понравилось переданное мной вкратце содержание,— Гольцеву, который Вам кланяется, особенно. Цензурных преград пытаются избежать и просто думают, что их не будет» (ГБЛ). Выше уже говорилось, как боялась позже редакция вмешательства цензуры, считая даже «Палату № 6» менее опасной в цензурном отношении.

В самом начале 90-х годов, т. е. в то время, когда была опубликована повесть Чехова, только в нелегальной печати и в заграничных изданиях появлялись работы, в которых давалась глубокая и объективная оценка истощившего себя к этому времени героического этапа революционного народничества. В. Засулич в статье «Революционеры из буржуазной среды» писала: «Упадок

движения в восьмидесятых годах не может быть приписан одной ловкости полиции — в нем играла несомненную роль и нервная усталость интеллигенции. Но еще бесконечно большую роль в утрате самими революционерами прежней бодрости и увлечения играло, конечно, ослабление теоретической, идейной основы движения» («Социал-демократ», Женева, 1890, № 1, стр. 78). «Терроризм как система отжил свой век и воскресить его невозможно», — утверждал в 1893 г. С. Степняк-Кравчинский (С. С т е п н я к-К р а в ч и н с к и й. Соч., т. 1, М., 1958, стр. 549). Вера Фигнер писала в своих воспоминаниях о том настроении одиночества, которое испытывали революционные народники в середине 80-х годов (В. Ф и г н е р. Полн. собр. соч., т. 2, М., 1932, стр. 22).

Все это, несомненно, было вызвано узостью теоретической платформы народников, представлявших из себя «группу интеллигентов, а на деле сколько-нибудь широкого, действительно массового революционного движения не было» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 365).

Такова была та общественная атмосфера, которая сложилась в России к 90-м годам и которую глубоко переживал и Чехов, постоянно говоривший в своих произведениях о необходимости пересмотра тех идеалов и программ прошлого, которые оказались несостоятельными.

4

«Рассказ неизвестного человека» при своем появлении вызвал большой интерес читателей.

Г. М. Чехов писал Чехову 23 марта из Таганрога: «Читают его нарасхват и „Русс(кую) мысль“ берут с бою...» (ГБЛ).

Однако идейное содержание повести было понято далеко не всеми. Свидетельство этому — письмо, полученное Чеховым в 1893 г. от «читающего кружка» со станции Ярцево, Московско-Брянской железной дороги, и подписанное Н. Ф. Забелло. «На днях только нам удалось прочесть Вашу повесть „Рассказ неизвестного человека“, — говорилось в письме, — и несмотря на все удовольствие, которое мы получили от прочтения ее, как и всего того, что выходит из-под талантливой пера Вашего, тем не менее мы остались под неприятным чувством полной неудовлетворенности того рассказа, как чего-то недосказанного и невыясненного». Автор письма находит, что поведение «неизвестного человека», его планы и намерения не объяснены Чеховым и поэтому вызывают недоумение. Письмо оканчивалось просьбой к Чехову — «внести побольше света в эту темную историю» (ГБЛ). Как видно из письма Н. М. Ежова Чехову от 16 апреля 1893 г., «сильно не одобрил» повесть А. В. Амфитеатров (ГБЛ).

Высоко оценил «Рассказ неизвестного человека» И. И. Горбунов-Посадов. В марте 1893 г. он писал Чехову: «... в общем впечатление очень сильное. Когда мы покончили, — кроме слез, стоявших на глазах при конце, у меня поднялось в душе радостное чувство — чувство радости за нашу литературу, потому что она вовсе уж не так сиротлива, как все казалось, когда в ней живут и растут такие силы, как Ваша. Чувствуешь, что Вам уж

один только шаг до создания такого, что взволновало бы и осветило бы сильным дыханием вялую общественную суету» (*ГБЛ*). «С большим удовольствием прочитал „Записки неизвестного человека“», — писал Чехову П. А. Сергеев 27 марта 1893 г.

Толстой, беседуя с Г. А. Рusanовым 2 апреля 1894 г., сказал, что «Рассказ неизвестного человека» — «плох» (*Н. Н. Гусев*). Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910. М., 1960, стр. 130). Впоследствии Толстой изменил свое мнение о повести. По свидетельству Д. П. Маковицкого (дневниковая запись от 30 марта 1907 г.), Толстой заметил, что в том же томе, где напечатана очень понравившаяся ему «Попрыгунья», «еще хороши: „Черный монах“ и „Записки неизвестного человека“» (*ГМТ*; *Н. Н. Гусев*. Летопись жизни и творчества., стр. 582).

Один из первых критических откликов на повесть Чехова не был пропущен цензурой. В Центральном государственном архиве Москвы (ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2228) имеется материал о статье В. Голоса, видимо, содержащей обстоятельный анализ «Рассказа неизвестного человека». Текст статьи, не пропущенной цензурой, не сохранился, но о ней можно получить достаточно полное представление из донесения цензора Трескина от 29 октября 1893 г. «В своей повести Чехов, — писал цензор, — нигде не говорил явно: в каких видах намерен был „неизвестный человек“ совершить свое злодеяние. Лишь из намеков чувствуется, что „неизвестный человек“ является орудием какой-то партии». Цитируя отдельные высказывания героя повести, Трескин заключал: «...роль главного героя повести Чехова и ясна и в то же время затемнена недомолвками». Цензор выражал недовольство автором статьи, который стремится раскрыть смысл того, что затуманено Чеховым, — и для доказательства цитировал мнение В. Голоса: «его („неизвестного человека“) политическое мировоззрение, его взгляды на средства политической борьбы по всей вероятности вытекли и даже вымучились в тяжелой внутренней борьбе, о боли и страданием, из глубоких чувств человека — Чехова, его любви и сострадания к обездоленным, ненависти к неправде и многочисленным злоупотреблениям — вот что составило почву для его политического сознания и поисков террористических средств борьбы». Особенно опасным представлялся цензуре тот вывод, который напрашивался при таком подходе к повести: «сознание необходимости уничтожения социальной неурядицы» и неизбежность поисков средств борьбы для социального переустройства.

Автором этой статьи, вероятно, был критик В. Голосов. В только что начинавшем свою деятельность журнале «Новое слово» (1894, № 1) была напечатана статья Голосова «Незыблемые основы (по поводу последних произведений А. П. Чехова)». Ее пафос — в утверждении публицистичности русской литературы и критики. Голосов утверждал, что «Рассказ неизвестного человека» так же богат внутренним содержанием, как и «Палата № 6», и что в нем «есть блестящие художественные страницы» (стр. 358). Заключал свою статью Голосов пожеланием — «чтобы с „Палаты № 6“ и „Рассказа неизвестного человека“ у автора начался бы новый, удачный период творчества с сильно общественно-прогрессивным направлением» (стр. 378).

Критические отзывы о «Рассказе неизвестного человека», появившиеся в печати в 90-е и в начале 900-х годов, многочисленны. Сразу после публикации первой половины повести были помещены развернутые рецензии, а выход в свет мартовской книжки «Русской мысли» вызвал ряд новых статей и обсуждение проблем, поставленных Чеховым. В последующие годы во многих статьях и рецензиях, посвященных творчеству Чехова в целом, повесть по-прежнему привлекала к себе пристальное внимание. Однако глубина чеховского замысла и сложности характера героя, сама неопределенность этого характера, явившаяся в известной мере отражением реальных условий и обстоятельств определенного исторического периода, не были поняты критикой. В ряде случаев характер «неизвестного человека» воспринимался и истолковывался субъективно, примолинейно, без учета ситуации 80-х годов — времени действия повести.

С точки зрения реакционной печати, Чехов недостаточно осудил своего героя, не «разделался» с ним за его революционное прошлое и не показал, каким путем ему следует идти, чтобы «исправиться» и обрести в существующих условиях душевное спокойствие и смысл жизни. По мнению публицистов «Московских ведомостей» и «Гражданина», Чехов должен был привести своего героя в лоно православия и самодержавия.

Многие представители либеральной и народнической критики, упрекая Чехова в безыдейности и пессимизме, неправомерно сближали взгляды писателя с убеждениями его персонажей, в частности, со взглядами Орлова, сетовали на то, что физиономия главного героя не ясна и писатель не предоставил ему возможности уверовать в тот или иной правильный, с их точки зрения, род общественной деятельности.

Некоторые критики полагали, что «Рассказ неизвестного человека» выгодно отличается от других произведений Чехова, страдающих, как им казалось, бессюжетностью и отсутствием содержания. К. Ф. Головин (Орловский) в книге «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897) писал, что в этом произведении «есть (. . .) черта, г. Чехову, вообще говоря, не свойственная, — цельность содержания, органическая связь между ходом действия и его развязкой» (стр. 460). «Приятно изумившую вещь» увидел в «Рассказе неизвестного человека» П. Н. Островский. «... Это первая вещь, в которой он (Чехов) показал способность к „литературной выдумке“» (из письма Леонтьеву (Щеглову) 13 марта 1893 г. — Островский. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Л., 1924, стр. 286).

Большинство критиков, писавших о повести, упрекали Чехова в недоговоренности, отрывочности, незавершенности, свойственных, по их мнению, его творчеству вообще и проявившихся также и здесь. М. Южный (М. Г. Зельманов) в статье «Рассказ г. Чехова» («Гражданин», 1893, №№ 89, 95, 2 и 8 апреля) расценивал повесть как неудачу писателя. Чехов, писал М. Южный, «только видит известные внешние факты, которые и описывает со всей добросовестностью и со всем умением, но смысл этих фактов для него закрыт» (№ 89).

Представители либерально-народнической критики упрекали Чехова в неполноте картины. Так, например, И. И. Иванов писал в «Заметках читателя» («Русские ведомости», 1893,

№ 58 и 82, 1 и 25 марта): «Какая жалость, что автор оставил столько недоговоренного, неясного, совсем неизвестного! Мы узнаем человека только в *период агонии* и по ней должны судить, что именно он представитель „нашего поколения“ и оно должно погибнуть» (№ 82).

А. Вольтский (А. Л. Флексер) утверждал, что «детали, аксессуары, все второстепенные части рассказа отмечены умом и дарованием, но его главный замысел, идея, художественная концепция — бледны, фальшивы, поражают своею вымученностью» (стр. 139). Вся повесть вызвала у Вольтского ряд недоуменных вопросов, на которые, как он полагал, читатель не найдет ответа у Чехова: «Ничто не объяснено, не мотивировано»; «от всего рассказа веет ограниченностью знаний, неподготовленностью, а, быть может, и неспособностью к широкому и вдумчивому анализу русской жизни» («Литературные заметки». — «Северный вестник», 1893, № 5, стр. 139, 141). Умозаключения профессионального критика в данном случае напоминали письмо «читательского кружка», цитируемое выше. То и другое наглядно свидетельствовали, что часть критиков и читателей не была подготовлена к восприятию особенностей творческой манеры Чехова, его идейного и стилевого новаторства.

О том, насколько правдива описанная Чеховым ситуация, насколько соответствуют действительности характеры и обстоятельства, отраженные в ней, в критике были высказаны самые противоположные мнения. К-ский (К. П. Медведский), называя фабулу повести «занятой, причудливой», увидел в ней пренебрежение к действительности («Наша журналистика». — «Наблюдатель», 1893, № 4, стр. 229). В статье «Есть ли у г. Чехова идеалы?» («Новости и биржевая газета», 1893, №№ 87, 94, 101; 1, 8, 15 апреля) А. М. Скабичевский утверждал, что Чехов-реалист правдиво изобразил действительность и предоставил читателям в то же время почувствовать идеалы «сквозь те отрицательные, мрачные краски, какими (он) изображает печальные явления нашей жизни» (№ 87). Меньшиков, признавая жизненную правду чеховских произведений, полагал, что изображенная им «черта дряблости и безволия русского человека» не заслуживает «ни закрепления, ни увековечивания» (стр. 156). «Как капля точит камень, г. Чехов точит русское общество внушениями, что оно ни на что не годится, что оно сгнило до корня. Средства у г. Чехова большие: сила таланта, глубокая вдумчивость и знание русского человека». В результате, по мнению критика, талант Чехова приносит вред, ибо «человек, которому доказали, что он безнадежно погиб, что ему — „крышка“ (. . .) — уже не может подняться» (М. О. М е н ь ш и к о в. Критические очерки. СПб., 1899, стр. 150).

Многие критики писали об индифферентизме и пессимизме Чехова, ссылаясь на «Рассказ неизвестного человека». При этом обычно ставился знак равенства между Орловым и «неизвестным человеком», и чеховская повесть воспринималась как реквием целому поколению, лишенному будущего: «... Наши современники — или немощные духом и плотью мечтатели, или пошлые эгоисты. Одних борьба за идею разбивает в прах, другие — заранее смеются и над борьбой и над идеей», — писал Иванов, полагая, что Чехов полностью разделяет слова Орлова «Нашему

поколению — крышка. С этим мириться нужно» (И. И. Иванов. Заметки читателя. — «Русские ведомости», 1893, № 82, 25 марта). Свою мысль о том, что Чехов в «Рассказе неизвестного человека» дал изображение опустошенной, равнодушной, зараженной прогией интеллигенции, пришедшей на смену «лишним людям» и народникам, Иванов развивал и в статье «Заметки читателя (Современный герой)» («Артист», 1894, № 1, стр. 106).

Сближал «неизвестного» с Орловым и Скабичевский, полагая, что такие «дилетанты идеалисты», как «неизвестный человек», представляют чуть ли не большее зло, чем Орлов и ему подобные: «последние играют в открытую и, по крайней мере, никогда не обманывают. Дилетанты же, суя вам в руку грязь под видом золота, способны исказить, испортить всякое дело» («Новости и биржевая газета», 1893, № 94, 8 апреля).

С. А. Венгеров утверждал, что Чехов «сводит к какому-то пустому месту революционное движение, но еще злее выставлена в этом же рассказе среда противоположная. Это-то общественно-политическое безразличие и дает ему ту объективную жесткость, с которою он обрисовал российских нытиков» («Антон Чехов. Литературный портрет». — «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 33, стр. 1371).

Ю. Николаев в статье «Нигилисты. А. П. Чехов. „Рассказ неизвестного человека“» («Московские ведомости», 1893, №№ 62, 83, 4 и 25 марта) увидел в главных героях повести — «неизвестном человеке» и Орлове — выражение двух распространенных в обществе форм нигилизма: принципиального и житейского, подчеркивая родственную близость этих форм (№ 62).

Больше всего нареканий вызвал у критиков образ «неизвестного человека».

Николаев высказал неодобрение по поводу накинутаго Чеховым «флера» на историю героя повести: «Надо было прямо сказать, что он, „неизвестный человек“, — анархист, что в этом, в анархизме, заключалось то „дело“, которого „серьезным врагом“ был отец Орлова» (№ 62). Николаев полагал, что Чехов должен был показать «историю возрождения души» своего героя, привести его к «незыблемым основам» государства и веры, к признанию христианской морали (№ 83). Точку зрения Николаева разделял и М. Южный. «Но беда в том, — утверждал он, — что именно эту-то задачу автор совершенно как будто потерял из вида и лишь временами, случайно и без всякой связи с общим рассказом сообщает разныя отрывочные сведения о душевных настроениях „неизвестного человека“, так что к концу рассказа главная мысль, которая должна бы выступать на первое место, вовсе забыта» («Гражданин», 1893, № 89, 2 апреля).

Свою неудовлетворенность образом главного героя повести высказали Меньшиков в упоминавшейся уже книге и Головин в книге «Русский роман и русское общество». Отмечая сходство «неизвестного человека» с героями-неудачниками 40-х годов, Головин указывал при этом на существенный недостаток чеховского героя. Это, с его точки зрения, «отсутствие психической цельности». «Он остается, — пишет Головин, — нам неизвестен до конца, как не узнаем мы и мотивов его ненависти к сановнику...» (стр. 461).

В. М. Шулятиков утверждал в статье «Восстановление разрушенной эстетики», что развенчание «неизвестного человека» — основная задача Чехова («Очерки реалистического мировоззрения», СПб., 1904, стр. 617). По словам Шулятикова, писатель рассказывает историю обычного дня «рыцаря на час» оплошления. А на фоне пробудившихся «мещанских» настроений героя неизбежно складывается апология индивидуализма, провозвестником которого, с точки зрения Шулятикова, являлся Чехов.

Г. Качерец, автор книги «Чехов. Опыт» (М., 1902), видел в героях, подобных «неизвестному», «куриц с орлиными крыльями». Критик противопоставлял чеховским героям великих деятелей прошлого — Чернышевского, Некрасова, Щедрина и с этой меркой подходил к «неизвестному человеку» (стр. 65—68). «Инвалида, представителя изверившейся, обанкротившейся эпохи» видел в «неизвестном человеке» И. В. Джонсон (И. В. Иванов), автор статьи «В поисках за правдой и смыслом жизни (А. П. Чехов)» («Образование», 1903, № 12, стр. 25).

Наибольшей удачей писателя, по общему признанию, было описание жизни чиновника Орлова и его окружения.

С точки зрения М. Южного, именно здесь проявился чеховский талант: «Очевидно, автор не только внимательно и пристально наблюдал эту жизнь и хорошо изучил ее, но и глубоко и долго задумывался над ней и проник в тайный ее смысл. Выхватив из этой жизни четырех разнообразных представителей (. . .) автор заставляет их на себе, как в фокусе, сосредоточить всю жалкую и гадкую сущность петербургской жизни, и впечатление получается прямо неотразимое...» («Гражданин», 1893, № 95, 8 апреля). В очерке «А. П. Чехов» Гольцев писал: «„Рассказ неизвестного человека“ дает нам замечательно удачную картину известной части петербургского бюрократического мира» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 50). Иванов находил, что яркие, живые характеры в чеховской повести — Орлов и его приятели — это выхваченные из жизни «типы современной пошлости и нравственного упадка» («Русские ведомости», 1893, № 82, 25 марта). Это мнение разделял Волюнский («Северный вестник», 1893, № 5). Е. А. Ляцкий в статье «А. П. Чехов и его рассказы. Этюд» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 150) отметил, что хотя характер Орлова получился живым, сатира на петербургское общество «вышла бледной».

В книге Волжского (А. С. Глинки) «Очерки о Чехове» (СПб., 1903) была предпринята попытка классифицировать героев Чехова, причем автор утверждал, что в «Рассказе неизвестного человека» «отражаются все основные лучи чеховского творчества» (стр. 105) и поэтому присутствуют разновидности его важнейших типов: сознательно равнодушных, бессознательно равнодушных, беспокойно-ищущих.

И. В. Джонсон расценивал появление повестей «Палата № 6» и «Рассказ неизвестного человека» как новый этап творчества Чехова, когда писатель, с его точки зрения, начал выходить «из роли постороннего созерцателя» («Образование», 1903, № 12, стр. 25—26).

В некоторых работах указывалось на связь «Рассказа неизвестного человека» с творчеством других писателей — Толстого (М. Южный), Тургенева (Волжский),

Одновременно с «Рассказом неизвестного человека» в «Русской мысли» печаталась повесть П. Д. Боборыкина «Наши люди». Это обстоятельство главным образом и вызвало сопоставление современниками двух произведений. В. В. Билибин писал А. С. Лазареву (Грузинскому) 25 марта 1893 г.: «...Рассказ Чех(ова) в „Р(усской) м(ысли)“ слаб и непонятен. Хороши лишь характеристики в первой половине. Боборыкинские лакеи тоже слабы и скучны» (ГБЛ, фонд Л. М., 27А, 3). В письме Н. С. Лескова к Гольцеву от 26 апреля 1893 г. также говорится о повестях Чехова и Боборыкина: «Рассказ Чехова превосходен, и у Боборыкина изучение всего холопства превосходно, но... повествования нет. Тем не менее это оч(ень) любопытно» (сб. «Памяти Виктора Александровича Гольцева», М., 1910, стр. 252). Боборыкин, сопоставив свою повесть с «Рассказом неизвестного человека» и признав достоинства чеховской повести, посчитал, однако, что Чехов проигрывает при этом сравнении. Он писал Гольцеву 27 февраля 1893 г.: «Мы встретились с Чеховым в лакейской сфере; но его „человек“ фиктивный и только повод и передаточный орган самого автора; а у меня — настоящие „люди“. Не знаю — куда он придет; но вещь хорошая и ловко поднимающая внешний интерес для читателей» (ГБЛ, ф. 77, оп. 1, ед. хр. 45).

В начале 900-х гг. появились первые критические отзывы о повести марксистских критиков. А. В. Луначарский сожалел, что Чехов не показал активно действующих героев, что творчеству писателя не хватает ярких красок, веры в жизнь. Так, в рецензии на книгу Волжского «Очерки о Чехове» («Образование», 1903, № 9, стр. 85—91) Луначарский писал о том, что творчество Чехова пессимистично, ему не хватает жизненной бодрости и доказательством этому может служить «Рассказ неизвестного человека»: «...Вот „неизвестный человек“ (. . .) вызвал восторг жаждающей света женщины, в его „деле“ она нашла смысл и радость и воскликнула: „вербуйте меня“, а тот же „неизвестный человек“ поет: „хочется прожить жизнь бодро, осмысленно, красиво...“. Но ведь она была у него, эта жизнь! Но его потянуло „к обывательщине“, явилось пристрастие „к юбкам, кастрюлькам, пеленкам“» (стр. 90).

Позже Луначарский признал, что он недооценивал значения Чехова для пробуждения сознания читателей.

При жизни Чехова «Рассказ неизвестного человека» был переведен на сербскохорватский язык.

Стр. 148. *Что день грядущий мне готовит?* — Строка из «Евгения Онегина» Пушкина, гл. 6, строфа 21; слова арии Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878), Чехов в творчестве композитора особенно выделял эту оперу: «...Я ужасно люблю его музыку, особенно „Онегина“» (из письма к Суворину 15 октября 1889 г.).

Стр. 149. *...бессмертные существуют только во французской академии.* — Французская Академия существует с 1635 г. в составе 40 членов, на место скончавшегося академика тотчас избирается новый. Поэтому за ней закрепилось шутовское название «академия бессмертных».

Стр. 150. *Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем*

нравов. — Катон Марк Старший (234—149 до п. э.), овдовев, жил вместе с семьей взрослого сына и имел наложницу-рабыню. Когда Катон увидел, что сыну неприятно его поведение, он женился на дочери писца. На вопрос сына — чем он огорчил Катона, если тот решился ввести в дом молодую мачеху, Катон ответил: «Все, что ты делаешь, мне нравится, но я хочу иметь больше себе детей, а государству граждан подобных тебе» (П л у т а р х. Жизнь и дела знаменитых людей древности. Т. 4, гл. 24. М., 1894, стр. 345—348).

С т р. 155. *...обедали у Коктана или Донона* — дорогие рестораны в Петербурге.

...плодится и размножится, аки кедры ливанские. — «Плодиться и размножаться» — по библейскому преданию, слова бога, обращенные к Адаму и Еве. — Библия, Кн. Бытия, гл. 1, ст. 22 и гл. 9, ст. 7. «Кедр ливанский» — Псалтирь, псалом 103, ст. 16 («кедры ливанские их же еси насадил»).

Чему посмеялся, тому же и послужиши. — Очевидно, перефраз пословицы «Чему посмеешься, тому поработаешь». — В. Д а л ь. Пословицы русского народа. М., 1892, стр. 970.

С т р. 156. *...нарушать седьмую заповедь...* — Седьмая заповедь Моисеева: «Не прелюбы сотвори» — Библия, Кн. Исход, гл. 20, ст. 14.

С т р. 157. *...если мне когда-нибудь понадобится освободить Болгарию...* — Имеется в виду герой романа Тургенева «Накануне» (1860) болгарин Инсаров.

С т р. 177. *Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь.* — Реплика Молчалина: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь» (А. С. Грибоедов. «Горе от ума», д. 3, явл. 3).

С т р. 185. *...заиграл Лебединую песню Сен-Санса.* — Сен-Санс Камиль (1835—1921), французский композитор, пианист, дирижер, общественный деятель. Его музыкальная пьеса «Лебедь» входит в оркестровую сюиту «Карнавал животных».

С т р. 186. *Ступайте, кума, в монастырь.* — Перефразировка слов Гамлета, обращенных к Офелии (В. Ш е к с п и р. Гамлет, д. III, сц. 1).

С т р. 189. *Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота.* — Имеется в виду Самсон, поднявший и перенесший ворота города Газы. — Библия. Книга судей израилевых, гл. 16, ст. 3.

С т р. 190. *В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери.* — Речь идет о старике Ихменеве, герое повести «Униженные и оскорбленные» (1861) Достоевского, ч. I, гл. 13.

С т р. 191. *Разбойник, висевший на кресте* — Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 39—43.

С т р. 195. *...вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве.* — Мелодрама «Парижские нищие» (авторы Э. Бризбар и Э. Нью) в пер. с французского шла в 70-е годы в Таганроге.

С т р. 199. *Я подолгу стоял у могилы Кановы...* — Канова Антонио (1757—1822), известный итальянский скульптор, представитель классицизма.

А в дворце дождей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фальеро. — Марино Фаль-

ери (1274—1355), венецианский дож, казненный за организацию заговора с целью создания в Венеции демократической республики.

Стр. 203. ...было дело под Полтавой... — Первая строка из стихотворения И. Е. Молчанова (1809—1881), которое широко распространилось как песня.

Стр. 212. Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом! — Несколько измененные слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 1, явл. 10): «Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом!»

Стр. 385 (варианты). ...заиграл бетховенскую квазифантазию. — Известна как «Лунная соната» (1801) Л. Бетховена.

Стр. 385 (варианты). ...сыграл две пьесы Чайковского: «Баркароллу» и, кажется, «Подснежник». — Входят в цикл «Времена года» (1876) П. И. Чайковского.

Стр. 391 (варианты). ...у Тургенева кто-то говорит: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» — Слова автора в эпилоге романа «Рудин» (1856).

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

Впервые — «Русские ведомости», 1893, № 357, 28 декабря, стр. 2—3. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; 2-е изд. — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 134—148.

Редакция «Русских ведомостей» при печатании рассказа сократила чеховский текст, не согласовав изменения с автором. В связи с этим Чехов писал В. А. Гольцеву 28 декабря 1893 г., в день публикации: «Ах, мой рассказ в „Русских ведомостях“ постригли так усердно, что с волосами отрезали и голову. Целомудрие чисто детское, а трусость изумительная. Выкинь они несколько строк — куда бы ни пою, а то ведь отмахнули середину, отгрызли конец, и так облинял мой рассказ, что даже тошно. Ну допустим, что он циничен, но тогда не следовало его вовсе печатать, или же было бы справедливо сказать хоть слово автору, или списаться с автором, тем более ведь, что рассказ не попал в рождественский номер, а был отложен на неопределенное время».

Весной 1894 г. Ж. Легра послал переведенный им рассказ в «Revue Bleue», однако писатель просил Легра не публиковать его: «Если Вы уже перевели „Володю большого и Володю маленького“, то не торопитесь печатать. Дело в том, что редакция „Русских ведомостей“ из трусости и целомудрия многое выпустила из этого рассказа. Я пришлю Вам рассказ *in toto*. Непременно пришлю. Еще лучше, если поскорее Вы напишите мне, что этот рассказ Вами еще не напечатан» (письмо от 27 марта 1894 г.). Доцензурный текст рассказа (в полном виде или в виде вариантов) был Чеховым отправлен: «Благодарю за дополнения к рукописи „Володи большого и Володи маленького“, которые Вы мне послали», — писал Легра Чехову 6 мая 1894 г. (оригинал на французском языке — ГБЛ),

В издании писем Чехова под ред. М. П. Чеховой Легра, комментируя письмо к нему от 27 марта 1894 г., писал: «Перевод „Володи большого и Володи маленького“ не появился. Редакция „Revue Bleu“ отклонила этот рассказ, потому что не нашла его интересным» (*Письма*, т. IV, стр. 299—300). Судьба посланных Чеховым дополнений и полный текст перевода Легра неизвестны. Архив Легра находится в Дижонском университете, однако названные материалы в нем не выявлены.

Готовя рассказ для сборника, Чехов внес ряд исправлений, сокращений и добавлений. Так, в «Русских ведомостях» не было сцены катания монашенки на тройке и размышлений Софьи Львовны в связи с этим. В сборнике прибавлено несколько реплик Софьи Львовны во время ее свидания с Володией маленьким, в частности, о ее стремлении к новой жизни. Небольшие, но существенные изменения, внесенные Чеховым в описание чувств Софьи Львовны во время свидания, подчеркнули искренность ее переживаний.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов сделал несколько стилистических исправлений и сокращений. Был снят, в частности, отрывок, содержащий резкое осуждение героиней своего мужа и отца, виноватых в ее неудачной судьбе.

Отзывы о рассказе были немногочисленны. И. И. Островский (товарищ Чехова по Таганрогской гимназии) писал Чехову 11 августа 1894 г.: «Я читал все, что Вы за последние два года печатали в „Русск(ой) мысли“, „Русс(ких) вед(омостях)“ и „Артисте“. Все (за исключением „Володи большого и Володи маленького“) произвело самое приятное впечатление на меня так же, как и на моих знакомых, читающих Вас» (*ГБЛ*). С. А. Андреевский отнес «Володю большого и Володю маленького» к рассказам, которые «в новых тонких варьантах затрагивают амурные вопросы» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января). В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» говорил, что многие персонажи Чехова, «мелькнув светлой точкой», снова сливаются «с окружающей пошлостью». Такова, например, Софья Львовна («Мир божий», 1903, № 1, стр. 92). Восторженную оценку всем произведениям, включенным в сборник «Повести и рассказы», в том числе и этому рассказу, дал И. Е. Репин в письме к Чехову от 13 февраля 1895 г. (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929. М., 1950, стр. 122).

Переводчица Луиза Флакс просила у Чехова разрешения издать переводы на немецкий язык нескольких его рассказов, в том числе и перевод «Володи большого и Володи маленького» под названием «Russische Liebelei» (15 апреля 1896 г. — *ГБЛ*). Ответ Чехова неизвестен.

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, венгерский, сербскохорватский, словацкий и шведский языки.

Стр. 216. ...благословляя его на дальнейшее, как Державин Пушкина. — Имеется в виду известный эпизод 8 января 1815 г. на экзамене в Царскосельском лицее.

Стр. 223. Отчего это вам так вдруг науку захотелось? А, может, хотите конституции? Или, может, северянины с хреном? — Имеются в виду сатирические фразы М. Е. Салтыкова-Щедрина:

«Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. Т. 12, М., 1971, стр. 295).

Стр. 224. *Тара... ра... бумбия... — запел он вполголоса.* — Возможно, это русская транскрипция припева известной французской песенки — своеобразного гимна парижского полусвета конца XIX в.: *Tha ma ga boum die...* (см. в кн.: А. Лапих. *Amours* 1900. Paris, 1961, стр. 198),

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

Впервые — «Артист», 1894, № 1 (ценз. разр. 5 января), стр. 1—16. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. VIII, стр. 83—121, с исправлением: стр. 242, строка 42: Соображения вместо: Соображение (по журналу «Артист» и первому изданию сб. «Повести и рассказы»).

1

«Черный монах» был написан в Мелихове летом 1893 г. 28 июля 1893 г. Чехов сообщал А. С. Суворину: «Написал я также повестушку в 2 листа „Черный монах“. Вот если бы Вы приехали, то я дал бы Вам прочесть». О том, что он написал «небольшую повестушку», Чехов сообщил также Н. А. Лейкину 4 августа 1893 г. и В. А. Гольцеву 22 августа 1893 г. Можно предполагать, что Чехов работал над рассказом и осенью 1893 г., так как в Записной книжке писателя (№ 2, стр. 12) имя «Поликрат», встречающееся в «Черном монахе», идет после записи адреса петербургской гостиницы «Россия», с указанием стоимости номера в месяц (20 р.). В письме к брату Александру Павловичу 4 сентября 1893 г. Чехов просил присмотреть ему подходящую гостиницу в Петербурге и узнать о цене номеров. Ал. П. Чехов ему ответил 17 сентября 1893 г. (*Письма Ал. Чехова*, стр. 286).

Как видно из письма Чехова Суворину от 18 августа 1893 г., последний предполагал напечатать «Черного монаха» в «Новом времени», но Чехов не согласился, «потому что решил не давать в газеты рассказов с „продолжение следует“». А 18 декабря 1893 г. писал тому же адресату: «В ян(арской) книжке „Артиста“ найдете изображение одного молодого человека, страдавшего манией величия; называется эта повесть так: „Черный монах“». «Это рассказ медицинский, *historia morbi*», — сообщал Чехов и М. О. Меньшикову 15 января 1894 г.

«Черный монах» был отдан в «Артист» после настоятельных просьб редактора-издателя этого журнала Ф. А. Куманина. В письме от 22 сентября 1893 г. Куманин умолял Чехова поддерживать журнал: «Обращаюсь к Вам с усердной просьбой — *помогите*, «если у Вас есть что-нибудь готовое для другого журнала, дайте нам», «бога ради, не откажите» (ГБЛ).

И. Л. Леонтьев (Щеглов) вспоминал о своем разговоре с Куманиным вскоре после получения последним чеховского рассказа. На вопрос Леонтьева (Щеглова) — дал ли Чехов что-нибудь «Артисту» — Куманин «редакторски спесиво надулся» и ответил следующее: «— Дал, положим, рассказец; но вещь, признаться, не из важных. Очень водянистая и неестественная. — И добавил: — „По знаете, все-таки Чехов — имя... Неловко не напечатать!..“»

«Когда вышла книжка „Артиста“ с помянутым рассказом Чехова, — пишет Леонтьев (Щеглов), — я прямо ахнул: это был „Черный монах“, т. е. квинтэссенция тончайшей поэзии и творческой проникновенности! Ф. А. Куманину нельзя было отказать в известной чуткости, ни в здравом смысле, но он был слишком „толстокож“ и не его посу было почувствовать такую тонко-сложную вещь, как „Черный монах“» (И. Щеглов. Обида непонимания. — «Биржевые ведомости», 1910, № 11517, 16 января).

16 декабря 1893 г. Чехов заключил с правлением товарищества И. Д. Сытина договор на издание сборника своих рассказов (см. вступит. статью к тому). «Черный монах» предполагалось издать отдельно, однако это издание не было осуществлено.

При подготовке сборника и собрания сочинений Чехов сделал небольшие стилистические изменения в тексте рассказа.

Еще 20 октября 1892 г. к Чехову обратился В. Л. Кигн (Дедлов) с просьбой разрешить его приятелю Н. А. Боратынскому, издателю газеты «Оренбургский край», перепечатку некоторых чеховских вещей. Боратынский такое разрешение получил, и между ним и Чеховым началась переписка. В одном из писем 1894 г. Боратынский благодарил за присланную книгу рассказов — очевидно, сборник «Повести и рассказы» (1894) — и сообщил, что Кигн советовал ему просить у Чехова для перепечатки «Черного монаха». «В бытность здесь Владимира Людвиговича (Кигна) мы много толковали с ним о Ваших произведениях, восхищались ими и „присудили“ Вам первое место в русской художественной литературе. В последние полтора года я еще более убедился, что мы судили правильно. Я доволен (...) отношением к Вашим художественным работам (...) нашего подрастающего поколения, оно Вас любит и все Ваши рассказы читает с большим восторгом» (ГБЛ).

5 сентября 1894 г. Чехов писал Кигну: «Ваш знакомый Н. А. Боратынский (...) как-то просил у меня разрешения перепечатать моего „Черного монаха“, я дал сие разрешение, но вот уже прошло много месяцев, а „Монах“ не появляется на страницах „Края“. Уж не цензура ли?» 27 октября 1894 г. Кигн ответил Чехову: «Сейчас получил от (...) Боратынского письмо. Он пишет, что Вашего разрешения перепечатать „Черного монаха“ не получил, так что Ваше предположение, что тут не без цензуры, может быть некоторым образом и основательно. Я сообщил Боратынскому, что Вы перепечатку разрешаете...» (ГБЛ). «Черный монах» был опубликован в газете «Оренбургский край» (1894, №№ 271, 274, 277, 278 от 30 октября и 6, 13, 16 ноября).

Однако против перепечатки «Черного монаха» возражал Куманин, ссылаясь на то, что эта публикация «была сделана тотчас после выхода книжки „Артиста“» (письмо к Чехову от 25 ноября 1895 г. — ГБЛ). После смерти Куманина его вдова, О. К. Куманина, продолжавшая издательские дела мужа, просила у Чехова

разрешения поместить «Черного монаха» в журнале «Читатель» (письма от 9 и 21 октября 1896 г. — *ГБЛ*). Чехов ответил отказом (см. письмо Кумариной к Чехову от 22 октября 1896 г.).

2

В «Черном монахе» отразились некоторые впечатления мелиховской жизни. По свидетельству брата, Чехов в Мелихове с увлечением занимался садоводством: «С самого раннего утра (...) он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал» (*Вокруг Чехова*, стр. 244). М. П. Чехов рассказал и о том, какие копклетные события и впечатления отразились в рассказе «Черный монах». В Мелихово часто приезжали И. Н. Потапенко и Л. С. Мизинова. В такие дни «Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду „Валахскую легенду“ Брага (...). В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее с неба песнь ангелов, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки (...)

Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что романс имел большое отношение к происхождению его рассказа „Черный монах“» (*Вокруг Чехова*, стр. 257—258).

Чехов писал Л. А. Авилловой 1 марта 1893 г.: «Я живу в деревне. Постарел, одичал. У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и поэтому я постоянно пребываю в элгическом настроении».

М. П. Чехов вспоминал о бывшем в Мелихове разговоре, касающемся происхождения миражей, также имеющем отношение к творческой истории «Черного монаха». «Заговорили (...) о мираже, о преломлении лучей солнца через воздух и так далее, и в результате возник вопрос: может ли и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий мираж, третий — четвертый и так далее, до бесконечности. Следовательно, возможно, что сейчас по вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения?» (*Вокруг Чехова*, стр. 258).

Судя по письмам того периода и по воспоминаниям современников, Чехов во время работы над «Черным монахом» испытывал чувства внутреннего беспокойства, тревоги, неудовлетворенности жизнью. «Я немедленно прикатил бы к Вам в Петербург — такое у меня теперь настроение, но в 20 верстах холера...» — писал он Суворину 28 июля 1893 г. Писатель жаловался на «смертную тоску по одиночеству» и «отвратительное психопатическое настроение». Однако, когда Суворин, ссылаясь на мнение своей жены, высказал предположение, что в Коврине писатель изобразил самого себя, Чехов ответил ему: «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное. Во всяком разе если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. „Черного монаха“ я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении.

Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приспился мне...» (25 января 1894 г.),

По словам М. П. Чехова, «в Мелихове у Антона Павловича, вероятно от переутомления, расходились нервы — он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его „дергало“. Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось „с корнем“, он вскакивал и уже долго не мог уснуть» (*Вокруг Чехова*, стр. 257). В один из таких дней увидел Чехов «страшный», по его словам, сон про черного монаха. «Впечатление черного монаха, — вспоминает М. П. Чехов, — было настолько сильное, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ» (там же, стр. 260).

И. И. Ясинский, в воспоминаниях которого вообще имеются преувеличения и видна тенденция — подчеркивать свое влияние на Чехова, утверждает, что именно он натолкнул Чехова на замысел «Черного монаха», и ссылается при этом на самого Чехова: «— Вы мне как-то рассказывали о каком-то адвокате, — признавался мне Чехов, — который страдал тем, что мушволант¹ разрастались по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у Вас был не замысел, а факт в запасе, но видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я подложил под этот факт медицинскую теорию» (Иер. Я с и н с к и й. Роман моей жизни. М.— Л., 1926, стр. 268).

Н. А. Худекова, жена редактора «Петербургской газеты» С. Н. Худекова, полагала, что мысль о «Черном монахе» возникла у Чехова после посещения имения ее мужа, который считался известным любителем-садоводом. По словам Худековой, Чехов, приобретя Мелихово, всерьез заинтересовался садоводством и, беседуя с Худековым, «спрашивал и о прививках, и про окулировки», наблюдал «дым, стелющийся по питомнику от костров, которые разводили для предохранения растений от весенних морозов»; «Чехов, как сам говорил потом, тогда же задумал своего „Черного монаха“, полного вдохновения и жуткой красоты» (Н. Х—к о в а. Мои воспоминания о Чехове. — «Петербургская газета», 1914, № 178, 2 июля).

По свидетельству М. П. Чехова, слова кричавшего на нерадивых рабочих и распекавшего их Песоцкого в «Черном монахе» появились под влиянием рассказов друга чеховской семьи флейтиста А. И. Иваненко, который вспоминал, как его отец, владелец хутора на Украине, вечно недовольный, выходил на крыльцо и кричал: «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» («Антон Чехов и его сюжеты». М., 1923, стр. 108).

Время работы над «Черным монахом» совпало с периодом острого интереса Чехова к психиатрии. В Мелихове Чехов сблизился с доктором В. И. Яковенко, известным психиатром, основателем и директором лучшей в России в конце XIX в. психиатрии

¹ мушволант (*Une mouche volante* — *франц.*) — летающая муха, черная точка перед глазами.

ческой лечебницы, находившейся в селе Мещерском Подольского уезда. Т. Л. Щенкина-Кулерник пишет в книге «Дни моей жизни» (М., 1928) о Чехове: «Одно время он очень увлекался психиатрией (как раз он писал для „Артиста“ рассказ „Черный монах“) и серьезно говорил мне:

— Если хотите сделаться настоящим писателем, кума,— изучайте психиатрию, это необходимо» (стр. 317).

«Чтобы решать вопросы о вырождении, психозах и т. п., надо быть знакомым с ними научно», — писал Чехов Е. М. Шавровой 28 февраля 1895 г. Упрекая Шаврову, в рассказе которой медицинские вопросы затронуты без должного понимания, Чехов замечает: «Предоставьте нам, лекарям, изображать калек и черных монахов».

Возможно, в творческом сознании автора «Черного монаха» как-то преломилось и восприятие в России произведений немецкого писателя Макса Нордау. Весной и летом 1893 г. в прессе широко обсуждалась книга «Вырождение», в которой Нордау утверждал, что интеллигенция всех стран переживает увлечение явно-психопатическими произведениями — как в области художественной литературы, так и в области философии. По мысли Нордау, это вызвано болезнью века — вырождением, ненормальными условиями жизни, переутомлением и т. д. Книга Нордау вызвала многочисленные отклики, о ней писали Н. К. Михайловский («Русская мысль», 1893, № 4, стр. 176—208), И. И. Иванов («Русские ведомости», 1893, № 147, 31 мая), З. А. Венгерова («Новости и биржевая газета», 1893, № 189, 13 июля). Одна из глав книги Нордау называлась «Гений и толпа», где, в частности, говорилось: «В глазах каждого одаренного благородной душой человек толпы есть „презренное существо“»; «Удел избранных людей — мыслить и желать...» (стр. 20, 21. Ср. слова черного монаха — стр. 242, строки 10—16, 40—42).

Чехов критически относился к Нордау и к теории вырождения (см. его письма Суворину 27 марта 1894 г. и Шавровой 28 февраля 1895 г.).

В библиотеке Чехова находилась книга Н. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890). Минский в этой книге проповедовал философско-религиозную систему «меонизма», т. е. несуществующего, расценивая стремление человека к идеальному как его желание познать бога, растворенного во вселенной. Некоторые положения трактата близки мыслям Нордау. «Болезнь, называемая в науке манией величия, по отношению к нашему времени не есть мания или болезнь, а всем общее естественное следствие высшей культуры, созревший плод самолюбия» (стр. 11) — утверждал Минский.

Об интересе Чехова к философии Марка Аврелия, упоминаемого в рассказе, см. в примечаниях к «Палате № 6» (стр. 447 наст. тома).

Рассказ привлек большое внимание современников Чехова,

Мельшикова более всего поразила чрезвычайно убедительно изображенная в чеховском рассказе психическая болезнь героя. «Монах меня ужаснул,— признавался он Чехову 1 февраля

1894 г., — неужели бывают такие галлюцинации? Вам, как доктору, конечно, лучше это знать, но не мешает знать об этом и изнервленной, изнеможенной нашей учащейся молодежи» (*ГБЛ*). Отец Сергей (С. А. Петров) писал Чехову 8 мая 1897 г.: «Прочитал Вашего Монаха и, право, чуть с ума не сошел» (*ГБЛ*). «„Черного монаха“ получил. Спасибо большое. Прочел я его с большим интересом, но он мне не так понравился (не общим замыслом — он хорош), как „Бабье царство“», — сообщал Чехову 5 февраля 1894 г. И. И. Горбунов-Посадов (*ГБЛ*). М. В. Киселева, поблагодарив Чехова за присланную книгу, писала: «Да наградят Вас боги и да внушат Вам и еще как-нибудь утешить меня присылкой хотя бы „Черного монаха“ — вещи, которую я ужасно люблю» (письмо 1895 г. — *ГБЛ*).

Очень нравился «Черный монах» Л. Н. Толстому. 2 апреля 1894 г. в беседе с Г. А. Русановым он сказал, что «„Черный монах“ — прелесть» (Н. Н. Гусев. *Летописи жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1894—1910*. М., 1960, стр. 130). Русанов в письме к Чехову 14 февраля 1895 г. привел этот отзыв: «О „Черном монахе“ Лев Николаевич с живостью и с какою-то особенною нежностью сказал: „Это прелесть! Ах, какая это прелесть!“» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 58—59). В том же письме Русанов назвал «Черного монаха» среди произведений, причисляемых им самим к «перлам русской литературы». При делении лучших рассказов Чехова на два сорта Л. Н. Толстой отнес «Черного монаха» к первому (письмо И. Л. Толстого к Чехову 25 мая 1903 г. — *ГБЛ*).

В. Э. Мейерхольд писал Чехову в конце декабря 1901 г.: «Опять перечитываем Вас, Антон Павлович! Опять „Дуэль“, „Палата № 6“, „Черный монах“, „По делам службы“... С этими рассказами связаны воспоминания юности, печальной, но светлой. Опять сдавленные слезы, опять ласки поэзии и трепетное ожидание лучшего будущего...» (*ЛН*, стр. 443).

Известно, что первые критические отзывы о «Черном монахе» не удовлетворили Чехова. С. Т. Семенов, встретившийся с писателем зимой 1894 г. в редакции «Посредника», вспоминал: «А. П. медленно ходил по кабинету и рассказывал, в чем сущность его рассказа „Черный монах“ и как его не поняли. Я не читал тогда рассказа и не мог понять, чем тогда огорчили А. П., но хорошо помню, что он был крайне недоволен таким поверхностным отношением критиков к художественным произведениям» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 365).

Леонтьев (Щеглов) писал: «Тогда не поняли, какая чудная вещь его „Черный монах“. В особенности профессора обнаружили поразительную близорукость и неблагодарность» (*ЛН*, стр. 487).

Многие критики расценили рассказ лишь как точное и впечатляющее описание душевной болезни героя, трагически отразившейся на жизни близких людей.

С. А. Андреевский в рецензии на чеховский сборник «Повести и рассказы» (1894) писал: «„Черный монах“ дает нам глубокий и верный этюд психического недуга (...). Фигуры фанатического помещика-садовода и его слабонервной, симпатичной дочери (...) обрисованы чрезвычайно живо. Роковая размолвка между душевно-здоровыми и душевно-больным приводит к ужа-

снoй, по своей бессмысленности, трагедии» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января). А. М. Скабичевский также увидел в «Черном монахе» лишь «весьма интересное изображение процесса помешательства». С точки зрения критика, «никакой идеи, никакого вывода читатель из всего этого не выносит» («Новости и биржевая газета», 1894, № 47, 17 февраля).

Г. Качерец полагал, что Чехов «смотрит на людей, рвущихся к идеалу, переполненных жаждой его и страдающих ради него, как на больных душою», поэтому «увлечения, искренность, чистые страсти ему представляются как симптомы близкого душевного расстройства» («Чехов. Опыт». М., 1902, стр. 71—73). Д. М., автор статьи «Журнальные новости» в «Русских ведомостях» (1894, № 24, 24 января), также относил рассказ целиком к «области психиатрии» и в заключение делал вывод: «Очень может быть, что г. Чехов не думал противопоставлять психиатрического рассказа другим своим произведениям, тем не менее согласно его изображению сильное стремление и истинная благородная страсть возможны только в погоне за призраками...»

Волжский (А. С. Глинка) утверждал, что «Черный монах» — типический случай разрешения конфликта идеала и действительности «путем какой-нибудь прекрасной иллюзии» (В о л ж с к и й. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 122).

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) в статье «Литературные заметки. Современные Поприщицы» относил «Черного монаха» к рассказам фантастическим и считал этот опыт неудачей Чехова. Он полагал, что «маленький человек с ущемленным самолюбием — этот характернейший человек нашего времени — мог выразиться гораздо яснее. Ведь Коврин г. Чехова — это тот же Поприщин, только Поприщин, пропитанный духом современности». Коврину, по мысли Николаева, незачем было сходиться с ума, так как «всегда найдутся Тани, готовые признать современного Поприщина за „гения“ и „необыкновенного человека“» («Московские ведомости», 1894, № 34, 3 февраля).

Михайловский в статье «Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове» возражал тем, кто видел в «Черном монахе» только экскурс в область психиатрии («Русское богатство», 1900, № 4, стр. 128). Михайловский расценивал появление рассказа как еще одно свидетельство намечающегося перелома в творчестве Чехова. Однако, авторская позиция, выраженная в этом рассказе, казалась Михайловскому недостаточно ясной. «Но что значит самый рассказ? Каков его смысл? Есть ли это иллюстрация к поговорке: „чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало“, и не следует мешать людям с ума сходить, как говорит доктор Рагин в „Палате № 6“? Пусть, дескать, по крайней мере те больные, которые страдают манией величия, продолжают величаться, — в этом счастье, ведь они собой довольны и не знают скорбей и уколов жизни... Или это указание на фатальную мелкость, серость, скудость действительности, которую надо брать так, как она есть, и приспособляться к ней, ибо всякая попытка подняться над нею грозит сумасшествием? Есть ли „черный монах“ добрый гений, успокаивающий утомленных людей мечтами и грезами о роли „избранников божьих“, благодетелей человечества, или, напротив, злой гений, коварной лезтью увлекающий людей в мир болезни, несчастия и горя для окружающих близких и, наконец, смерти? Я не знаю,

Но думаю, что как „Палата № 6“, так и „Черный монах“ значе-
ют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как пи-
сателе; перелома в его отношениях к действительности...»
(стр. 132—133).

В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Анто-
на Павловича Чехова...» также связывал идею рассказа «Черный
монах» с поисками писателем «общей идеи». «Только мечта и идеал
дает цель и смысл жизни, только она делает жизнь радостною и
счастливою. Пусть это будет какая угодно мечта, хотя бы бред
сумасшедшего, все-таки она лучше, чем эта гнетущая душу дейст-
вительность» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 103).

Ф. Батюшков утверждал, что автор «Черного монаха», не
принимая на веру представлений, выработанных прошлыми поко-
лениями; стремится проверить привычные нормы общественной
и индивидуальной жизни. «Мы понимаем теперь, — пишет Батюш-
ков, — почему Чехов так настаивал на относительности и подвиж-
ности всяких человеческих норм; они суть только ступени к че-
му-то высшему, далекому от нас, едва предугадываемому нашим
сознанием» («О Чехове». — «Санкт-Петербургские ведомости»,
1903, № 26, 27 января).

Во всех отзывах о «Черном монахе» внимание критиков сосре-
доточивалось главным образом на фигуре центрального героя,
значении его галлюцинаций. Все остальные персонажи представ-
лялись второстепенными или, как их назвал Михайловский,
«подсобными».

Большой интерес вызвал рассказ у зарубежных исследова-
телей и переводчиков.

Ж. Легра увидел в «Черном монахе» сюжет не для повести,
а для романа. Легра писал Чехову 9 июня 1895 г.: «Это целый
роман нервного, образованного русского человека». Вторая
часть рассказа показалась Легра скомканной, по сравнению с на-
чалом, которое «было довольно широко рассказано». Но для того,
чтобы писать роман, Чехов, с точки зрения Легра, должен «изме-
нить значительно свою манеру, и писать уже не только мелкими,
чуждо выработанными фразами», а «больше участвовать» в описы-
ваемом. По словам Легра, Чехов-новеллист является «жестоким
наблюдателем», в романе же надо наблюдать жизнь «с любовью»
(ГБЛ).

7 июля 1898 г. Р. Лонг писал Чехову из Лондона: «Если бы
Вы дали согласие на перевод Ваших произведений, я предлагаю
перевести „Палату № 6“, „Мужиков“, „Черного монаха“ и некото-
рые рассказы...» (Н. А. Алексеев. Письма к Чехову от его
переводчиков. — «Вестник истории мировой культуры», 1961,
№ 2, стр. 105; письмо написано на бланке журнала «Review of
Reviews»).

В 1903 г. в Англии вышел сборник «„Черный монах“ и другие
рассказы» («The Black Monk and Other Tales») (см. А. Л. Т о в е.
Переводы Чехова в Англии и США. — «Филологические науки»,
1963, № 1, стр. 145). Этот сборник впервые серьезно познакомил
англичан с творчеством Чехова.

Переводчица Е. Конерт писала Чехову в 1896 г. о том, что
она познакомилась с его рассказами. В особенности ее вни-
мание привлек «Черный монах», и она просила разрешения пе-
ревести его на немецкий язык (ГБЛ).

А. Г. Константинопиди уведомлял Чехова 29 сентября 1900 г., что редакция одного греческого журпала, «желая представить своим читателям произведения современной русской литературы в греческом переводе», обратилась к нему с просьбой «выбрать таковые из самых талантливых и выдающихся писателей современной России». Константинопиди у Чехова перевел «Черный монах», «Пассажир 1-го класса», «Произведение искусства» и «Скрипка Ротшильда» — «в полной уверенности, что греческая читающая публика оценит по достоинству» эти рассказы (ГБЛ).

Посылая свой перевод «Черного монаха» на чешский язык, Елизавета Била писала Чехову 6 мая 1896 г.: «Мне особенно хочется ознакомить нашу публику с *вашими* произведениями. Пока я перевела для разных чешских газет почти все рассказы из нашей книжки („Орден“, „Детвора“ и др.) и „Черного монаха“» (ЛН, стр. 749).

При жизни Чехова переведено на английский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский, французский и чешский языки.

Стр. 230. ...*запел тихо:*

*Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...*

— Слова из арии Греммина в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878 г., либретто П. И. Чайковского и К. С. Шиловского).

Стр. 232. ...*разучивали известную серенаду Брага.* — «Серенада (Валахская легенда)» итальянского композитора Гаэтано Брага (1829—1907).

Стр. 235. ...*прочти сначала статью Гоше.* — В конце 80-х — начале 90-х годов были изданы «Руководство к прививке древесных и кустарных растений». Сост. по сочинениям Гоше (М., газета «Сад и огород», 1889) и книга Н. Гоше «Руководство к плодоводству для практиков». Пер. с нем. с изменениями и дополнениями относительно России. Ч. 1—2 (СПб., А. Ф. Девриен, 1890).

Стр. 242. ...*в дому Отца Моего обители мнози суть.* — Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 2.

Стр. 247. *Незаметно подошел Успенский пост* — с 1 по 14 августа старого стиля.

Стр. 248. *И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье.* — Легенда о Поликрате изложена в «Истории» Геродота — см. Г е р о д о т. История в 9-ти книгах. Т. I, М., изд. А. Г. Кузнецова, 1888, стр. 237—241, 280—283.

И апостол говорит: постоянно радуйтесь. — «Всегда радуйтесь» — слова апостола Павла из первого послания к солоняпам (тоже фессалоникийцам) — «Новый завет», гл. 5, ст. 16.

Стр. 250. *Под Ильин день* — 20 июля по старому стилю.

Стр. 253. ...*я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы.* — Евангельское сказание об избииении младенцев царем Иродом в Вифлееме (Евангелие от Матфея, гл. 2, ст. 16—19),

БАБЬЕ ЦАРСТВО

Впервые — «Русская мысль», 1894, № 1, стр. 154—189. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Издано отдельно (М., изд. И. Д. Сытина, 1896).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 4—52.

«Бабье царство» было закончено до 25 ноября 1893 г. В письме к А. С. Суворину от этого числа Чехов сообщал о недоразумении, возникшем у него с редакцией «Северного вестника», где настойчиво требовали от него повесть в счет полученного аванса. Чехов вынужден был обратиться к Л. Я. Гуревич с просьбой принять у него аванс обратно. «Сегодня, — писал Чехов, — я получил от Гуревича телеграмму. Просит немедленно выслать ей деньги, так как в субботу предстоит ей большой платеж. А я, как нарочно, написал две повести. Теперь Гуревич скажет, что я нарочно не давал ей ничего, чтобы протянуть время» («две повести» — «Черный монах» и «Бабье царство»).

Существуют разные гипотезы относительно прототипа героини. С. И. Смирнова (Сазонова) записала в дневнике в феврале 1894 г.: «Читала с Н(иколаем Сазоновым) рассказ Чехова „Бабье царство“, где он, по моему разумению, вывел Анну Ивановну Суворину» (ИРЛИ, ф. 285, ед. хр. 23).

П. С. Попов в статье «Прообраз „Бабьего царства“» (в кн.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974) высказывает предположение, что «Бабье царство» навеяно определенными картинами фабричного быта, которые писатель наблюдал в Воскресенске в 1883—1887 годах. Владелица Ивановской суконной фабрики Анна Сергеевна Цурикова после смерти своего мужа, малограмотного человека, стала во главе дела. Сама Анна Сергеевна была жещицной образованной и с претензиями, любила благотворительствовать и была попечительницей той школы, где преподавал брат писателя, И. П. Чехов. К хозяйке фабрики на праздники приходили многочисленные визитеры: местное духовенство, фабричный церковный хор, мастера с фабрики и т. д. Чехов не был лично знаком с Цуриковой, но знал жившего на фабрике учителя С. В. Соловьева, бывал у него, посещал и фабричного фельдшера.

Сохранились черновые наброски к рассказу «Бабье царство» (см. т. XVII Сочинений). Из этих записей видно, что первоначально Чехов задумал произведение, более широкое по объему материала. Действие рассказа должно было продолжаться дольше, чем одни сутки, как это стало в окончательном варианте. Так (судя по черновикам), адвокат бывал в гостях у Анны Акимовны не менее двух раз. Первоначально был задуман образ Сливы, наперсницы или компаньонки Анны Акимовны, с которой она ездила в ресторан, в отдельный кабинет. Не получили развития и намеченные в записях сюжетные линии, касающиеся взаимоотношений Сливы с Лысевичем и лакеем Мипенькой. Упомянутый в черновиках пекий Капицын, с лентой Станислава, которого адвокат называет «Ваше превосходительство», очевидно, в дальнейшем получил фамилию Крылин. Значительно большее место

по первоначальному замыслу занимал в рассказе Пименов: в черновиках имеются его рассуждения о благотворительности и бедных, есть намек на то, что Пименов знал об отношении к нему Анны Акимовны. Записи, касающиеся Анны Акимовны, тетешки, Жужелицы, вошли в рассказ, но иногда в значительно измененном виде.

Слова адвоката Лысевича «Милая, читайте Мопассана» и «Читайте, читайте Мопассана!» напоминают высказывания А. И. Урусова, адвоката, литературного критика, близкого знакомого Чехова. Урусов, обожавший Флобера, однажды, давая автограф, написал под своим портретом по-французски «Читайте Флобера!», что явилось, по воспоминаниям Т. Л. Щепкиной-Куперник, предметом шуток Чехова (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 318).

Готовя рассказ для сборника, Чехов сделал небольшие исправления: изменил в некоторых местах пунктуацию, произвел сокращения. Во втором издании сборника правка также была незначительной. При включении в собрание сочинений Чехов сделал небольшие стилистические поправки.

Отзывы первых читателей были разноречивы. В. В. Билибин восторженно отозвался о рассказе в письме к Н. М. Ежову 17 февраля 1894 г.: «„Бабье царство“ мне очень нравится. Это глубоко задуманная и мастерски выполненная вещь...» (*Вопросы литературы*, 1960, № 1, стр. 105). Высоко оценил «Бабье царство» И. И. Горбунов-Посадов в письме Чехову от 5 февраля 1894 г.: «...написано прекрасно»; «Все лица его (рассказа) стоят передо мной как живые и наводят на печальные и строгие размышления. Прекрасно приведено у Вас, что мир рабочих, мир придавленной силы все вдали, как бы не является на сцену, но все время чувствуется» (*ГБЛ*). Иным было отношение А. И. Эртеля, который писал Гольцеву 2 февраля 1894 г.: «...Опечален я был „Бабым царством“ Анто́на Павловича: кропотливая канитель, в которой основной мотив рассказа потонул без возврата. Так „скулить“ (по выражению Тургенева) позволительно Григоровичу, но зачем же Чехову-то это понадобилось? А между тем вещь могла бы быть очень интересной, если бы не этот культ подробностей и нравственного безразличия» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 93).

В современной Чехову критике распространено было мнение, что произведения Чехова, в частности «Бабье царство», страдают незавершенностью, эскизностью, а отсюда — и неясностью основной идеи. В. П. Буренин полагал, что «Бабье царство» напоминает «начало большого романа», оборванного автором «именно тогда, когда читатель ожидает дальнейшего развития этого интересного начала» («Новое время», 1895, № 6794, 27 января). Эту точку зрения Буренина разделял М. Полтавский (М. И. Дубинский) («Литературные заметки». — «Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта). С ними был согласен и автор статьи, опубликованной в «Русском обозрении» за подписью W. Он предполагал даже, что Чехов опубликовал начало какой-то повести или романа, так как, с его точки зрения, писатели, достигшие, подобно Чехову, славы, имеют обыкновение выкладывать «из своего портфеля все свои залежавшиеся наброски, этюды и обрывки» и спускать «их в журналы под видом как бы цельных „рассказов“» (1894, № 10, стр. 899).

О том, что рассказ написан «несколько эскизно, как и большинство вещей» Чехова, писал и В. П. (В. К. Петерсен). По его мнению, «обилие лиц, введенных г. Чеховым в этот сравнительно небольшой рассказ наряду с главным лицом, делает фигуру каждого из них несколько бледной (за исключением самой Анны Акимовны)» (В. П. Литературные заметки.— «Семья», 1894, № 8, стр. 4).

Автор статьи «Журнальные новости» также утверждал, что «рассказ растянут, а местами даже и скучен, благодаря чрезмерно подробному описанию каждой минуты длинного рождественского дня», хотя, с точки зрения критика, «это описание придает рассказу своего рода *couleur locale*: перечисление мелочей у места там, где вся жизнь состоит из них; благодаря ему нам яснее рисуется, как минута за минутой, час за часом, медленно, томительно и скучно тянется жизнь владельцев завода» («Русские ведомости», 1894, № 24, 24 января; подпись — Д. М.).

Е. А. Ляцкий считал, что в ряде произведений Чехова именно описание быта и бытовых подробностей характеризует писателя как «настоящего, а иногда и превосходного художника», и в качестве примера приводил «Бабье царство» («А. П. Чехов и его рассказы...» — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 153).

В неопубликованной рецензии А. Г. Горнфельда (1895 г.) на сборник «Повести и рассказы» содержится наблюдение над архитектуроникой и характером финалов чеховских произведений (ГИБ, ф. 241, ед. хр. 82). Автор считал, что «пресоблаждающую тему новых рассказов» можно сформулировать как «день итога». По словам Горнфельда, чеховский «герой неожиданно для себя и для читателя остановился, одумался, оглянулся — и страшный итог всей прожитой жизни вдруг появляется перед ним во всей беспощадной обнаженности и простоте: он жил не так — не так как хотел, как надо жить» (л. 4). «Кончился день Анны Акимовны, — писал он, — шумный, праздничный день. Ничего в этот день не произошло ни особенного, ни печального, она не сделала ничего дурного. Но оставшись одна, она вдруг „зарыдала от стыда и скуки“» (л. 6).

О том, насколько соответствуют действительности описанные Чеховым характеры и обстоятельства, насколько типичны герои и злободневна затронутая писателем проблематика, в критике и в письмах корреспондентов Чехова были высказаны самые разные мнения.

По мнению Петерсена, «правдивый рассказ г. Чехова обладает и тем достоинством, что избранная им тема невольно заставляет читателя задуматься над некоторыми вопросами общественной и личной морали» («Семья», 1894, № 8, стр. 5). С. А. Андреевский отметил широту охвата Чеховым жизненных явлений и богатство проблематики: «В „Бабьем царстве“ вы встретите целую толпу типических лиц, как в „Крестном ходе“ Репина. Здесь есть и любопытные жанровые снимки с малоизвестных уголков московского быта, здесь и социальный вопрос, и вера, и ханжество, и жажда жизни, и жажда правды» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время» 1895, № 6784, 17 января). В отличие от Андреевского, М. Полтавский не увидел в «Бабьем царстве» «цельных художественных типов» («Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта).

Споры вызвал образ Анны Акимовны. А. М. Скабичевский утверждал, «что со смерти Островского не появлялось еще у нас такого замечательного типа из купеческой среды», как героиня рассказа («Литературная хроника». — «Новости и биржевая газета», 1894, № 47, 17 февраля). Это замечание Скабичевского признал удачным Билибин (в цитированном выше письме Еякову), на него сослался и Гольцев в статье «А. П. Чехов (Опыт литературной характеристики)» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 50).

С точки зрения Петерсена, личность героини, то положение, в которое она поставлена, и те душевные перипетии, которые она переживает, — если и не вполне новы в литературе (. . .), то, во всяком случае, обличают в авторе живую наблюдательность и, так сказать, самостоятельное отношение к предмету, не довольствующееся уже пройденными путями и стремящееся найти новые черты в данной среде, лицах и явлениях» («Семья», 1894, № 8, стр. 5).

В. Альбову поведение героини представлялось недостаточно ясным и обусловленным: «...Почему она не может уйти (. . .)? По-видимому, просто потому, что она, как и Лаптев в рассказе „Три года“, раба своего положения. Но это не освещено в рассказе» («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 100). М. Полтавский, говоря об интересном замысле писателя — создать «замечательный тип женщины», пришел к заключению, что Чехов не справился с этой задачей («Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта). Ляцкий считал, что замысел Чехова — «раскрыть ложную психологию молодой купчихи-миллионерши» — представляет собой всего-навсего «наивную попытку», не увенчавшуюся успехом («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 153).

Мнения критики разошлись и в понимании образа адвоката Лысевича. И. И. Иванов увидел в Лысевиче идейный центр, главный фокус произведения, а в Анне Акимовне — только «фон для портрета героя». Рассказ Чехова интересовал критика прежде всего как «документ для характеристики русского декаданса» («Заметки читателя». — «Артист», 1894, № 3, стр. 155). Иванов, ссылаясь на книги М. Нордау, писавшего о вырождении, проявлением которого, с его точки зрения, являются символизм и декадентство (подробнее о М. Нордау см. примечания к «Черному монаху»), утверждал, что в лице Лысевича Чехов изобразил современного «героя такими правдивыми и яркими чертами, что знай Нордау о рассказе русского автора — он непременно уделит бы ему место в своих „ссылках“ (стр. 154). «Лысевич, — писал Иванов, — буквально повторяет то самое, что Бодлэр и его ученики воспевают в стихах», но «фигура Лысевича исполнена жизненной правды, она остается в памяти читателя до мельчайших подробностей, остается нечто большее, чем черты, соответствующие бодлэризму» (стр. 155).

Другие критики, останавливавшиеся на характере Лысевича, считали, что Чехов в этом случае отошел от жизненной достоверности — фигура эта утрирована, карикатурна (Петерсен; Д. М. в «Русских ведомостях», 1894, № 24, 24 января). По мнению М. Полтавского, личность Лысевича «обрисована автором крайне небрежно и выставлена им в таком свете, что поцелуе ка-

жется лишенной всякого реального значения» («Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта).

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) отнес «Бабье царство» к тем рассказам, в которых, с его точки зрения, выражено скептическое отношение к интеллигенции. В «Бабьем царстве» критик увидел противопоставление интеллигентной дряблости — ясности простых людей. В Анне Акимовне «отчасти сохранившаяся (. . .) простота чувства еще борется с искусственной атмосферой всяческого „интеллигентного“ разврата мысли и чувства, в котором она вращается, — и в этой борьбе ее несчастье и драматизм ее положения» («Литературные заметки». — «Московские ведомости», 1894, № 27, 27 января).

А. В. Луначарский, признавая выдающийся талант Чехова, сожалел, что этот талант направлен на изображение только темных сторон жизни. «Довольно давно уже, — писал Луначарский, — этот исключительный, очаровательный, милый талант посвятил себя описанию самой серой, самой тусклой жизни. С страшной правдой выступала жизненная пошлость в „Трех годах“, „Бабьем царстве“, в удивительной „Моей жизни“ («О художнике вообще и некоторых художниках в частности». — «Русская мысль», 1903, № 2, стр. 58). Луначарский выражал надежду, что Чехов поможет своим героям «прорвать тину и вынырнуть из омута».

Переводчица В. Кислянская писала Чехову 15 мая 1904 г.: «Восхищаясь всеми Вашими сочинениями, как темой, избранной в них, так равно языком и отличным стилем, желаю перевести на польский язык Ваши повести и рассказы». Среди названных Кислянской произведений — «Бабье царство». В письме от 8 июня 1904 г. Кислянская благодарила Чехова за разрешение переводить «упомянутые рассказы и повести» (ГБЛ).

При жизни Чехова переведено на немецкий, венгерский и сербскохорватский языки.

Стр. 272. *«Рождество твое, Христе боже наш...»* — Тропарь на праздник Рождества Христова.

Стр. 275. *Про богатых сказано: бездна бездну призывает.* — «Бездна бездну призывает» — Псалтирь, псалом 41, ст. 8. Лакей Мишенька, очевидно, вкладывает в изречение обывательский, житейский смысл: деньги к деньгам идут.

Стр. 280. *...определяет подобные отношения Leconte de Lisle.* — Шарль Леконт де Лиль (1818—1894), французский поэт, глава парнасской группы поэтов.

...скоро придет Дузе. — Эلسонора Дузе, итальянская драматическая актриса, посетила Россию в 1891—1892 годах.

Стр. 282. *Герцогиня Джосиана полюбила Гуиннелена* — Имеются в виду герои романа В. Гюго «Человек, который смеется» (1869).

Стр. 286. *Последняя его вещь истомила меня, опьянила!* — Вероятно, имеется в виду роман Ги де Мопассана «Наше сердце», вышедший в русском переводе в 1890 г.

Стр. 290. *...запела альтом «Рождество твое», потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается».* — «Рождество твое» — см. выше; «Дева днесь» — кондак на праздник Рождества Хри-

стова; «Христос рождается» — песнопение вечернего богослужения на праздник Рождества Христова.

Стр. 292. ...*читает*: «В рождестве девство сохранила еси» — Тропарь на праздник Успения божьей матери.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Впервые — «Русские ведомости», 1894, № 37, 6 февраля, стр. 2. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 122—133, с исправлением: стр. 300, строки 1—2: слава богу *вместо*: славу богу (по «Русским ведомостям» и сб. «Повести и рассказы», изд. 1—2).

Время написания определяется по письмам Чехова и по записи сюжета «Скрипки Ротшильда» в Записной книжке Чехова (№ 2, стр. 12—13. — ГБЛ). Запись содержит эпизод, узловый для развития сюжета и для характеристики гробовщика: «Гроп для Ольги. У гробовщика умирает жена; он делает гроб. Она умрет дня через три, но он спешит с гробом, потому что завтра и в следующие за тем дни — праздник, напр(имер) Пасха. На 3—4-й день она все-таки не умерла; приходят покупать гроб. Он, находясь в неизвестности, продает; она умирает. Он бранит ее, когда ее собирают. Когда она умирает, он записывает гроб в расход. С живой жены снял мерку. Она: „помнишь, 30 лет назад у нас родился ребеночек с белокурыми волосиками? Мы сидели на речке“. После ее смерти он пошел на речку; за 30 лет верба значительно выросла». Слова «Гроп для Ольги» написаны с отступом и могут быть истолкованы как рабочее заглавие записи, позволявшее сразу выделить ее из числа прочих. Написание «Гроп» дало основание публикатору записных книжек, Е. Н. Коншиной, предположительно считать слова «Гроп для Ольги» имитацией записи гробовщика в своей расходной книжке» («Записные книжки как материал для изучения творческой лаборатории А. П. Чехова». — В кн.: А. П. Чехов. Сборник статей и материалов. Вып. 2, Ростов н/Д., 1960, стр. 121).

Запись не датирована. Вслед за ней в записную книжку внесен перечень заметок Чехова, опубликованных в «Новом времени» с 14 по 26 января 1894 г., — ясно, что запись сюжета «Скрипки Ротшильда» сделана не позже середины января 1894 г.

Письма Чехова дают возможность уточнить время написания рассказа. Из письма А. С. Суворину от 18 декабря 1893 г. следует, что в этот момент у Чехова не было ничего только что написанного или оконченного; сообщая о публикации «Бабьего царства» и «Черного монаха», Чехов прибавлял: «За сим я хочу наградить русскую публику еще многими произведениями, но так как они еще не написаны или же только что еще начаты, то пока умолчу о них». Письмо Чехова М. О. Меньшикову от 20 января 1894 г. позволяет уточнить дату окончания «Скрипки Ротшильда»: «И. И. Горбунов, вероятно, ослышался или не понял меня. Помните, у нас был разговор о рассказе, давно уже напечатанном.

Был у меня один маленький рассказ, Ивану Ивановичу неведомый, но я уже сдал его в „Русские ведомости“. Чехов встретился с Горбуновым-Посадовым в Москве 13 января, как это видно из письма И. П. Чехова Горбунову-Посадову от 12 января и из письма Горбунова-Посадова Меньшикову от 14 января 1894 г. (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1488 и оп. 2, ед. хр. 55, л. 296). Очевидно, тогда же Чехов отдал «Скрипку Ротшильда» в «Русские ведомости». Таким образом, писание рассказа длилось месяц — с середины декабря 1893 г. до середины января 1894 г.

При включении рассказа в сборник «Повести и рассказы» Чехов сделал одну вставку и переписал заново эпизод о том, как Яков с ругательствами прогоняет Ротшильда. Кроме того, в повествовании были усилены черты собственно-прямой речи, характеризующие бытовой антисемитизм Якова. Так, слово «еврей» было изменено на «жид» (стр. 298, строка 1), в то время как фраза нейтрального авторского текста оставлена без изменения (стр. 298, строка 12). Во второе издание сборника текст вошел без изменений. При подготовке собрания сочинений в речь Ротшильда были внесены черты местечкового произношения («швадьба», «целовека»).

Замысел рассказа «Скрипка Ротшильда» складывался у Чехова, по-видимому, очень долго, так как к нему тянутся нити от самых ранних рассказов. Мотив вербы — свидетельницы человеческих жизней — возникал в его творчестве неоднократно. В рассказе «Верба», опубликованном в «Осколках» 9 апреля 1883 г., дерево персонифицировано: «Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их...» (т. II Сочинений, стр. 102). Внешне этот мотив был связан с обязательной для сотрудника еженедельной прессы предпраздничной тематикой (вербная неделя завершала великий пост и предшествовала Пасхе). Однако характерно, что у Чехова эта тема постоянно приобретала серьезное звучание. Таков рассказ «Верба», таков был, очевидно, и рассказ «Старая верба», который Н. А. Лейкин возвратил 27 марта 1884 г. Чехову со словами: «Спешу возвратить „Старую вербу“. Совсем не для юмористического журнала» (ГБЛ); рассказ не сохранился.

25 ноября 1885 г. в «Петербургской газете» был опубликован рассказ Чехова «Горе». Сюжет рассказа — смерть жены токаря, осознание им своей жизни как пустой и зряшной, прожитой «в пьяном полубабытии», — обнаруживает родство с мотивом «пропащей, убыточной жизни» в «Скрипке Ротшильда». Детальное сравнение этих рассказов сделано в статье: Д. И о а п н и с я н. Три рассказа («Капитанский мундир», «Горе», «Скрипка Ротшильда»). — В кн.: А. П. Чехов. Сборник статей и материалов. Вып. 2, Ростов н/Д., 1960. Автор статьи прослеживает сходство в основных мотивах: жизнь как бы во сне, в угаре пьянства («Горе») или в ежедневных мыслях об убытках; болезнь жены, смутные мысли о виновности перед ней; воспоминания о прожитой жизни; поездка в больницу с умирающей женой; разговор с фельдшером (в рассказе «Горе» — воображаемый); Иоаннисян указывает на почти дословное совпадение вопросов и ответов фельдшера. Можно еще отметить повтор словесной конструкции: «А ведь она по миру ходила!» («Горе»); «А ведь она каждый день топила печь, варила и цекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на

одной кровати...) («Скрипка Ротшильда»). Но и без детального сравнения ясно, что элементы сюжета рассказа «Горе» вошли составной частью в новый замысел.

Один из современников, судебный деятель и литератор А. И. Урусов, писал 15 февраля 1895 г. Е. А. Бальмонт: «„Скрипка Ротшильда“ — превосходная вещь, чистый шедевр» (Князь Александр Иванович Урусов. Статьи его о театре, о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания о нем... Т. II и III. М., 1907, стр. 330).

Рассказ «Скрипка Ротшильда» не привлек внимания критики. С. А. Андреевский в рецензии на сборник «Повести и рассказы» (1894) в общих фразах охарактеризовал впечатление от рассказа: «„Скрипка Ротшильда“, сквозь юмор и сарказм, звучит глубокою лирическою печалью. Вы проникаетесь невероятною жалостью к суровому терпению убогих, безвестных людей и к долгим сумеркам их упорной, тяжелой жизни» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, немецкий, сербскохорватский, чешский и словацкий языки.

СТУДЕНТ

Впервые — «Русские ведомости», 1894, № 104, 15 апреля, стр. 2. Заглавие: Вечером. Подпись: Антон Чехов.

Включено под заглавием «Студент» в сборник «Повести и рассказы», М., 1894 (изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 188—192.

«Студент» был написан Чеховым, по-видимому, в Ялте, где Чехов провел март 1894 г. В письмах из Крыма не содержится прямых упоминаний об этом рассказе, но по возвращении в Мелихово Чехов сообщил А. С. Суворину 10 апреля 1894 г.: «Пьесы в Крыму я не писал (. . .) А прозу писал». Известно, что Чехов в Ялте продолжал работать над книгой «Остров Сахалин» (см. примечания к цитированному письму в т. V Писем). Однако упоминание о прозе применимо скорее к художественным произведениям, чем к книге «Остров Сахалин». Судя по времени публикации произведений Чехова в 1894 г., слова в письме Суворину могли относиться только к рассказу «Студент».

При подготовке в 1894 г. сборника «Повести и рассказы» Чехов сделал три существенные вставки в текст «Студента». Появилась фраза, подчеркивающая ассоциативность восприятия героем окружающей обстановки — «Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил», прибавилось прямое объяснение того, почему заплакала Василиса, и, затем, в концовке рассказа было усилено утверждение мысли о вечности и непрерывности правды и красоты на земле. Во втором издании сборника текст был перепечатан без изменений. В собрание сочинений рассказ вошел с двумя мелкими поправками.

Рассказ «Студент» при своем появлении вызвал единичные отклики. С. А. Андреевский в рецензии на сборник «Повести и рассказы», основываясь, по-видимому, на тематике рассказа, назвал, что его герой — «вдохновенный, поэтический образ юноши

в толстовском вкусе, с живою и радостною верою в силу евангельской проповеди» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

М. В. Лавров, сын редактора «Русской мысли», в письме Чехову от 18 марта 1899 г. особенно восхищался его способностью ставить самые острые вопросы: «(. . .) в Ваших рассказах находят то, что всех мучает, чего многие еще и не сознают, а только чувствуют и не понимают, почему им так тяжело и скверно (...) И к Вам все прислушиваются, но никто не ждет ответа, но как дорог всем Ваш студент, возвращающийся домой с охоты в холодную ночь» (ГБЛ).

О чтении чеховского рассказа в доме Л. Н. Толстого сохранилась запись в «ежедневнике» С. А. Толстой от 16 августа 1903 г.: «Вечером прочли „Студент“ Чехова» (ГМТ. Архив С. А. Толстой. 316. 37).

А. Г. Горнфельд в неопубликованной рецензии на сборник «Повести и рассказы» (1894) выделил рассказ «Студент» из числа прочих, «преобладающую тему» которых он определил как «день итога» (ГЛБ, ф. 211 (А. Г. Горнфельд), ед. хр. 82, л. 3). Горнфельд особенно отметил в рассказе контраст «почти мистического содержания» и «простой, жизненной реальной обстановки».

В январе 1903 г. почти одновременно появились две статьи о Чехове, где рассказ «Студент» был расценен как поворотный пункт в творчестве Чехова: В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. Критический очерк. — «Мир божий», 1903, № 1; Ф. Б а т ю ш к о в. О Чехове. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1903, № 26, 27 января.

Альбов этот перелом видит в том, что в творчестве Чехова «все сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко волнующее читателя и порой необыкновенно смелое» (стр. 103). По его мнению, «эти новые черты уже заметно и, кажется, впервые сказались в маленьком рассказе „Студент“» (стр. 104). Перемена проявляется в том, что «Великопольскому первому из персонаж(ей) г. Чехова жизнь показалась „полною высокого смысла“» (там же). Альбов отождествляет автора с его персонажем: «Итак, правда, справедливость, красота как элементы самой жизни и притом основные, главные — вот, наконец, ответ на вопрос — в чем смысл жизни, чем люди живы (. . .) Что студент Великопольский и Полознев в данном случае высказывают мысли самого г. Чехова или близкие и дорогие ему мысли — в этом не может быть сомнения» (стр. 105). Альбов считает, что с этого времени главная задача Чехова — «открыть это неизвестное, то, о чем люди тоскуют, найти в самой жизни элементы правды, справедливости, красоты, свободы» (стр. 107).

Батюшков также исходит из понимания рассказа «Студент» как произведения нового периода в творчестве Чехова. Новизна эта, по его мнению, — в перемене мирозерцания Чехова, которое тесно связано с особенностями его поэтики. Чехов с самого начала «вступил на путь аналитической проверки тех широких обобщений и принятых „норм“ общественной и индивидуальной жизни, которые были выработаны предшествовавшими поколениями». Новая форма искусства «естественно вылилась из потребности его духовной организации», из «стремления личности выразить свое непосредственное отношение к действительности» — в сфере твор-

чества и «в области отвлеченных принципов». «Не принимать ничего на веру, сомневаться даже в том, что кажется общепризнанным, пока внутренне не ощутишь его истинность, это — то же, что в искусстве доверять лишь личным впечатлениям, принять их за исходный пункт творчества и только под углом личного настроения воспроизводить действительность». Но раннему Чехову жизнь, как пишет Батюшков, представлялась состоящей «из ряда случайностей, отдельных, изолированных явлений», и при этом терялось «причинное отношение явлений жизни», связь между прошлым и настоящим.

Теперь же, и именно в рассказе «Студент», «Чехов сам же высказался против такого вывода», передав герою мысли о правде и красоте, всегда составлявших «главное в человеческой жизни и вообще на земле», — мысли, которые Чехов «смутно ощущал (. . .) давно». «Мы понимаем теперь, почему Чехов так настаивал на отвлеченности и подвигности всяких человеческих норм: они суть только ступени к чему-то высшему, далекому от нас, едва предугадываемому нашим сознанием (. . .) Пессимизм Чехова есть пессимизм отдельных моментов, а не выработанная система в данном направлении, и, в общем, прогресс все же представляется ему в значении морального категорического императива».

Рассказ «Студент» в это же время был оценен и за рубежом. П. Буайе, профессор русского языка в Париже, сообщил 6 апреля 1902 г. Чехову: «(. . .) издатели „Revue Blanche“, те же, которые издали „Quo vadis“ („Камо грядеши?“) и множество других книг, рассчитанных на громкий успех, только что взялись за напечатание *отдельным изданием* образцового перевода четырех Ваших сочинений: „Убийство“, „Мужики“, „Студент“, „На подводе“» (ГБЛ); мотивировкой выбора послужило то, что эти произведения «показались большинству наших ценителей Вашего таланта как нельзя лучше выразившими главные особенности Вашего творчества». Трактовка рассказов Чехова в предисловии А. Бонье к этому сборнику связана с его общим восприятием русского национального характера: «Каждый народ страдает по-своему; и я не знаю писателя, которому удалось бы лучше, чем Чехову, выразить русскую печаль, сотканную из тоски, гордости, фатализма и усталости» (A. Beaunier. Préface. — In: Anton Tchekhov. Un Meurtre. Traduit du russe par M^{lle} C. Ducieux. Paris, 1902, p. 6). Очевидно, Бонье и в «Студенте» воспринял только мысль о том, что нищета, невежество и «чувство гнета», царившие на Руси несколько веков назад, так и останутся, «и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше» (стр. 306 наст. тома). Перемена в настроении героя, противоположное восприятие им жизни и антитезис рассказа были игнорированы при этом.

В Германии рассказ «Студент», насколько можно судить по письму Чехову переводчика В. А. Чумикова от 29 января 1899 г. из Лейпцига, был воспринят как явление новой поэтики: «Здесь (...) „Студента“ считают перлом „нового направления“, der modernen Kunst» (ГБЛ).

Из воспоминаний родных и близких Чехова известно, что «Студент» был любимым рассказом писателя. У И. А. Бунина эта авторская оценка связана с отрицательным отношением Чехова к восприятию его как пессимиста:

«— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидев где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенснэ:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: „а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...“ А какой я нытик? Какой я „хмурый человек“, какая я „холодная кровь“, как называют меня критики? Какой я „пессимист“? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ „Студент“... И слово-то противное: „пессимист“ (И. А. Б у н и н. Собр. соч. Т. 9. М., 1967, стр. 186).

И. П. Чехов дает несколько иное объяснение авторской оценке рассказа «Студент»; в анкете на вопрос «Какую свою вещь Чехов ценил больше других?» И. П. Чехов ответил: «„Студент“, считал наиболее отделанной» (ПССП, т. VIII, стр. 564).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, сербскохорватский, чешский, немецкий и французский языки.

Стр. 307. «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». — Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 33.

В этом и следующих случаях указываются только точные цитаты из Евангелия. Они вкраплены в свободное изложение событий священной истории, в котором органически сочетаются формы разговорной речи и евангельского рассказа. В этом у Чехова сказалось не только знание с детства текстов священного писания, но и восприятие библейской лексики, фразологии в живой обиходной речи отца и дяди Чехова и в окружающей их среде. Бунин, говоря о тяжелых сторонах детства Чехова, находил, что «единственное оправдание — если бы не было церковного хора, спевков, то и не было бы рассказов ни „Святой ночью“, ни „Студента“, ни „Святых гор“, ни „Архисрея“, не было бы, может быть, и „Убийства“ без такого его тонкого знания церковных служб и простых верующих душ» (И. А. Б у н и н. Собр. соч. Т. 9, стр. 170).

Говорю тебе, Петр *с* трижды отречешися, что не знаешь меня». — Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 34.

Стр. 308. ...работники тем временем *с* стоял Петр и тоже грелся... — Почти дословная передача стиха 18 и гл. 18 Евангелия от Иоанна: «Между тем рабы и служители, разведши огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся».

«И этот был с Иисусом» — Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 71; Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 56.

«Я не знаю его». — Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 57.

«И ты из них». — Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 58.

«Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» — Евангелие от Иоанна, гл. 18, ст. 26.

«И исшед вон, плакался горько». — Евангелие от Матфея, гл. 26, стр. 75; Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 62.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые опубликовано: первая глава — «Новос время», 1889, № 4940, 28 ноября. Заглавие: Обыватели. Подпись: Антон Чехов. Посвящение: Посв. Н. Н. Об — му. Вторая глава — «Рус-

ские ведомости», 1894, № 188, 10 июля. Заглавие: Учитель словесности. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Включено под заглавием «Учитель словесности» в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 149—177.

Первое упоминание о работе над «Учителем словесности» содержится в письме Чехова А. С. Суворину от 1 ноября 1889 г.: «Поздравляю Вас с семейною радостью: а) Курепин женился и б) Ваш сотрудник Ан. Чехов начал родить субботник. Теперь я занят всякой чепухой, так что пришлось его не раньше будущей недели. Начало вышло ничего себе». Очевидно, о нем же идет речь в письме Чехова А. П. Ленскому от 2 ноября 1889 г.: «Пишу рассказик». Через десять дней первая глава рассказа была окончена и отослана, как это видно из письма Чехова Суворину от 12 ноября 1889 г.: «Посылаю рассказ для фельетона. Несерьезный пустячок из жизни провинциальных морских свинок. Простите мне баловство... Между прочим, сей рассказ имеет свою смешную историю. Я имел в виду кончить его так, чтобы от моих героев мокрого места не осталось, но нелегкая дернула меня прочесть вслух нашим; все взмолились: пощади! пощади! Я пощадил своих героев, и потому рассказ вышел так кисел. В фельетон он влезет, а если не влезет, то придется мне сократить его (. . .) Если не затруднит, пришлите мне корректуру». Была ли исполнена просьба Чехова о корректуре, неизвестно, так как 25 ноября, за три дня до появления рассказа, он справлялся в письме к Суворину: «А мои „Обыватели“? Годаются?»

По выходе номера «Нового времени» от 28 ноября 1889 г. с рассказом «Обыватели» Чехов писал Н. Н. Оболенскому: «Influenza, овладевшая всем моим существом, лишает меня возможности посетить Вас и рекомендовать Вам возможно скорее приобрести 4940 № „Нового времени“ (вторник), где напечатан рассказ, украшенный инициалами Вашего имени».

Название «Обыватели» несколько раз встречается у Чехова в произведениях, не связанных между собой. Сначала он озаглавил так рассказ, опубликованный в 1887 г. в «Петербургской газете», затем в 1889 г. — первую главу будущего «Учителя словесности». «Обыватели» — один из первоначальных вариантов заглавия «Попрыгуньи» (см. примечания в наст. томе, стр. 434). 30 ноября 1891 г., посылая «Попрыгунью» В. А. Тихонову, редактору журнала «Север», Чехов пообещал прислать ему в скором времени «другой рассказ, который будет называться „Обыватели“». Это не могло быть продолжением юмористического рассказа 1887 г., совершенно законченного. Вряд ли Чехов собирался использовать это название для нового рассказа — скорее можно предположить, что он намеревался дописать первую главу «Учителя словесности». Однако это не было им осуществлено ни в 1891, ни в 1892 г.

Написание второй главы «Учителя словесности» следует отнести, по-видимому, к маю-июню 1894 г. Март 1894 г. Чехов провел в Крыму. Из письма Суворину от 10 апреля 1894 г. известно, что в Крыму он «прозу писал», но относятся эти слова

к рассказу «Студент» («Вечером»), который появился в газете «Русские ведомости» 16 апреля 1894 г. (см. примечания к этому рассказу в наст. томе). В апреле 1894 г. Чехов постоянно обсуждает с Сувориным планы совместной поездки по Волге или по Днепру. В мае его намерения меняются. 9 мая Чехов пишет Суворину из Мелихова: «Когда же в Киев и на Волгу? Не дожидаясь Вас, я придумал себе работу и теперь раньше 20-го уезжать не согласен». Речь не могла идти здесь ни о книге «Остров Сахалин», над которой Чехов работал постоянно в течение всего 1894 года, ни о повести «Три года», которую Чехов вынашивал долгое время, постепенно заполняя набросками к пей записную книжку. К тому же слова «придумал себе работу» именно отвечают намерению окончить старый рассказ. 22 июня Чехов уже пишет Суворину о новых творческих планах: «С 16 июля сажусь писать пьесу» — очевидно, к этому времени работа над второй главой «Учителя словесности» была закончена.

В литературе о Чехове с «Учителем словесности» связывали текст на стр. 101 первой записной книжки писателя: «Собака ненавидит учителя, ей запрещают лаять на него, она глядит, не лает, но плачет от злобы» (ПССП, т. XII, стр. 249 и 377; так же в издании: Из архива А. П. Чехова. М., 1960, стр. 148). Однако это недоразумение: приведенная фраза связана с другими записями об учителе на стр. 101—102, относящимися к сюжету ненаписанного или неизвестного нам рассказа; судя по тому, что эти записи идут вслед за набросками к рассказам «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», повести «В овраге», они более позднего происхождения, чем рассказ «Учитель словесности».

В том же 1894 г. рассказ под заглавием «Учитель словесности» вошел в сборник «Повести и рассказы». Чехов снял посвящение, переименовал в тексте первой главы фамилию отца героини Шидловский на Шелестов, сократил характеристику Вари. Остальная правка выразилась в отдельных стилистических, лексических и грамматических заменах. В тексте второй главы Чехов сделал несколько вставок, которые раскрывают нарастающее у Никитина недовольство собой и раздражение окружающим.

Сведений о просмотре Чеховым текста для второго издания сборника «Повести и рассказы» нет; отличия небольшие.

Первоначальный вариант окончания «Обывателей» до сих пор неизвестен. Ю. Соболев высказал предположение, что прототипом Никитина послужил учитель латинского языка в таганрогской гимназии Старов (Ю. С о б о л е в. Чехов. Статьи. Материалы. Библиография. М., 1930, стр. 166). В своей гипотезе Ю. Соболев основывается на истории Старова, рассказанной П. П. Филевским («Очерки из прошлого таганрогской гимназии. По случаю столетнего юбилея гимназии». Составил П. П. Филевский. Таганрог, 1906, стр. 27). Соболев считает, что, хотя «в рассказе Чехова трагический финал смягчен», «контуры романа молодого учителя, вхожего в городское общество, с хорошенькой девушкой, женившей его на себе, вполне совпадают» (там же, стр. 166). Однако это лишь гипотеза, так как известный нам текст рассказа не дает оснований для сближения его с историей учителя Старова.

Публикация первой главы «Учителя словесности» сразу же вызвала отклики в писательской среде. Поразила в этом рассказе прежде всего свежесть восприятия Чеховым жизни, новизна форм воспроизведения ее. 3 декабря 1889 г. И. Л. Леонтьев (Щеглов) писал Чехову: «„Обыватели“ мне очень понравились. Что свежо, то свежо, и об этом не может быть ни у кого разногласия. Разве Житель (А. А. Дьяков) будет протестовать» (ГБЛ). А. Н. Плещеев в письме Чехову от 29 ноября 1889 г. также отмечал, что хотя в рассказе нет «никакого серьезного содержания, никакой особенно глубокой задачи — но зато сколько свежести, поэзии, правды...» (ГБЛ; *Слово*, сб. 2, стр. 277). Плещеев особенно отметил мастерство чеховских деталей в воспроизведении быта: «Это прелестнейшая бытовая картинка — где вся прелесть в подробностях, в мелких штрихах, в „бликах“, как говорят живописцы. Все это живые лица — которых встречал, видел, знал. Я особенно люблю у Вас этого рода рассказы». Позднее, 9 июня 1897 г., Б. А. Лазаревский писал Чехову о второй главе «Учителя словесности»: «Очень обрадовался, когда увидел Вашего „Учителя словесности“ в фельетоне „Русск(их) вед(омостей)“, у меня мелькнула глупая мальчишеская мысль, что, значит, в фельетонах печататься не позорно, если и Вы пишете. „Учитель словесности“ и „Попрыгунья“ на меня произвели очень сильное впечатление...» (ГБЛ). М. И. Чайковский в письме Чехову от 17 августа 1903 г. отнес «Учителя словесности» к перлам среди произведений Чехова (ГБЛ).

Л. Толстой высоко оценил рассказ «Учитель словесности». В дневнике В. Ф. Лазурского сохранилась запись от 11 июля 1894 г., непосредственно относящаяся ко второй главе: «Слушали чтение „Учителя словесности“ Чехова из „Русских ведомостей“. Когда Лев Николаевич окончил чтение и стали обмениваться впечатлениями, Лев Николаевич сказал, что рассказ ему нравится. В нем с большим искусством в таких малых размерах сказано так много; здесь нет ни одной черты, которая не шла бы в дело, и это признак художественности. При этом он сделал несколько замечаний о Чехове вообще. Для Льва Николаевича это человек симпатичный, относительно которого можно всегда быть уверенным, что он не скажет ничего дурного. Хотя он и обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить. Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», Изд. 2-е, Т. II, 1960, стр. 22—23).

Отзывы критиков об «Учителе словесности» были разногласны. С. А. Андреевский в рецензии на сборник «Повести и рассказы» отзывался о рассказе весьма комплиментарно, но оценка его производит впечатление недоразумения: «„Учитель словесности“ преисполнен наивною поэзией романтических радостей в милой провинциальной среде, в юной и счастливой компании» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января). Очевидно, Андреевский в этом отзыве основывался на прежнем впечатлении от одной только первой главы рассказа.

Оценка «Учителя словесности» как идиллии была единичной. Другие критики, напротив, относили рассказ к тем произведениям Чехова, где «начинает все более проскальзывать скорбная нота неудовлетворенности жизнью» («Несколько слов об Антоне Павловиче Чехове». (Листовка.) Изд. Московского О-ва народных развлечений, 1901, стр. 2). С этой же точки зрения рассматривает рассказ Волжский (А. С. Глинка) в книге 1903 г. «Очерки о Чехове»: «Живет, живет человек бессознательной, зоологической, даже какую-то растительную жизнью, покоряется, не думая, властной стихии обыденщины, и вдруг, неведомо с чего, загрустит, затоскует. Точно обухом по голове хватит его какое-нибудь, чаще всего самое пустое обстоятельство, и спавшая душа проснется, точно целена спадет с глаз, жизнь как-то сразу потускнеет, завянет, обесценится, потеряет прежнюю ясность и простоту (. . .) Так случилось с неким учителем Никитиным в рассказе „Учитель словесности“» (стр. 119). Этот «конфликт идеала и действительности», по мнению Глинки-Волжского, «не имеет у Чехова в конечном счете положительного исхода». Критик объясняет это связью творчества Чехова с настроением общественной реакции 80-х гг., оговариваясь, однако, что «широко развернута в его произведениях картина обывательской жизни, нарисованная на фоне всепроникающей власти обыденщины, не укладывающейся в узкие исторические рамки 80-х гг., а идет далеко вширь и вглубь русской действительности, как прошлых, так и будущих десятилетий» (стр. 134).

Эту эволюцию героя «Учителя словесности» другой критик — А. Л. Липовский — оценил как необоснованную, немотивированную и упрекнул Чехова в излишней краткости формы. «Почему, например, „Учитель словесности“, всегда живший пошляком, без малейшего сомнения в своих поступках, вдруг, возвращаясь после одного проигрыша в карты домой, почувствовал, что он чиновник и лгун и что все таковы? (. . .) Эти мгновенные душевные настроения более понятны, чем обоснованы» (А. Л и п о в с к и й. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 23). Г. Качерец также считал немотивированной перемену, происходящую с героем (Г. К а ч е р е ц. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 43).

Глинка-Волжский писал о финале рассказа: «Что будет далее (. . .) — автор не показывает» (стр. 121). Другие критики — Липовский, Качерец — «открытый» финал рассказа считали за недостаток. «Чехов обрывает рассказ, — писал Липовский, — и тем причиняет нам вторую досаду. Что же будет с „новым“ человеком? Ему предстоит борьба с остатками прежнего „я“, с окружающими. Интерес художественной разработки растет с ее трудностью, но автор как бы избегает своей задачи. Отсюда, при краткости рассказа, недоделанность, недоговоренность» (там же, стр. 23). Качерец особенно резко выразил мысль о типичности такого финала для чеховского творчества: «Тут Никитин становится интересен, но тут же и кончается рассказ г. Чехова. Если затем вы хотите знать, как ведет себя в жизни человек, которому противна пошлость и который

страдает от нее, вам придется обратиться к другим авторам: г. Чехов вам этого не покажет» (там же, стр. 70—71).

В. А. Фаусек, ялтинский знакомый Чехова, прочитав вторую главу «Учителя словесности», писал 16 июля 1894 г.: «Читал на днях в „Р(усских) в(едомостях)“ Вашего „Учителя словесности“. Превосходный, с страшной силой набросан(ный) рассказ — но, — как Вам сказать? — это уж и не пессимизм, за который Вас так часто упрекают, а сама меланхолия! Дайте же, наконец, хоть несколько мажорных аккордов — ободрите, обнадежьте нас! Ведь Вы, помните, здесь еще как-то, в разговоре, отмечали быстрый прогресс русской жизни, напоминали нам, что за какие-нибудь 30 лет все изменилось до неузнаваемости и т. д. в этом роде. А пишете — точно последнюю надежду хороните!» (ГБЛ). Чехов в ответном письме от 4 августа 1894 г. никак не отозвался на рекомендации Фаусека.

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский и чешский языки.

Стр. 310. ...после того, как в городе побывал цирк *С* ее все стали звать Марией Годфруа. — Цирк братьев Годфруа гастролировал в Таганроге в 1877 г. («Азовский вестник», 1877, № 55, 7 августа). Мария Годфруа — лицо реальное. А. А. Суворин писал Чехову 6 сентября 1888 г. из Феодосии: «Примадонна цирка Мария Годфруа — плотная брюнетка, довольно красивая — наездница действительно прекрасная и джигитует лихо. Наши дети — ее отчаянные партизаны, и Борис дошел до слез, защищая ее против Ал(ексея) Петр(овича) Коломнина», рассказывавшего, что Мария Годфруа в Петербурге продавала спички» (ГБЛ). Чехов писал по этому поводу А. С. Суворину 11 сентября 1888 г.: «Передайте ему (Алексею Алексеевичу) и, кстати, Боре, что наездницу Годфруа я знаю. Она вовсе не хороша. Кроме езды „вышей школы“ и прекрасных мыщ, у нее ничего нет, все же остальное обыкновенно и вульгарно».

Стр. 314. Я знаю, у вас в гимназии не признают *Щедрина*... — В программах для гимназий изучение «нового периода русской словесности» оканчивалось творчеством Гоголя — см. «Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимназиях Министерства народного просвещения», СПб., 1877, стр. 30; то же — СПб., 1882, стр. 30; то же — в изд.: Правила и программы классических гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения. Издание В. А. Маврицкого. М., 1892, стр. 30.

Стр. 315. Это его же царствию не будет конца! — Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 33.

Стр. 316. ...сам принимал участие в спектаклях *С* читая нараспев «Грешницу». — Стихотворение А. К. Толстого «Грешница» особенно часто исполнялось на любительских вечерах и к этому времени стало синонимом избитого номера — ср. в рассказе 1884 г. «Либеральный душка»: «„Грешница“, последний монолог из „Горе от ума“... все это шаблонно, заезжено...» (т. III Сочинений, стр. 137).

Вы извоили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга? *С* Шекспир ужаснулся... — В этой детали пашла отражение черта П. М. Свободина. 14 мая 1889 г. Чехов писал Суворину

из Сум: «Свободин обещал ко мне приехать. Опять ужаснется, что я не читал Лессинга». 9 июня 1889 г. Чехов сообщал ему же: «Неделю тому назад приехал ко мне Свободин (. . .) О Лессинге и „Гамбургской драматургии“ — ни полслова». Упоминание о Лессинге и впредь сопровождало в письмах Чехова имя Свободина — см., например, письмо Суворину от 17 февраля 1890 г.; в других письмах имя Лессинга встречается как прозвище Свободина — например, в письмах Суворину от 1 ноября 1889 г., 24 июля и 16 октября 1891 г. Однако считать Свободина прототипом Шебалдина нет оснований.

Полный комментированный русский перевод «Гамбургской драматургии» появился за несколько лет до написания и публикации первой главы «Учителя словесности»: Г. Э. Л е с с и н г. Гамбургская драматургия. Пер. с нем. И. П. Рассадин. С предисл., прим. разных комментаторов и алфавитным указателем. М., Н. Т. Солдатенков, 1883.

Стр. 317. *Ох, недаром, недаром она с гусаром!* — Эпиграмма Лермонтова «Толстой»: «Не даром она, не даром // С отставным гусаром».

Стр. 326. *...после Успеньева дня...* — Церковный праздник 15 августа (ст. ст.).

В УСАДЬБЕ

Впервые — «Русские ведомости», 1894, № 237, 28 августа. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Включено без подзаголовка в сборник «Повести и рассказы» (М., 1894; изд. 2-е — М., 1898).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 178—187.

О времени создания рассказа прямых свидетельств нет. Можно лишь условно приурочить его написание к десяти дням — с 14 до 24 августа 1894 г.: 14 августа Чехов вернулся в Мелихово из поездки по Волге, а 24 августа выехал в Таганрог.

А. С. Лазарев (Грузинский) в своих воспоминаниях «К биографии Чехова» утверждает, что прототипом Рашевича послужил А. С. Киселев, и возводит таким образом рассказ к впечатлениям жизни Чеховых в Бабкине летом 1887 г.: «Судьба дала мне, гостю Бабкина, два-три факта высокой культуры Киселева. Приведу один наиболее яркий из них. Однажды поздно вечером, около полуночи, когда мы с Чеховым уже собирались спать, из киселевского дома вернулась сестра Чехова (. . .) среди горьких слез Мария Павловна рассказала, что, отвлекшись от пасьянсов, Алексей Сергеевич Киселев почему то вздумал завести речь о стремлении крестьянских и кухаркиных детей к ученью, к гимназиям и с возмущением говорил, что власть склонна им мирволить, вместо того чтобы из школ и из гимназий их гнать... Говорил Киселев все это резко и грубо донельзя. Чтобы подчеркнуть всю прелесть этой выходки представителя высококультурной семьи, нужно вспомнить, что дед Чехова был крепостным у Черткова и что если Киселев даже в точности не знал этого обстоятельства, то вообще не мог не знать проис-

хождения Чеховых из крестьянской среды. Выслушав рассказ сестры, Чехов пожал плечами и сказал с досадой:

— И охота тебе было слушать этого дурака!

Впрочем, если Бегичев дал Чехову темы для двух рассказов, то, мне кажется, тему для одного рассказа дал Чехову и Киселев. Откройте X т. сочинений Чехова, прочтите рассказ „В усадьбе“ (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 329).

Готовя рассказ для сборника «Повести и рассказы» (1894), Чехов ввел обращение Рашевича к Мейеру — «Сударь мой», произвел небольшие сокращения по всему тексту и снял целый период, объяснявший поведение Рашевича его суетностью и тщеславием (см. варианты, стр. 411, строки 4—17). При подготовке текста для собрания сочинений в число писателей, которых называет Рашевич для доказательства своей мысли о «белой кости», вставлено имя Гончарова, благодаря чему реплика Мейера «Гончаров был купец» стала восприниматься как прямое возражение.

Вл. И. Немирович-Данченко писал Чехову 27 апреля 1895 г.: «„В усадьбе“ — классическая пьеса, уверяю Вас. Делает подавляющее и громадное впечатление. Даже среди Ваших рассказов это из лучших» (ГБЛ; «Ежегодник Московского художественного театра», 1944, т. I. М., 1946, стр. 100).

В критике рассказ «В усадьбе» вызвал мало откликов. С. А. Андреевский в рецензии на сборник «Повести и рассказы» определил его как «забавную карикатуру ненасытного говоруна» («Новая книжка рассказов Чехова». — «Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» отметил «В усадьбе» в ряду других рассказов Чехова, мастерски рисующих «цельные зверины, животные фигуры» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 90). «Такова княгиня („Княгиня“), порхающая „птичка“, в которой даже суровые, жаркие слова доктора не могли пробудить ничего человеческого; или этот Рашевич („В усадьбе“) — „жаба“, каждое слово которого „дышит злобой и комедиантством“ (. . .) Обратите внимание на эти эпитеты — жаба, хорек, ящерица, птичка, овечьи мысли, гадюка, которыми г. Чехов любит характеризовать подобных персонажей (. . .) Они стоят ниже этой границы, которая, с точки зрения г. Чехова, отделяет человеческое, осмысленное, разумное от животного, бесцельного, бессмысленного» (стр. 91—92).

При жизни Чехова рассказ был переведен на английский, сербскохорватский и чешский языки.

Стр. 335. ...полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. — В словах Рашевича заключен отклик на событие 1892 г. — передачу П. М. Третьяковым картинной галереи в дар Москве.

Стр. 339. Явление, достойное пера Фламариона... — Труды французского астронома Камилла Фламариона были известны в России в многочисленных переводах. Популярностью пользовался также его роман: *В небесах*. (Uranie). Астрономический роман К. Фламариона с 50 рисунками в тексте. Перевел с французского Е. А. Предтеченский. Издание Ф. Павлен-

кова. СПб., 1891. В первых главах романа описывается фантастическое путешествие героя с музой звезд — Уранией — по вселенной.

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

Впервые — «Русские ведомости», 1894, № 356, 25 декабря. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в сборник: На трудовом пути. К 35-летию литературно-педагогической деятельности Д. Тихомирова. М., 1901. Подпись — факсимиле.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Полное собрание сочинений Ант. П. Чехова. Издание второе с приложением портрета Антона Чехова. Том двенадцатый. СПб., издание А. Ф. Маркса, 1903, стр. 121—125, с восстановлением текста, изъятого редакцией «Русских ведомостей»:

Стр. 343, строка 23, после: житейских соображений? — вставлено: Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! (по письму Чехова И. И. Горбунову-Посадову от 31 декабря 1894 г.).

Рассказ был написан в ноябре — декабре 1894 г. Основания датировки следующие. Посылая 1 сентября 1894 г. Чехову корректуру сборника «Повести и рассказы», издатель сборника И. Д. Сытин высказал пожелание увеличить объем сборника — с этим было связано печатание его без предварительной цензуры (письмо Сытина. — ГБЛ). Корректуру сборника Чехов прочитал в Москве, по возвращении 14 октября из-за границы (см. т. V Писем, стр. 570). «Рассказ старшего садовника» в этот сборник не вошел, поэтому естественно отнести его написание к последующим месяцам. Дополнительные сведения содержатся в письме Чехова И. И. Ясинскому от 8 ноября 1894 г.: «Пишу повесть для „Русской мысли“, надо писать для „Артиста“, которому я должен, нужно писать в „Русские ведомости“...»

Текст рассказа при публикации его в «Русских ведомостях» пострадал от вмешательства внутренней редакционной цензуры, как это можно понять из письма Чехова Горбунову-Посадову от 31 декабря 1894 г.: «„Русские Ведомости“ — замечу à про-роз — ради страха иудейска выбросили в начале речи садовника следующие слова: „Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!“ Эти слова не были восстановлены Чеховым ни в сборнике „На трудовом пути“, ни при подготовке собрания сочинений. Впервые введены в текст рассказа в издании: А. П. Чехов, Собр. соч. в двенадцати томах. Т. 7. М., 1962, стр. 414.

В день появления рассказа на страницах «Русских ведомостей» Горбунов-Посадов обратился к Чехову за разрешением издать его в разных сериях «Посредника»: «Только что прочел Ваш рассказ „Старшего садовника“ и порадовался его прекрасной мысли. Это *самое настоящее*, если бы у нас побольше писали, а главное, думали и чувствовали *такого*, теплее стало бы дышаться на свете. Надеюсь, что Вы разрешите нам издать это

немедленно в народном издании». «Было бы весьма хорошо, — прибавлял Горбунов-Посадов в конце письма, — если бы в случае доброго согласия Вашего на народное издание „Рассказа садовника“, Вы сами изменили бы некоторые совсем непонятные для народа слова — более простыми. Если же Вам это некогда, то позвольте нам сделать это и прислать Вам для просмотра. Мы надеемся также, что Вы разрешите нам поместить этот рассказ впоследствии в одном из наших сборников для интеллигентных читателей на обыкновенных условиях наших» (ГБЛ). Чехов ответил на это 31 декабря 1894 г.: «„Рассказ старшего садовника“ отдаю в полное Ваше распоряжение. По-моему, он не подходит для народного издания и замена одних слов другими не сделает его понятным. Но дело Ваше. Корректуру пришлите вместе с проектом поправок — и я исполню Ваше желание».

Однако издание «Рассказа старшего садовника» было отложено «Посредником» надолго. В 1899 г. вопрос этот осложнился из-за контракта, заключенного Чеховым с А. Ф. Марксом. 27 января 1899 г. Горбунов-Посадов писал Чехову: «...я решился, не зная, уполномочив(аете) ли Вы меня на это, написать ему (П. А. Сергеенко), чтобы, если возможно, он оговорил у Маркса для „Посредника“ право издавать (. . .) напечатанные Вами у нас для народа рассказы и 3 еще не напечатанных, но готовящихся (. . .) Готовящ(иеся): 1) Тоска 2) Рассказ садовника 3) В ссылке» (ГБЛ). Очевидно, договоренность не была достигнута, так как 1 февраля было подписано, в дополнение к контракту, «неустойное обязательство», по которому Чехов должен был платить Марксу «пять тысяч рублей за каждый печатный лист своих произведений», если окажется, что «какие-либо уступлены кому-либо для дальнейшего пользования» (ГБЛ, ф. 360. л. 90). В следующем письме Горбунова-Посадова, от 22 февраля 1899 г., уже идет речь о возврате Чехову текста «Рассказа старшего садовника» (рукописи или газетной вырезки с авторской правкой — неясно): «„Садовника“ не прислал Вам, потому что не мог его найти, — но он непременно у меня, я это знаю. Теперь я предпринял разборку всего нашего архива тщательнейшую (это продолжают в Москве без меня — я не успел сдел(ать), потому) что в Москве захворал — и в конце первой недели обяз(ательно) найду и вышлю Вам» (ГБЛ). В дальнейшем об этом тексте в переписке Чехова с Горбуновым-Посадовым не упоминается.

В 1901 г. текст рассказа был просмотрен Чеховым для сборника «На трудовом пути». Чехов читал корректуру, как это видно из письма к нему Н. А. Соловьева-Несмелова от 2 октября 1901 г.: «...направляю к Вам на минуту нашу барышню-секретаршу по „Детскому чтению“; она передаст Вам корректуру Вашего рассказа „Рассказ старшего садовника“ (. . .) где помечено карандашом легонько то, на что просим обратить Ваше внимание ввиду характера сборника, назначаемого для юношества и подростков» (ГБЛ). Чехов сделал несколько исправлений, из них одно — в ответ на пожелание редакции в связи с педагогическим назначением сборника: слова «развратную жизнь» заменены на «нехорошую жизнь». Остальные авторские исправления не имели вынужденного характера — они

коснулись союзов, предлогов, порядка слов. Тем не менее эти исправления не были учтены Чеховым при подготовке «Рассказа старшего садовника» для собрания сочинений; текст набирался с газеты «Русские ведомости». Из восьми случаев исправлений рассказа для сборника только в одном случае тексты сборника и собрания сочинений совпадают: «не хочет ли он есть» вместо «не хочет ли он кушать» (текст «Русских ведомостей»). Однако ясно, что эта замена была бы произведена Чеховым и независимо от текста 1901 г.

При просмотре текста для собрания сочинений Чехов сделал два сокращения — снял описание приступа кашля у доктора, а также его раздумья о смерти. Одна вставка относилась к главной мысли рассказа — после «побуждает любить и уважать каждого человека» было повторено: «Каждого!»; две другие усиливали разговорную интонацию в рассказе старшего садовника выражениями «Не так ли?» и «понятное дело». Остальные поправки касались союзов, предлогов, курсива.

Место «Рассказа старшего садовника» в собрании сочинений определилось не сразу и многократно менялось. Первоначально Чехов просмотрел текст рассказа весной 1899 г. (см. письмо от 21 мая 1899 г. Ю. О. Грюнбергу). Из-за неразберихи в издании А. Ф. Маркса корректура «Рассказа старшего садовника» неоднократно прошла через руки Чехова (см. письмо от 9 августа 1900 г. Марксу). 13 июня 1901 г. Маркс запросил Чехова относительно десяти рассказов, «не помещенных в напечатанных уже томах и не значащихся также в оглавлении содержания следующих томов» (ГБЛ); среди этих рассказов упомянут и «Рассказ старшего садовника». В письме Марксу от 9 июля 1901 г. Чехов отнес этот рассказ к VIII тому, однако 8 октября 1901 г. он сообщил Л. Е. Розинеру о перемене решения: «„Рассказ старшего садовника“ войдет в X том (...) когда мною будут посланы новые произведения в количестве, достаточном для тома». Том X составила книга «Остров Сахалин», и «Рассказ старшего садовника» не вошел в 1-е издание собрания сочинений. 19 марта 1903 г. Маркс предложил «включить в новое издание, прилагаемое при „Ниве“, девять рассказов, назначенных для XI тома отдельного издания, и в числе их «Рассказ старшего садовника» (ГБЛ). 28 марта 1903 г. Маркс выслал Чехову корректуру этих девяти рассказов (его письмо Чехову — ГБЛ). 14 апреля 1903 г. Чехов возвратил корректуру, но не удовлетворился ею, так как 26 апреля 1903 г. Маркс писал: «Согласно Вашему желанию посылаю Вам еще раз корректуру девяти рассказов...» (ГБЛ). В конце концов «Рассказ старшего садовника» вошел в т. XII второго издания собрания сочинений — этот текст и является последним авторизованным.

В ПССП (т. VIII, стр. 382—386) «Рассказ старшего садовника» напечатан по изданию: Анто н Ч е х о в. Рассказы и пьесы. Второе издание. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс (в тексте книги — Сочинения А. П. Чехова. Т. XI); издание это вышло посмертно, в 1906 г. Текст рассказа в нескольких случаях пунктуационно иначе оформлен, чем в т. XII второго издания собрания сочинений. Характер этих поправок заставляет предполагать вмешательство корректора.

«Рассказ старшего садовника» связан по своей проблематике с книгой «Остров Сахалин» и с чеховской прозой досахалинского периода. Еще в 1888 г. в рассказе «Пари» был поставлен вопрос о «безнравственности» смертной казни с точки зрения естественного права. Это положение впервые сформулировал Ч. Беккариа в трактате «О преступлениях и наказаниях» (1764; гл. XVI). Оно не переставало служить предметом дискуссии в связи с борьбой за отмену смертной казни в России. В библиотеке Чехова был русский перевод книги Беккариа (см. *Чехов и его среда*, стр. 327); знал он и юридическую литературу своего времени.

Во время путешествия на Сахалин вопрос о смертной казни переключился для Чехова из сферы отвлеченно-этической в область конкретных жизненных наблюдений. Хотя Чехов и писал А. С. Суворину, что на Сахалине он «видел все, кроме смертной казни» (письмо от 9 декабря 1890 г.), однако чужие рассказы, а также собственные впечатления и размышления составили в книге «Остров Сахалин» целую главу: «Нравственность ссыльного населения.— Преступность.— Следствие и суд.— Наказание.— Розги и плети.— Смертная казнь». XXI-я глава была закончена в середине июля 1894 г. (см. письмо Чехова А. А. Попову-Монастырскому от 22 июля 1894 г.).

До этого, в конце марта 1894 г., в Ялте, вопрос о смертной казни служил предметом беседы Чехова с критиком Л. Е. Оболенским, юристом по образованию. Оболенский продолжил разговор в письме Чехову от 31 марта 1894 г. (*ГБЛ*). В рассуждениях Оболенского и логических построениях героя «Рассказа старшего садовника» есть некоторые точки соприкосновения. Можно предполагать, что замысел «Рассказа старшего садовника» возник у Чехова весной — летом 1894 г. О связи «Рассказа старшего садовника» с записью Чехова «Убийство. Труп в овраге...» во второй записной книжке (стр. 14—15) см. в статье: Л. М. Д о л г о в а. Мотив и произведение. («Рассказ старшего садовника», «Убийство»).— В сб.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974, стр. 35—42.

Публикация рассказа в «Русских ведомостях» обратила на себя внимание Н. С. Худекова, все еще надеявшегося на возобновление сотрудничества Чехова в «Петербургской газете». 2—3 января 1895 г. Ал. П. Чехов писал Чехову: «Худеков-фильс, увидя меня, ткнул пальцем в „Русск(ие) вед(омости)“ и сказал:— А вот нашел же ваш братец время написать рождественский рассказ в „Русск(ие) вед(омости)“! А нам ничего не дал. Не дурной, очень не дурной рассказ!» (*Письма Ал. Чехова*, стр. 306).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский язык,

Стр. 343. «В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока».— Слова Гамлета из трагедии Шекспира (акт III, сцена 4; перевод А. И. Кронеберга, Харьков, 1844).

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ¹

БАБЬЕ ЦАРСТВО

Венгерский язык

Nóuralom.— Felsőmagyarország. 1904. január 27. (Kassa).

Немецкий язык

Weiberregiment.— Tschechow A. Weiberregiment. In der Verbannung. Irrwisch. Drei Novellen. Übers.: E. Lockenberg. Leipzig, Reclam, 1903

Сербскохорватский язык

Zensko carstwo.— Hrvatska, Zagreb, 1894, br. 80—86

Женско царство.— Чехов А. П. Женско царство. Београд, изд. В. Валожића, 1896

Ženske.— Slovenski narod, Maribor—Ljubljana, 33/1900, br. 72, 73

В ССЫЛКЕ

Английский язык

In Exile.—Chekhov A. P. The Black Monk & other stories. Transl. by R. E. C. Long. Lnd., Duckworth, 1903

In Exile. Transl. by R. E. C. Long.—Fortnightly Review, Lnd., 1903, v. 80, p. 529—535

Немецкий язык

In der Verbannung.—Tschechow A. Weiberregiment. In der Verbannung. Irrwisch. Drei Novellen. Übers.: E. Lockenberg, Leipzig, Reclam, 1903

Польский язык

Na Zesłaniu. Tłum. G. W.—Czas, 1904, nr. 117—119.

Сербскохорватский язык

V pregnanstvu.—Slovenski narod, Maribor—Ljubljana, 30/1897, br. 185—187.

У излету.—Народни Лист, III, 1903, № 27. Ошибочно: Чехоф

У изгнанству.—Јутро, I, 1904, №№ 106, 107

Словацкий язык

Vo vyhnanstve. Prel. J. Klen.—Národné noviny, XXVIII, 1897, č. 5, 6

¹ Библиография составлена Л. П. Северской при участии М. Рев (венгерский язык) и В. В. Хрусовой (японский язык),

Японский язык

Рунин (Ссылные). Пер. Сумида Хиробиро.— «Синсёсэцу», 1904, июнь

В УСАДЬБЕ

Английский язык

At the Manor.—Chekhov A. P. The Black Monk & other Stories. Transl. by R. E. C. Long. Lnd., Duckworth, 1903

Сербскохорватский язык

На селу. С рус. С. Давидовић.— Србобран, XVI, 1899, №№ 74, 75

Чешский язык

V panskem dome. Př. B. Prusík.— Národní Politika, 1901, nr. 185

ВОЛОДЯ БОЛЫШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

Венгерский язык

A nagy Volodja és a kis Volodja.— A Hét. 1897. VIII. évf. 34/399. sz. Bdp., augusztus. 22.

Немецкий язык

Wolodja der Grosse und Wolodja der Kleine.— Tschechow A. Russische Liebelei. Novellen. Übers.: L. Flachs-Fokschaneanu. München, A. Schupp, 1897
Ein Frauenleben.— Die Gegenwart, 1897, nr. 34, 35

Сербскохорватский язык

Volodja veliki i Volodja mali.— Hrvatska, Zagreb, 1894, br. 19, 20, 21

Словацкий язык

Vlado vel'ký a Vlado maličký. Prel. I. Klen.— Národné noviny, XXVIII, 1897, č. 39—41.

Шведский язык

Volodja den store och Volodja den lille.— Tschechhoff A, Noveller, Rysk kärlek. Sthlm., 1903

ПАЛАТА № 6

Английский язык

Ward no. 6.— Chekhov A. P. The Black Monk & other Stories. Transl. by R. E. C. Long. Lnd., Duckworth, 1903

Болгарский язык

Палата № 6. Разказ.— Чехов А. Палата № 6. Разказ. Варна, печ. К. Николов, 1896

Венгерский язык

- A 6. számú körterem.— Csehov A. A. bün. Elbeszélések. Bdp.,
Magyar Hirlar kiadása, 1903.
Isten kertje.— Csehov A. Isten kertje. Ford. Iván I. Bdp., Sachs
Frigyes Kiadása, 1904

Датский язык

- Sjette Afdeling.— Čekhov A. Sjette Afdeling. Overs. af. H. E. Gi-
ersing. København, Gyldendal, 1894

Немецкий язык

- Eine gottgefällige Anstalt.— Tschechow A. Ausgewählte Werke.
Bd. 2. Übers.: C. Berger. Leipzig—Berlin, J. Gnadenfeld &
Co.— R. Wöpke, 1902
Krankensaal nr. 6.— Tschechhoff A. P. Gesammelte Werke. Bd. 5.
Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Jena, Diederichs, 1904
Ein Krankenhaus.— Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen.
Übers.: T. Kroczeck. Halle, O. Hendel, 1904

Норвежский язык

- Sygestue no. 6.— Tschechhoff A. Sygestue no. 6 og andre Fortael-
linger. Overs. af A. Kaaran og K. Fosse. Christiania, 1894

Польский язык

- Oddział nr. 6. Tłum. B. Jeremi.— Głos Literacki i Społeczny (Do-
datek do Głosu Narodu), 1900, nr. 14—15
Oddział nr. 6.— Głos Literacki i Społeczny (Dodatek do Głosu
Narodu), 1901, nr. 1—3

Сербскохорватский язык

- Палата бр. 6.— Ред, I, 1894, № 6
U bolnici. Prev. M. Lovrenčević.— Hrvatska, Zagreb, 1895,
br. 66—84
Dvorana br. 6. Prev. I. Velikanović.— Vienac, Zagreb, XXXIV,
1902, br. 1—10
Сова № 6.— Уставна Србија, 1903, № 138—140

Финский язык

- Lääkärin kohtalo eli sairaalan no. 6.— Tschechow A. Lääkärin
kohtalo eli sairaalan no. 6. Suom. E. Mannstén. Helsinki,
Kustannusosakeyhtiö, Otava, 1900

Французский язык

- La salle nr. 6.— Revue de Paris, 1898, I août
La salle nr. 6. Trad. D. Roche.— La Quinzaine, 1898, nr. 92, 93
La salle nr. 6.— Tchekhov A. Les Moujiks, Trad. par D. Roche,
Paris, Perrin, 1901

Чешский язык

- Na šestce.— Čechov A. P. Na šestce. Přel, V. Unzeitig. Praha,
Otto, 1903

Шведский язык

- Sjuksalen no. 6.— Tschechhoff A. P. Sjuksalen no. 6. Ofvers. af V. Hedberg. Sthlm., 1895
Sjuksalen no. 6.— Tschechhoff A. Tre berättelser, Ovfers, af V. Hedberg. Sthlm. 1896

ПОПРЫГУНЬЯ

Болгарский язык

- Безгрижна.— Български преглед, IV, 1898, кн. II, февруари

Венгерский язык

- Ingó nádszál.— A Hét. 1900. XI. évf. 27/549. sz. Bdp. július 8. 28/550. sz. Bdp. július 15.
Hajlik mint a nádszál.— Csehov A. A bűn, Elbeszélések. Bdp., Magyar Hírlap kiadása, 1903

Немецкий язык

- Windbeutel.— Tschechow A. Russische Liebelei. Novellen. Übers.: L. Flachs-Fokschanéanu. München, A. Schupp, 1897
Eine kunstliebende Frau.— Tschechow A. Eine kunstliebende Frau und andere Erzählungen. Leipzig, 1901
Eine kunstliebende Frau.— Tschechow A. Ausgewählte Werke. Bd. I. Übers.: C. Berger. Leipzig — Berlin, J. Gnadenfeld & Co.— R. Wöpke, 1901
Irrwisch.— Tschechow A. Weiberregiment. In der Verbannung. Irrwisch. Drei Novellen. Übers.: E. Lockenberg. Leipzig, Reclam, 1903

Сербскохорватский язык

- Лептир.— Застава, XXXIX, 1904, № 291

Французский язык

- Tête à l'Event.— Revue de Paris, 1898, I et 15 février

Чешский язык

- Pozdě. Přel. B. Prusík.— Lumír, 1895, с. 34 (I.IX)

Шведский язык

- Vindböjtel.— Tschechhoff A. Noveller. Rysk kärlek, Sthlm., 1903

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Польский язык

- Po teatrze.— Czechow A. Zbiór nowel, Tłum. J. Bissinger, T. I, Lwów, 1903

Сербскохорватский язык

- После позоришта.— Застава, XXXVII, 1902, № 253
После позоришта.— Дневни Лист, XXI, 1903, № 22

Словацкий язык

Po divadle. Prel. J. Maro.— Národné noviny, 1901, č. 143

Чешский язык

Po divadle.— Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kyselá. Praha, Topič, 1903

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Сербскохорватский язык

Pripóviest nepoznata čovjeka. Prev. M. Lovrenčević.— Prosvjeta, Zagreb, I, 1893, br. 14—27.

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

Болгарский язык

Разказ на главния градинар. Прев. П.— Просвета, III, 1904, кн. 7, март

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Английский язык

Rothschild's Fiddle.— Chekhov A. P. The Black Monk & other Stories. Transl. by R. E. C. Long. Lnd., Duckworth, 1903

Немецкий язык

Rothschild's Geige.— Russische Novellen. Hrsgb. A. Brauner. Leipzig, H. Zieger, 1896

Rothschild's Geige.— Tschchow A. Ausgewählte Werke. Bd. I. Übers.: C. Berger Leipzig—Berlin, J. Gnadenfeld & Co.— R. Wöpke, 1901

Rothschild's Geige.— Tschchow A. Der schwarze Mönch und andere Erzählungen. Leipzig—Berlin, 1901

Сербскохорватский язык

Rotšildove gusle. Prev. C. Lovrenčević.— Hrvatska, Zagreb, 1894, br. 43, 44

Rothschildove gosli.— Edinost, Trst, XXV, 1900, br. 204—208

Rotšildove gosli.— Slovenec, Ljubljana, XXIX, 1901, br. 287, 291, 292

Ротшилдова виолина.— Јутро, I, 1904, №№ 193, 195, 196

Словацкий язык

Rothschildove husle. Prel. B. S.— Slovenské pohľady, XV, 1895, s. 609—615

Чешский язык

Rotschildovy housle. Přel. E. Bílá a B. Prusík.— Čechov A. P. Povídky. Praha, Otto, 1897

СТРАХ

Венгерский язык

A félelem.— Magyar Salon. 1894. szeptember. XI. évf.
Félelem.— Országos Hírlap. 1898. II. évf. július 17—21. 196—200,

Немецкий язык

Die Furcht.— Die Gegenwart, 1894, nr. 7

Норвежский язык

Skræk.— Tschechoff A. Sygestue no. 6 og andre Fortaellinger,
Overs. af A. Kaaran og K. Fosse. Christiania, 1894

Сербскохорватский язык

Страх.— Дневни Лист, XII, 1894, № 160
Страх.— Србобран, XV, 1898, №№ 59—62

Словацкий язык

Strachy. Prel. J. Maro.— Zabavné a poučné knižky, III, sv. 3,
Turč. Sv. Martin, 1903

Французский язык

Angoisse.— Le livre des bêtes. Trad. par L. Golschman et E. Jau-
bert, Paris, Ollendorff, 1901

СТУДЕНТ

Болгарский язык

Студент. Прев. К.— Българска сбирка, VII, 1900, кн. IX, I
поември

Венгерский язык

A diák.— Magyarország. 1901. február 3. XXX. évf,

Немецкий язык

Der Student.— Tschechow A. Gesammelte Werke. Вд. 2. Übers.:
W. Czumikow. Leipzig—Jena, Diederichs, 1901

Сербскохорватский язык

hak.— Србобран, XVIII, 1901, № 31
Bogoslov. Прев. Р. М. Hakoš.— Prosvjeta, Zagreb, XII, 1904,
br. 12

Французский язык

L'étudiant.— Tchekhov A. Un meurtre. Trad. par C. Ducreux,
Paris, Revue Blanche, 1902

Чешский язык

Student. Přel. A. G. Stín (A. Vrzal).— Večerní noviny, 8, 1895,
č. 35 (23.III)

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Венгерский язык. (Первая глава)

Kisvárosiak.— Magyar Salon. 1890. november. VIII. évf. 179—188.
Ford. Szabó E.

Kisvárosiak.— Csehov A. Oroszországból. Bdp., Deutsch M. Kiadó,
1890. Ford. Szabó E.

Kisvárosiak.— Magyar Géniusz. 1898. VII. évf. Június 19, 26.
25, 26. sz.

Чешский язык

Profesor literatury.— Čechov A. P. Černý mnich.— Profesor literatury. Přel. E. Bílá a B. Prusík. Praha, F. Šimáček, 1895

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

Английский язык

The Black Monk.— Chekhov A. P. The Black Monk & other Stories. Transl. by R. E. C. Long. Lnd., Duckworth, 1903

Немецкий язык

Der schwarze Mönch.— Tschchow A. Der schwarze Mönch und andere Erzählungen. Übers.: C. Berger. Leipzig, R. Wöpke; Berlin, J. Gnadefeld, 1901

Der schwarze Mönch.— Tschchow A. Ausgewählte Werke. Bd. I. Übers.: C. Berger. Leipzig—Berlin, J. Gnadefeld & Co.— R. Wöpke, 1901

Польский язык

Czarny mnich. Tłum. J. Bissinger.— Czas, 1902, nr. 276—278,
281—288

Сербскохорватский язык

Crni momak. Prev. M. Lovrenčević.— Hrvatska, Sušak—Zagreb,
1894, br. 104—113

Финский язык

Svarte brodern.— Tschechoff A. Svarte brodern med flera berättelser. Hlsghs., 1896

Французский язык

Moine noir.— Revue de Paris, 1897

Чешский язык

Černý mnich.— Čechov A. P. Černý mnich.— Profesor literatury. Přel. E. Bílá a B. Prusík. Praha, F. Šimáček, 1895

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. Фотография. 1895 г.	4
«Палата № 6». Титульный лист	128
«Дуэль». Титульный лист с барственной надписью С. П. Куз- инниковой	229
«Бабе царство». Титульный лист	288
«Повести и рассказы». Титульный лист с барственной над- писью А. С. Лазареву (Грузинскому)	337

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Бабе царство	258	После театра	32
Володя большой и Воло- дя маленький	214	Рассказ неизвестного че- ловека	139
В ссылке	42	Рассказ старшего садов- ника	342
В усадьбе	333	Рыбья любовь	51
Из записной книжки ста- рого педагога	41	Скрипка Ротшильда	297
История одного торгово- го предприятия	37	Соседи	54
Отрывок	85	Страх	127
Палата № 6	72	Студент	306
Попрыгунья	7	Учитель словесности	310
		Черный монах	226

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

	Текст	Варианты	Примечания
Попрыгунья	7	349	429
После театра	32	352	437
Отрывок	35	—	438
История одного торгового предприятия	37	—	438
Из записной книжки старого педагога	41	—	439
В ссылке	42	354	439
Рыбья любовь	51	—	442
Соседи	54	358	443
Палата № 6	72	360	446
Страх. (<i>Рассказ моего приятеля</i>)	127	364	464
Рассказ неизвестного человека	139	365	466
Володя большой и Володя маленький	214	399	486
Черный монах	226	402	488
Бабле царство	258	403	497
Скрипка Ротшильда	297	406	502
Студент	306	407	504
Учитель словесности	310	408	507
В усадьбе	333	410	513
Рассказ старшего садовника	342	411	515
ВАРИАНТЫ		347—412	
ПРИМЕЧАНИЯ		413—518	
Условные сокращения		415	
Вступительная статья к примечаниям		416	
Прижизненные переводы на иностранные языки		519	
Список иллюстраций		526	
Алфавитный указатель произведений		526	

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. Ф. ВЕЛЬЧИКОВ (главный редактор),
Д. Д. БЛАГОЙ, Г. А. БЯЛЫЙ, А. С. МЯСНИКОВ,
Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ (зам. главного редактора),
А. И. РЕВЯКИН, М. В. ХРАПЧЕНКО

Текст подготовили и примечания составили
Л. М. Долотова, Т. И. Ориатская,
Е. М. Сахарова, А. П. Чудакова

Редактор восьмого тома
К. Н. Ломунов

•

Редактор издательства М. Б. Покровская
Оформление художника И. С. Клейнарда
Художественный редактор С. А. Литвак
Технический редактор Н. П. Кузнецова
Корректоры Н. М. Вселяубская, Г. М. Котлова

ИБ № 29800

Сдано в набор 13.04.84.
Подписано к печати 17.09.86.
Формат 84×108^{1/32}

Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная

Печать высокая
Усл. печ. л. 27,8. Уч.-изд. л. 29,7.
Усл. кр.-отт. 27,9.

Доп. тир. 400 000 экз. 3-й завод (300 001—400 000). Тип. зак 1927.
Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Набрано и сматрицировано в Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени

МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
113054, Москва, Валуевская, 28

Отпечатано во 2-й типографии издательства «Наука»,
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6. Зак. 2927.

